

Ирина Хургина  
главный редактор

Глеб Шульпяков  
заместитель главного  
редактора

Игорь Дуардович  
ответственный  
секретарь

Егор Ходеев  
главный  
художник

Анна Сазанова  
верстка

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА  
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
“НОВАЯ ЮНОСТЬ”  
© ЖУРНАЛ  
“НОВАЯ ЮНОСТЬ”  
**[НО]**

Татьяна Бобрынина  
генеральный директор

### Проза

|   |     |
|---|-----|
| ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ. ЛАТГАЛЬСКИЙ КРЕСТ.<br><i>Роман (фрагмент)</i>             | 4   |
| ЛЕОНИД БЕЖИН. СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ.<br><i>Рассказ</i>                         | 22  |
| ВАЛЕРИЙ ВОТРИН. СОРОК ДНЕЙ НИНЕВИИ.<br><i>Рассказ</i>                     | 42  |
| АННА БИЛОУС. КАК В КИНО. <i>Повесть</i>                                   | 49  |
| СЕРГЕЙ КАТУКОВ. ДЕСЯТЬ ЛЮБОВЕЙ<br>СПУСТЯ. <i>Рассказ</i>                  | 102 |
| ЛЕВ ПРЕМИРОВ. ЗАПИСКИ О БЫВАЛОМ<br>И НЕБЫВАЛОМ. <i>Повесть (фрагмент)</i> | 120 |
| ТАТЬЯНА ДАГОВИЧ. МАЛЕНЬКИЕ<br>ВЕРВОЛЬФЫ. <i>Рассказ</i>                   | 130 |
| ВАДИМ МУРАТХАНОВ. ЖЗЛ. <i>Рассказ</i>                                     | 134 |
| МИХАИЛ КНИЖНИК. ЗАПИСНАЯ КНИГА.<br><i>Из четвертого тома</i>              | 139 |
| АЛЕКСЕЙ КОЛЕСНИКОВ. В ГОСТИ<br>К ХВОРОВУ. <i>Рассказ</i>                  | 145 |
| АЛЕКСАНДР КОЛБОВСКИЙ. ПАЛАТА №19.<br><i>Записки</i>                       | 149 |
| МИХАИЛ БАРУ. ИЗ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ<br>НА СВЕТЕ. <i>Миниатюры</i>               | 156 |

### Поэзия

|   |     |
|---|-----|
| ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. НЕМАЛО ВЕСЕЛОГО.<br><i>Стихотворения</i>          | 162 |
| АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВ. КАКИЕ СНЫ.<br><i>Стихотворения</i>               | 167 |
| АНДРЕЙ ТАВРОВ. ИЗ ЗАПИСОК ГАМЛЕТА.<br><i>Цикл стихотворений</i>   | 174 |
| ЕЛЕНА ЖАМБАЛОВА. В НАХАЛОВКЕ<br>РАСТУТ ДОМА. <i>Стихотворения</i> | 182 |
| АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ. КЕДЫ СВОБОДЫ.<br><i>Стихотворения</i>           | 186 |
| ФЕЛИКС ЧЕЧИК. ПОВОДОК. <i>Стихотворения</i>                       | 191 |

|  |   |     |
|--|---|-----|
|  | МАКСИМ МАТКОВСКИЙ. <b>ВЕСЕЛЫЙ ХОРРОР</b> . Стихотворения  | 195 |
| Русская экспедиция                     | ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ. <b>ПИСЬМА ИЗ ЗАВОЛОЧЬЯ</b> . Эссе   | 199 |
| Картина мира                           | ЖОРЖ ДЮВАЛЬ. <b>ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕРРОРЕ</b> . К 229-й годовщине взятия Бастилии. Предисловие и перевод с французского Елены Морозовой  | 207 |
| Книжка                                 | УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН. <b>РУКА КРАСИЛЬЩИКА. ПОЭТ И ГОРОД</b> . Эссе. Перевод с английского Анны Курт. <b>АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ</b> . Эссе. Перевод с английского Федора Васильева   | 220 |
|  | САНДЖАР ЯНЫШЕВ. <b>ПОЭТИКА КУРЬЕЗА</b> . Эссе   | 249 |
|  | ВИТАЛИЙ НАУМЕНКО. <b>КНИГА МНОГИХ ШТУЧЕК</b>  | 256 |
| Штудии                                 | ТАТЬЯНА СТАМОВА. <b>ДИКИНСОН И ШЕКСПИР</b> . Эссе   | 280 |
|  | АЛЕКСАНДР СЕНКЕВИЧ. <b>БЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ. ВНУТРЕННЯЯ ТИШИНА</b> . Эссе   | 287 |
|  | КИРИЛЛ МОЛОКОВ. <b>РЭП КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ</b> . Статья   | 297 |
| Мастерская                             | ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ. « <b>ТАИНСТВЕННЫЙ ПРИДАТОК</b> »: ЭМИЛИ ДИКИНСОН И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ. Статья  | 309 |
| Современная поэзия в русских переводах | ЭЛЕЙН ФАЙНШТЕЙН. <b>ЛЮБИТЬ ДОН КИХОТА</b> . Перевод с английского Глеба Шульпякова  | 322 |
|  | МИХАЭЛЬ КРЮГЕР. <b>ПРИБЫТИЕ СВИДЕТЕЛЯ</b> . Перевел с немецкого Ал Пантелят   | 327 |
|  | РАХЕЛЬ ХАЛФИ, МЕИР ВИЗЕЛЬТИР, ХАГИТ ГРОССМАН. <b>ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА</b> . Из современной поэзии Израиля. Перевод с иврита Александра Бараша   | 331 |
| Книга судеб                            | АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН. <b>ИНЖЕНЕР ШУХОВ</b> . Страницы биографии. Глава из книги  | 337 |
| Легкая кавалерия                       | СЕРГЕЙ ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ОЛЕГ КУДРИН, ВАЛЕРИЙ ШУБИНСКИЙ, АННА ЖУЧКОВА, ЕВГЕНИЙ АБДУЛМАЕВ, ИГОРЬ ДУАРДОВИЧ, ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА, КОНСТАНТИН КОМАРОВ, ОЛЬГА БАЛЛА, ЕЛЕНА ПОГОРЕЛАЯ, ЕЛЕНА ПЕСТЕРЕВА, АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ. Заметки, записки, посты. Вступительное слово Игоря Дуардовича | 347 |
| Terra Поэзия                           | РАФАЭЛЬ МОВСЕЯН, ДМИТРИЙ БЛИЗНЮК, РОМАН МАКЛЮК, КОНСТАНТИН КОРНЕЕВ, ДМИТРИЙ ДЕДЮЛИН, ЛЕСИК ПНАСЮК (перевела с украинского Ия Кива), СВЕТЛАНА БОГДАНОВА  | 375 |

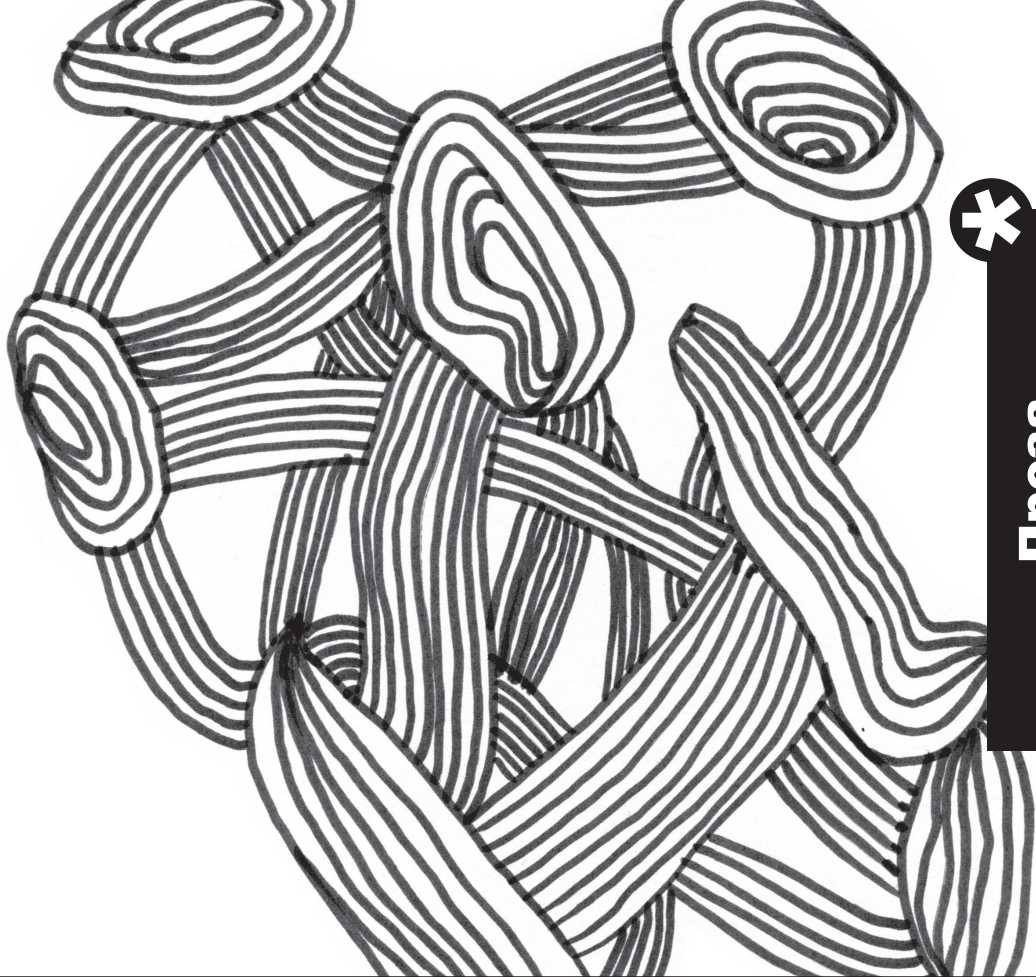
Прежние выпуски «НЮ» и новый номер можно найти на нашем сайте [www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)

Подписаться на полную электронную версию «Новой Юности» можно в интернете по адресу: <https://shop.eastview.com/results/item?SKU=12815>

Ценные бандероли редакция не принимает.

Рукописи объемом не более 4 авт. листов (170 000 знаков с пробелами) можно высылать по адресу: [newnost93@list.ru](mailto:newnost93@list.ru)

Присланные произведения не рецензируются.



**Валерий Бочков.** Латгальский крест. *Роман (фрагмент)*

**Леонид Бежин.** Семейное счастье. *Рассказ*

**Валерий Вотрин.** Сорок дней Ниневии. *Рассказ*

**Анна Билоус.** Как в кино. *Повесть*

**Сергей Катуков.** Десять любовей спустя. *Рассказ*

**Лев Премиров.** Записки о бывалом и небывалом.

*Повесть (фрагмент). Предисловие и публикация*

*Павла Чеботарева*

**Татьяна Дагович.** Маленькие вервольфы. *Рассказ*

**Вадим Муратханов.** ЖЗЛ. *Рассказ*

**Михаил Книжник.** Записная книга. *Из четвертого тома*

**Алексей Колесников.** В гости к Хворову. *Рассказ*

**Александр Колбовский.** Палата №19. *Записки*

**Михаил Бару.** Из всех ожиданий на свете. *Миниатюры*

Валерий Бочков

## ЛАТГАЛЬСКИЙ КРЕСТ

Латгалия сверху похожа на лоскутный ковер. Такой ее видят ласточки и стрижи в звонкие летние дни: в зеленые клеверные луга и оливковые поля люцерна вшиты строгие квадраты хуторских наделов, в малахите сосновых лесов сияют цыганской парчой заплатки озер, ясной лентой петляет с востока на запад изумрудная Даугава.

Если мне когда-нибудь удастся стать старым, то я вернусь сюда. Вернусь без карты, без компаса — буду спать на берегу озера или ручья, а утром, взобравшись на ближайший холм и оглядев округу, буду решать, какая из далей манит меня сегодня.

От солнца моя кожа станет медной, а волосы выгорят в белое. Небо будет синим, луга бескрайними, леса дремучими. В полях, где сейчас спеет рожь, я буду собирать ржавые гильзы и белые кости. Свои находки буду бережно складывать в старое солдатское одеяло, серое, из грубой шерсти. То самое, с трафаретной надписью «Из санчасти не выносить».

### 1

Я запросто мог появиться на свет в военном городке под Херсоном — там заканчивал летное училище мой отец, там он познакомился с мамой. Или в пряничном городке Ютербог, куда отец был направлен служить после училища. Кстати, именно там, на прусском востоке Германии, родился мой брат.

Спустя триста девяносто девять дней родился я. Во многом благодаря беспечности родителей и стечению обстоятельств. Неблагоприятных обстоятельств — так, по крайней мере, считает он, мой брат. Сам я об этом стараюсь не думать, но определенная логика в его точке зрения есть безусловно.

Могу вообразить с какой неохотой родители оставляли этот Ютербог: на фотографиях цветущие вишни, из белой пены выглядывают черепичные крыши, дальше — горбатый мост из дикого камня (кавалькада рыцарей с пышными плюмажами на стальных шлемах вот-вот должна

появиться), внизу прыткая речка, за мостом, на взгорье двуглавый готический собор втыкает шпиль в безмятежное небо. Строгий прусский минимализм — почти Кранах. Фото черно-белое, но даже без цвета видно, как они были счастливы тогда: мать — тихая улыбка одними глазами, бледное узкое лицо, воздушное платье, имитирующее клочок облака, — она запросто могла сойти за ангела, если бы не кулек в руках. В кульке — брат. Его не видно, но всем известно, что он там. Рядом отец — гордый и чуть растерянный, как и полагается молодому папаше. Четкий профиль, подбородок, тугой зачес назад, сигарета — все в соответствии с эпохой. Сколько ему тут? — думаю, и двадцати пяти нет. На отце форма с новенькими погонами, ему только что присвоили старшего лейтенанта. До моего рождения остается триста двадцать семь дней. Подсчитать несложно — на обороте фото есть дата. Написана она курсивом, с нажимом, фиолетовыми чернилами. Отец был изрядный каллиграф (природный дар, неутомимой практикой доведенный до идеала), папаша не смог удержаться и ниже дописал: «Семейство Краевских в полном составе». И в этой фразе есть свой скрытый смысл.

Отец хотел быть актером, а стал военным летчиком. В пятнадцать лет он убежал из дома с какой-то вполне зрелой артисткой из Московского театра оперетты. Его поймали в Харькове — труппа с триумфом гастролировала по Украине, москвичи показывали украинцам «Летучую мышь», — и вернули в столицу. Домой, в семью. Отец отца, соответственно, мой дед, суровый старик с деревянной ногой, — протез поскрипывал при ходьбе, тонко, будто весело посвистывал, — не выносил неповиновения и считал дисциплину главным достижением человеческой цивилизации. Ногу деду оторвало в Померании, буквально за четыре месяца до конца войны, когда в составе Первого Белорусского фронта он вел на штурм города Линде свою стрелковую дивизию. Его наградили звездой Героя и отправили в отставку в чине генерал-лейтенанта. Я ни разу не слышал его смеха. Раз в год, в мае, дед надевал парадный мундир со стоячим воротником, ватными плечами и широкой грудью, увешанной орденами в четыре ряда. Золотая звезда висела особняком — высоко, почти у ключицы. Погоны с двумя выпуклыми звездами были шиты золотой ниткой, сверкающей, как искры бенгальского огня. Мне страшно хотелось потрогать погоны, но я бы скорей умер, чем решился на это. Стоячий воротник с малиновым кантом тоже был вышит золотом. Мне тогда казалось, что мундир деда — одна из самых красивых вещей на свете.

Последний раз я видел парадный мундир на Новодевичьем кладбище. Был теплый октябрь, конец бабьего лета. Пахло желтыми листьями и московской пылью, теплой, с горьковатым привкусом копоти. Дедову звезду Героя несли на красной подушке, за ней следовали подушки с другими орденами, не такими важными. Кorteж замыкал гроб. Его поставили на черный подиум, накрыли крышкой и зачем-то крепко заколотили гвоздями. Звякнули ружейные затворы, солдаты дали залп, потом еще один, и еще. Потянуло кислым дымом, как от новогодних хлопушек. Через три дня мы вернулись домой, в Кройцбург.

В переводе с немецкого это значит крест-город. Или город креста. В тринадцатом веке, а именно в 1237-м году, его основали крестоносцы. Немцы, вот ведь педантичный народ, выбили название города и дату основания на каменной колонне, что и сейчас стоит на Рыночной площади. У нас есть замок, окруженный крепостной стеной, часовня с подземным ходом, лютеранский костел, древнее кладбище с каменными крестами — все, как полагается. Одно время в Кройцбурге располагалась резиденция Рижского епископа. Город переходил из рук в руки, после крестоносцев тут хозяйничали шведы, потом поляки. В середине шестнадцатого века Кройцбург заняли войска Ивана Грозного. А через двести лет в нашем замке, завершая триумфальную Польскую кампанию, останавливался полководец Суворов.

Сейчас в замке Дом офицеров — бильярдная, буфет, кинозал и библиотека. В комнате, где спал генералиссимус Суворов, теперь сидит майор Ершов, директор клуба, громкий и широкий коротышка с бабьим румянцем во всю щеку. Его жена — Ершиха, воображает себя светской дамой, скорее всего, француженкой, поскольку от природы картавит. По праздникам она натягивает на себя змеиное платье с глубоким вырезом — декольте, из которого пытаются выскочить ее огромные, как пляжные мячи, сиськи. Искристая чешуя платья делает Ершиху похожей на жирную саламандру. Я их никогда не видел — саламандр, но мне почему-то кажется, что они выглядят именно так.

В бильярдной четыре стола с зеленым сукном, высокий потолок защит мореным дубом. Древесина почти черная, дубовые доски выдерживают под водой несколько лет — морят. Слово это мне напоминает Таню Мореву, я был в нее влюблен во втором классе. Потолок кажется низким, наверное, из-за того, что темный, на самом деле бильярдный зал высотой метра четыре. Дубовые панели и на стенах. На каждой стене по картине — огромные полотна в музейных бронзовых рамах,

написанные местным художником-копиистом: «Василий Теркин. Солдаты на привале», «Подвиг Николая Гастелло», «Александр Матросов закрывает грудью амбразуру фашистского дота» и, разумеется, «Переход Суворова через Альпы».

Я люблю разглядывать картины, я и сам неплохо рисую — но не с натуры, а по воображению. Суворов на картине похож на ехидную старушонку, бравые гренадеры усаты и краснощеки. А вот фашист-пулеметчик напоминает Мефистофеля, нос крючком и злые глаза, — его хищные пули веером прошивают грудь советского героя. Лицо Матросова как из камня — такого пулями не возьмешь.

Самолет Гастелло получился на пять: заклепки на фюзеляже выпуклые, железные. Будто их действительно вбили в холст для пушечного реализма. Но больше всего меня восхищает Теркин, даже не он сам, а то, с каким мастерством художник нарисовал папиросу в руке солдата: рыжий огонек так и горит — обжечься можно.

В бильярдной стоит густой мужской дух. Военный дух. Пахнет сапужной ваксой, одеколоном и табаком. Старый паркет скрипит под офицерскими каблуками, с треском сшибаются тяжелые шары — на их желтоватых боках выгравированы цифры, шары эти выточены из настоящих слоновьих бивней. Летчики немногословны, как и положено настоящим летчикам. Тем более, военным.

«Пятый — дуплетом от борта в центр» или «Седьмой — в правый дальний» — эти слова звучат как тайные заклинания. Мой отец тоже играет: закусив сигарету, он щурится от дыма — душистые сигареты с золотым ободком присылает из Москвы моя бабка. Отец красив, он действительно мог бы стать актером. Он эффектно нависает над зеленым столом, правая рука на отлете. Его ладное тело упруго, он подобен натянутому луку: рука — тетива, кий — стрела. Луза — цель.

— Восьмерка — триплет в левый угол, — объявляет он.

— Триплет? — шелестит шепот, зеваки окружают стол. Они сосредоточенно курят.

Удар хлесткий и сильный, он звонок, как пистолетный выстрел. Шар, крутясь, несется к борту, от него к другому.

— Флюк! — говорит кто-то.

— Эффе...

Шар подкатывается к угловой лузе, замирает на краю, но все-таки соскальзывает вниз.

— Флюк... — повторяет тот же голос.

Отец усмехается, не отвечает. Со вкусом затягивается и выпускает дым тонкой струей вверх, в темные дубовые панели. Зрители одобрительно бубнят.

Наступает моя очередь — я подлетаю к столу, выуживаю холодный увесистый шар из сетки и ставлю на полку отца. Шаров у нас уже четыре. На один больше, чем у чернобрового капитана со страшной фамилией Черепов. Отец никогда ему не проигрывал. Хотя капитан Черепов тоже играет мастерски.

## 2

Тем летом я едва не утонул. Такая формулировка «едва не утонул» осталась в моей памяти — на самом деле меня чуть не утопил мой брат. Ему уже исполнилось пятнадцать, я все еще застрял на четырнадцати.

Был полдень, конец июня, стояла жара. День начался с утра, чистого и пронзительного, как витражное стекло. Мы, человек шесть пацанов, ныряли с понтона. Эти понтоны еще в войну использовали для наведения мостов — выстраивали цепочкой от берега до берега, сверху крепили доски и готово — хоть танки пускай. Похожий на циклопическую консервную банку — вроде как для сардин (если б сардины вымахали с акулу), он стоял метрах в двадцати от берега, этот понтон. Если поднырнуть под его брюхо, то в темно-янтарной толще можно было разглядеть ржавую якорную цепь, а на самом дне огромный бетонный блок с железной скобой, к которой и прикована цепь. Пару раз во время ледохода понтон отрывался, однажды его утащило до самых порогов, что за Еврейским кладбищем, но каждым летом он чудесным манером возвращался на свое место.

Искусство ныряния с понтона состоит из двух важнейших компонентов — скорость разбега и высота подскока. Разбежаться нужно по диагонали, так длинней — получается ровно восемь шагов. Восьмой шаг приходится на самый край понтона. Беги, будто за тобой гонится черт с вилами. Отталкивайся обеими ногами и изо всех сил, так, точно пытаешься допрыгнуть до солнца. Еще: крайне важно уловить ритм — понтон качается, — и в момент подскока борт, с которого ты прыгаешь, должен идти вверх.

Закрутить сальто в воздухе считалось особым шиком. Мой брат не просто крутил сальто, он умудрялся войти в воду рыбкой — без



брызг. Изыщно, как лезвие ножа. Мои сальто напоминали кувырки, и я непременно плюхался в воду лицом. Или брюхом.

Но в тот раз мне удалось сделать настоящий кульбит. Да, я успел выпрямиться, вытянуть руки и войти в воду без всплеска. Сквозь двухметровую толщу воды до меня понеслись восторженные крики с понтона.

— Коронно!

— Зашибец!

— Высший пилотаж!

Одним мощным гребком я вырвался из глубины на поверхность. Доплыл, в два приема подтянулся и выскочил на понтон — сбоку к борту была припаяна лесенка, но это для мелюзги.

— Ну, ты дал, Чиж! — Женечка Воронцов, румяный с белыми девичьими ресницами, восторженно шлепнул меня ладошкой по мокрой спине. — Сальто-мортале в чистом виде!

— Пять с плюсом! — Арахис ткнул мне кулаком под ребра, повернулся к моему брату. — Сделали тебя, Валет! Как ребенка сделали.

Тот хмыкнул.

— Случайность, — брат презрительно сплюнул в воду. — Показываю, как надо!

Все расступились, освобождая место для разбега. Валет, загорелый и мосластый, как породистый жеребец, он лениво дошел до края понтона, повернулся. Ухмыляясь, оглядел всех, всех по очереди. Всех, кроме меня, — по моему лицу скользнул как по пустому месту. Замер, подался вперед, по-бычьему наклонив голову. На лбу проступила вертикальная жила, такая же, как у отца. С берега долетел обрывок песни, пели что-то народное, хором, там, на берегу, слушали транзистор.

Валет сорвался с места. Пятки застучали в железо точно тревожная дробь цирковых барабанов. Пустое нутро понтона ответило гулким эхом. Подлетев к самому краю, брат оттолкнулся от бортика и взмыл вверх. На миг его мускулистое тело застыло в воздухе — бронза на синем, — тут я понял, что вот сейчас Валет попытается сделать двойное сальто, за моей спиной Арахис восторженно выругался матом — и он был прав: картина была божественной.

Первый кульбит вышел безукоризненно, брат скрутился в узел — спина колесом, подбородок в колени, — комок мускулов, сгусток энергии. Раньше двойное сальто не удавалось сделать никому из наших. Не удалось и Валету. На втором кувырке он врезался в воду, врезался лицом, подняв фонтан брызг.

— Жаба! — захохотал Сероглазов, жилистый и смазливый парень; его отца-майора три месяца назад перевели к нам из Германии, мамаша разгуливала фифой по гарнизону в красной шляпе с вуалью, а сам Сероглазов щеголял перед нами непромокаемыми часами с черным циферблатом и фосфорными стрелками, которые горели ночью зеленоватым светом. Утверждал, что в этих часах можно нырять на глубину сто метров.

— Валет жабу ляпнул! — изумленно выдохнул Арахис мне в затылок. — Чемпиону кирдык...

Брат вынырнул. Подплыв, он подтянулся, пружинисто выскочил на понтон. Лоб и правая щека горели румянцем, как ожог.

— Не ушибся? — Сероглазов отступил назад, ласково ухмыляясь. Брат зло посмотрел ему в лицо, не ответил.

— Однако, жаба. — Серый скрестил руки на груди, невзначай выставив свои часы. — Чемпионский титул аннулируется.

— Я вне зачета прыгал. — Брат обеими руками зачесал назад мокрые волосы, туго, как отец. — Сечешь? Жаба не считается.

— Жаба есть жаба. — Сероглазов сделал еще шаг назад. — Сам знаешь. Верно, мужики?

Все молчали. Жаба есть жаба — тут Серый был прав, но и связываться с Валетом никто не хотел. Брат хмуро оглядел нас, я видел, как он сжал кулаки, как надулась жила на лбу. У меня инстинктивно перехватило горло, я-то знал, к чему шло дело.

— Жаба... — поворотил Сероглазов.

Брат медленно пошел на него. Все расступились. Железо понтона раскалилось, как сковородка. На берегу, перекрикивая радио, зарыдал младенец. На ватных ногах я отошел к краю — сейчас я был в безопасности, но по привычке меня начало мутить. Сероглазов продолжал ухмыляться, он явно не подозревал, чем это может кончиться.

Не знаю, может, я действительно с придурью, как считает бабушка, — я подслушал их разговор на кухне с моим отцом, когда мы навещали старуху в зимние каникулы, — но меня отчего-то охватывает дикий стыд за других людей, когда те говорят глупости или делают гадости. Даже когда это вытворяют совершенно посторонние люди — не знаю. В такие моменты, чтобы остановить позорище и отвлечь внимание, я могу громко запеть или захохотать. Или выкинуть еще какой-нибудь фортель — вот, тоже бабкино словцо.

В драке брат зверел, зверел моментально. В стене нашей комнаты есть вмятина от гантели на уровне глаз, Валет метил в висок. В семь

лет мне пришивали ухо — одиннадцать швов, — брат почти вчистую откусил его. Выбитый коренной зуб и шрам на затылке от кастрюли — это все, не считая бесчисленных синяков и царапин, — отметины его братской любви. В драке Валет не просто дрался, он пытался тебя убить. Его побаивался даже Арахис, квадратный детина, с внешностью мексиканского разбойника.

— Жаба? — тихо спросил брат, глядя исподлобья на Сероглазова.

Тот, пятясь, остановился на краю понтона. Лениво потянулся, поправил бронзовую пряжку на своих немецких плавках — яркие радужные полоски, а сбоку кармашек с бронзовой застежкой в виде акулы.

— Ага, — ответил, улыбаясь. — Жаба.

Дальнейшее произошло мгновенно и почти синхронно.

Я не выдержал и крикнул: «Кончай, Валет!» Он даже не оглянулся. В тот же самый момент коротким бычьим ударом головой боднул Сероглазова в грудь. Грудная клетка ухнула гулко, как барабан. Серый, удивленно раскинув руки, полетел за борт. Его тело еще не коснулось воды, а брат уже подскочил ко мне. Кулака я не увидел — боль пронзила череп от подбородка до затылка. Мощный апперкот — Валет каждое утро дубасил боксерскую грушу в нашем гараже, — в голове взорвалась вселенная и тут же рассыпалась белыми искрами.

Понтон и река подпрыгнули — точно я взлетел на качелях. Босые ноги мелькнули на фоне белых облаков и невинной июльской синевы. Испугаться толком я не успел, не ощутил и удара о воду, должно быть на мгновенье даже потерял сознание — классический нокаут. Верх и низ перепутались, я стал почти невесом. В голове стоял звон, как от мелких серебряных бубенцов. Почему не колокольчиков? — не знаю, не знаю — бубенцов. Тягучая янтарная толща, расчерченная острыми лучами, потащила меня куда-то вбок. Течение, с упорством пьяного, влекло меня на глубину, на середину реки.

Безмолвие и покой — не так уж оказалось все страшно. Раньше иногда я пытался представить свою смерть — от пули, кинжала, прямого удара шпаги в сердце: невыносимая боль, парализующий ужас, накрывающая с головой тьма — воображение рисовало куда более жуткие картины, чем эта. Я тонул, а значит, умирал. И смерть эта была мирной, почти нежной.

Зеленые ростки водорослей вытянулись вдоль дна, течение играло ими, как лентами на ленивом ветру. Илистое дно казалось затянутым

в коричневый бархат. Мордатый сом, заметив меня, чванливо посторонился, но не уплыл, остался наблюдать. Притаился за корягой, вот дурак — думает, его не видно.

Я запросто могу сидеть под водой почти две минуты, ладно — полторы уж точно. Дольше Арахиса и Гуся, не говоря уже про Женечку Воронцова. Даже дольше Валета, хотя брат, зная это, со мной не тягается. Он соревнуется, лишь когда уверен в победе на все сто.

Течение тянуло меня. Я стал частью реки. Плыл над самым дном, нежные водоросли касались груди и ног. Выставил вперед руки — на глубине они казались бледными, точно были выточены из слоновой кости, вроде бильiardных шаров. Потом перевернулся, надо мной сквозь янтарную толщу проглядывало небо — солнце и облака, иногда мелькала тень птицы. У нас на Даугаве много речных чаек — клуш, они мельче морских, но такие же крикливые и скандальные. Понтон остался позади, темным пятном он чернел среди желто-зеленых бликов и солнечных зайчиков.

Злорадная горечь — всхлип пополам с усмешкой, когда не знаешь, разразишься хохотом или залешься слезами, — наполнила меня: там, на понтоне, Валет наверняка уже начал нервничать. Я представил, как он придет домой. Что будет говорить отцу и матери. Как будет врать. От жалости к себе я чуть не заплакал.

Воздух кончался. За эти десять секунд воображение успело нарисовать похороны — вышло горестно и уныло до зубной боли: я добавил серый дождик, жирную глину — мерзко коричневую, липнущую пудами к ботинкам. Фальшивые венки из крашеной бумаги раскисли, ленты потекли — «любимому сыну и брату», — теперь вранье едва можно было прочитать на черных тряпках. Добавил звук — не оркестр, пять доходяг с мятыми дудками и один с аккордеоном. Никаких барабанов, большой барабан действительно трагичен, только визг и стон. Мне нужен фарс.

Даугава — река серьезная, широкая и быстрая. Меня вынесло на стремнину, надо мной серебрилась звонкая рябь. Лежа на спине, я плавно пошел к поверхности. Не вынырнул — всплыл, лишь выставил лицо. Понтон остался позади, метрах в пятидесяти. Вопреки ожиданиям, никто не всматривался в воду, никто не нырял в отчаянных попытках найти утопленника, никто не кричал и не звал на помощь. Они что-то обсуждали, стояли вокруг Валета и о чем-то говорили. Спокойно, обычно. Ни жестов горя, ни паники — ничего. Компания пацанов на реке под летним небом.

Пять раз глубоко вдохнув и выдохнув, я восстановил дыхание — так поступают охотники за жемчугом на Карибских островах, лучшие ныряльщики в мире, — нужно втягивать воздух, словно ты пьешь что-то через соломинку, получается свистящий звук. Но не свист, а такой шипящий звук, как от сильного ветра, когда он дует в замочную скважину.

Вдохнув полной грудью, я ушел под воду. Не знаю, наверное, я плакал — не знаю. Под водой не понять, слезы если и текут, то тут же растворяются. Лишь во рту горечь. Валет меня не удивил — ничего другого я и не ожидал от брата. Сероглазов тоже — пижон, одно слово. Почти немец. Но вот Арахис! Женечка Воронцов! И Гусь! Даже Гусь, с которым два года назад мы заблудились в подземелье часовни. Даже Гусь...

Я снова всплыл. Лежа на спине, глядел в синее равнодушное небо, глядел на облака, на птиц. Они пролетели крикливой стаей, промчались низко, в сторону острова. Ласточки, черные и быстрые, как торопливые каракули на белом листе бумаги. Их крики, резкие, болезненно острые, напоминали мышинный писк. Вот, значит, как это будет — никто просто не обратит внимания. Точно меня никогда и не существовало свете. Никто не будет рвать волосы и рыдать, никто даже не взгрустнет на минуту, не подумает — вот жил такой Чиж, и вдруг нет его. Будут гонять на великах и лупить в футбол, ловить раков на Лауке и воровать яблоки в Латышской слободе. Вот, значит, как.

Течение несло меня к острову. Он никак не назывался, вернее, все звали его просто — Остров. Тем более что других островов в округе не было, и, если речь не шла о Святой Елене, Яве, Мальте или острове Мадагаскар, то каждому было ясно, какой остров имеется ввиду. На нашем острове никто не жил, но назвать его необитаемым я б не решился. На его дальнем конце летом устраивались танцы, концерты, иногда показали кино — там стояла дощатая летняя эстрада в виде ракушки со сценой, перед ней были вкопаны длинные лавки для зрителей. По бокам располагались фанерные будки, где толстые тетki торговали пивом, теплым лимонадом и раскисшими эклерами.

С латышским берегом остров соединялся подвесным мостом на стальных тросах толщиной в руку. Трос пружинил, мост покачивался как батут, шагать по такому мосту было сплошное удовольствие — я обратил внимание, что пешеходы на нем всегда шли улыбаясь. Это как с велосипедом — нельзя мчаться на велике с мрачным лицом.

Наш мост, что соединял остров с гарнизоном, был деревянным и его каждой весной сносило ледоходом. Однако, к началу лета появлялся новый — из свежих сосновых досок, ярко-желтых и пахучих. Его строили солдаты с аэродрома — быстро и бесплатно.

Остров считался нейтральной территорией. Драк не случалось: по неписаному закону конфликты решались в других местах, правило это соблюдали и латыши, и наши. Зимой дрались на льду Даугавы — посередине реки, а в теплое время за стрельбищем или на лопуховом поле за Еврейским кладбищем.

Если спросить у птиц, то они бы сказали, что с неба наш остров похож на щуку — длинный, с вытянутым острым носом. Там, на дальней косе, за высокой чащей дикого орешника, есть одно тайное место — песчаный мыс. С трех сторон он окружен зарослями камыша, непроходимыми, как амазонские джунгли. Попасть на мыс можно только вплавь, но зато какое это блаженство — прямо из холодной реки рухнуть в горячий песок, белый и мягкий как сахарная пудра. На мелководье, в теплой как суп воде, дремлют шурята. Плоские и прозрачные, точно отлитые из бутылочного стекла елочные игрушки, они покачиваются лениво в такт речной волне. Тихо шуршит высушенная солнцем камыш-трава, в орешнике свистят щеглы, сверху — пустая синь. И ни души — лишь песок, река и небо.

Неспешным брассом — течение само несло меня — я обогнул камышовые заросли. Острые листья понимались из воды стеной, на длинных стеблях покачивались пушистые метелки. Из мелкой зыби выступала песчаная отмель, похожая на одинокий бархан, точно какому-то сумасбродному джинну пришла в голову блажь перенести к нам кусок Сахары. Без единого всплеска, подобно коварному аллигатору, я вплыл в заводь. Грудь коснулась песка — мягко, я вытянулся на мелководье и блаженно застыл. Вода, прогретая солнцем, была тут градусов на пять теплей, чем на стремнине.

Но что-то тут было не так — интуиция меня редко подводит, — вытянув шею, я увидел колени. Они были нагло выставлены вверх, само тело скрывалось за песчаной дюной. Настроение моментально сошло на нет: весь день превращался в череду неприятных сюрпризов — сначала Валет чуть не сломал мне челюсть, после я чуть не утонул, а теперь вот какой-то самозванец, задрав ноги, развалился на моем пляже. Похоже, негодяй был один.

Дал задний ход, бесшумно погрузился. Вынырнул с левого фланга, в камышах. Прежде чем предпринимать что-то, мне хотелось рас-

смотреть захватчика — вдруг оккупантом окажется латышский битюг с пудовыми кулаками. Длинные стебли шуршали, покачиваясь на ветру. Я выпрямился.

В песчаной ложбине лежала девица. Абсолютно голая. Ей на колено опустилась зеленая стрекоза, ленивой ладошкой и не открывая глаз, девица согнала насекомое. И снова закинула руку за голову, раскрыв белую подмышку с золотистыми кудряшками. Такие же, только чуть темней, с рыжеватым отливом, покрывали ее лобок. Девица сонно развела ноги, завитушки вспыхнули на солнце точно клубок медной проволоки. Я с трудом сглотнул, во рту стало шершаво и сухо.

Голую женщину вот так вблизи я видел только один раз, в третьем классе. Сколько мне тогда было — десять лет? Валет гонялся за мной по квартире, я выскочил на лестничную клетку. Дверь к Череповым, нашим соседям, была приоткрыта — их котяра, наглый Че Гевара, сидел тут же, увлеченно валяя по кафельному полу придушенную мышь. Прошмыгнув в соседскую дверь, я прокрался в гостиную и спрятался за шторой. Такие же шторы — тяжелые, бархатные, с золотыми кистями, висели и у нас. Черепов и мой отец до Прибалтики вместе служили в Йотербурге. В наших квартирах стояли одинаковые ореховые буфеты на львиных лапах, за буфетным стеклом красовались идентичные сервизы «Мадонна», расписанные пасторальными сценами из жизни баварских пастушек в розово-голубой гамме, а с потолка обеих гостиных свисали, неотличимые, как близнецы, хрустальные люстры. Из глубин квартиры донесся шум — шаги и пение, дверь распахнулась, и в гостиную вошла тетя Вера.

Кроме намотанного тюрбаном банного полотенца, на соседке не было ничего. Напевая что-то мурлыкающим сопрано, она остановилась перед зеркалом, всего в метре от меня. От ее большого распаренного тела тянуло жаром и земляничным мылом. Протяни руку, при желании, я бы мог запросто дотронуться до ее круглой, как мраморный шар, ягодицы.

Тетя Вера разглядывала себя в зеркало с разных сторон, втягивала живот, вставала на цыпочки. Она поворачивалась спиной и оглядывалась, кому-то задорно подмигивая и посылая воздушные поцелуи. Игриво хлопала себя по заду, на нежной коже оставались розовые отпечатки ее ладошки. Потом, достав из трюмо синюю жестянку, соседка принялась мазать себя каким-то кремом, жирным и белым как сметана.

Мне удалось разглядеть все. Я стоял совсем рядом. Меня удивило и разочаровало, что у тети Веры между ног не было ничего, кроме

пучка жестких и линиялых, как мочалка, волос. Нет, я, конечно, и до этого видел голых женщин — на картинках: и игральные карты с голыми немками, и отцовская шариковая ручка, которую он прятал в глубине письменного стола, рядом с завернутым в бархатную тряпицу семизарядным «Браунингом». И большая картонная фотография, задвинутая за пианино, которую тайком мне как-то показал Арахис у себя дома, — на ней раскрашенная розовым дородная нимфа нежилась на берегу черно-белого лесного пруда.

Реальность оказалась скучной. Словно тот, кто ее выдумывал, был ленив или не очень умен. Неужели нельзя было придумать что-нибудь интересней пустого места с мочалкой на загровке? Ну, хорошо, не совсем пустого — спустя год Шурочка Руднева с третьего этажа с завидной гордостью продемонстрировала мне всю затейливость этого органа — дело было под Новый год, в клубной кладовке, у нас был китайский фонарик и целый кулек шоколадных конфет.

Сейчас, прячась в камышах, я стоял по грудь в воде и не знал, что делать дальше. Мне в икры щекотно тыкались мальки, страшно хотелось пить. Солнце перекаатило через реку и уже висело на латышской стороне, прямо над шпилем костела. Девица открыла глаза. Потянулась, развела руки и одним ловким и сильным движением встала. Отряхнула песок с ягодич, к загорелой ляжке прилипла полоска водоросли, прилипла изумрудным зигзагом, точно руническая татуировка или тайный знак. Она стояла неподвижно и смотрела на реку. Не знаю почему, но я сразу решил, что она латышка. Военный городок не так велик, и всех своих мы знали в лицо. И хотя она запросто могла приехать к кому-то из наших в гости, на каникулы, у меня была уверенность, что девчонка с того берега.

Одного со мной возраста, может, чуть старше, она напоминала циркачку — из тех, что танцуют на канате, — мускулистая и грациозная, она стояла гордо, подобно птице, готовящейся взлететь. Да, именно природная грация, почти животная — так грациозен и естествен олень в лесу или ястреб в небе; к тому же ровный загар, без бледных полосок от купальника — девчонка казалась частью речного пейзажа, фрагментом из мозаики опрокинутого неба, летнего зноя и песчаной косы. Не знаю — чуть ли не наядой или сильфидой.

А может, все мои фантазии были последствием нокаута — сказать трудно. Лицо мое горело, челюсть от удара налилась болью и пульсировала, в голове стоял нудный зуд — как в трансформаторной будке.



И когда латышка повернулась и посмотрела мне в глаза, я даже не удивился. Будто она с самого начала знала, что я прячусь тут, в камышах. Взгляд ее, спокойный, без тени смущения или хотя бы испуга, мне выдержать не удалось, к тому же она теперь стояла лицом ко мне бесстыже выставив круглые розовые соски и все остальное.

Я натужно закашлялся, начал поправлять волосы, а она молча вытянула руку и поманила меня ладонью, ласковым жестом — лодочкой.

Путаясь в камышах, я неуклюже выбрался на берег. Остановился метрах в трех, не зная куда девать руки. Скрестил на груди, потом заложил за спину. Упер в бока — нет, снова убрал за спину. Очень старался не пялиться на ее соски и на все остальное.

Песок приятно жег пятки, девица все так же молча наблюдала за мной. У нее были веснушки — на носу и щеках — летние, такие высыпают и у меня, но до зимы они не дотягивают. И выгоревшие в белое волосы, обрезанные чуть выше плеч. Глаза серо-голубые тоже казались выгоревшими, слишком светлыми на загорелом лице.

— Жара... сегодня, — выдавил я глухо, начало фразы вышло сильным, а конец взмыл писклявым фальцетом.

Я снова закашлялся в кулак. Снова начал причесывать пятерней волосы. Стая ласточек промчалась над нашими головами, просвистела в сторону латышского берега. Там, точно кусок школьного мела, белел тощий костел с черным крестом на шпиле, пологие отмели выползали из воды песчаными залысинами и врезались острыми языками в изумрудные холмы, из-за мохнатых яблонь выглядывали черепичные крыши с кирпичными трубами. Те самые яблоневые сады на окраине, на которые мы совершали наши августовские набеги — «крестовые походы», как называл их Арахис. Достаточно, кстати, рискованные — латышские овчарки, что сторожили сады, отличались лютостью и прытью.

Латышка никак не отреагировала на мое замечание о погоде. Ни словом, ни улыбкой — никак.

— Часа три уже, — попытался я еще раз. — Или полчетвертого. Должно быть...

Тут она кивнула. Мне удалось улыбнуться, наверное, улыбка вышла так себе, девица не ответила, лишь сузила глаза. Я вспомнил: такие глаза стеклянного бутылочного цвета с черной дробинкой зрачка — у полярных лаек. Хаски, кажется, называется эта порода.

Мы с ней были почти одного роста, я незаметно расправил плечи и выпрямился. Латышка разглядывала мой подбородок, должно быть,

там всюду зрел синяк. Потом опустила взгляд, она глядела на плавки. Смотрела без смущения, без кокетства или любопытства — просто смотрела. Я втянул живот и перестал дышать. Потом она сделала жест, простой и ясный.

— Снять? — чужим голосом спросил я.

Тут она улыбнулась и дважды — да-да — кивнула.

Небо за ней стало белым, солнце растеклось слепящим нимбом, река побелела и вспыхнула, точно вода превратилась в ртуть, сияющую белой ртутью. Песок жег пятки. Меж лопаток проскользнула горячая капля пота, оставив щекотную дорожку. Горло мое издало тихий икающий звук, должно быть, там, внутри, сердце оборвалось и рухнуло вниз. Все оказалось правдой — и Мопассан, и вранье старшекласников, и подслушанные истории взрослых. Истинной правдой. Но до конца поверить, что все это происходит на самом деле, происходит со мной, я все равно не мог. Контуры реальности потекли, как горячий воск.

Онемевшими пальцами я стянул мокрые плавки, зажал в кулак и зачем-то выжал. Голова моя плыла, куда-то плыл весь мир — река, небо, облака. Сложив руки, я прикрыл плавками низ живота. Сердце колотилось в висках, в горле, грохотало в грудной клетке — звук этот долетел наверняка до того берега. Не хватало еще в обморок шлепнуться — вот это будет номер. Я глубоко вдохнул три раза, но это тоже не помогло.

Латышка по-хозяйски выдернула из кулака мои плавки, без стеснения оглядела — сначала меня, потом плавки. Растянула их между большими пальцами, скрутила жгутом и ловко завязала в узел. Я заворуженно наблюдал за ней, словно в ожидании какого-то занятного фокуса. Затянув второй узел, девица подкинула тугой комок на ладони, точно теннисный мяч. Нехорошая догадка мелькнула в голове, я даже что-то промямлил, но было поздно: латышка, пружинисто отступив назад, резко, по-мужски, размахнулась и сильным броском зашвырнула мои плавки на середину реки.

Бросок вышел отличный — метров на тридцать. Плавки шлепнулись — всплеск, и все — пропали. Не оглянувшись, даже не посмотрев на меня, девица вошла в воду по пояс и нырнула. Я стоял как истукан — молча. Вынырнув, она уверенным кролем поплыла к своему берегу. Ее голова с солнечным зайчиком в мокрых волосах быстро удалялась, вот она добралась до стремнины — река там искрилась-играла бликами, течение подхватило ее и понесло. Ладонью я загородился от солнца, вода слепила, как разбитое зеркало, мне казалось, что я все еще вижу ее — крошечную точку в искрящемся мареве света. Но, должно быть, мне так только казалось.

Немного было жаль плавок. Совсем новые, японские, я в них плавал первое лето. Мне их купили перед самыми каникулами. Придется что-то врать родителям. Но не думал я, как буду дома объяснять пропажу. Не очень думал и о том, каким макаром доберусь до своей одежды на том берегу, да, видать, придется пробираться камышами вдоль берега. Ведь и дураку ясно: плыть тут против течения — дохлый номер.

## 3

Та голая латышка крепко застряла в моей памяти. Все лето я плавал на конец острова, иногда три-четыре раза в неделю. Выбирался на пустой берег, разглядывал песок, пытаюсь найти свежие следы ее босых ног.

А в августе, за неделю до конца каникул, разбился отец Гуся. Гуслицкий-старший летал штурманом на «двадцать восьмом яке». Отец, с высокомерием истребителя, называл эти бомбардировщики птеродактилями. Летчики — народ суеверный, и, боясь сглазить, они крайне осторожны в выражениях, на деле «двадцать восьмой» был самым настоящим летающим гробом.

Военный аэродром находился на западе, в семи километрах от Кройцбурга. Разумеется, и аэродром, и прилегающая местность — леса, поля и самолетное стрельбище, — считалась зоной повышенной секретности, но каждому в нашем военном городке было известно, что на аэродроме базировались две эскадрильи — разведчики и истребители. И что истребители летали на «двадцать первых мигах», а разведчики на «яках». Когда «яки» прогревали движки на форсаже, рев был слышен в городе.

Из разговоров летчиков и технарей, подслушанных в буфете Дома офицеров, бильярдной и на разнообразных застольях, выходило, что конструкторы бюро Яковлева не довели машину до ума, каркас фюзеляжа был слаб и при полной заправке топливом деформировался до такой степени, что невозможно было закрыть фонарь кабины. Поэтому перед вылетом в машину сначала усаживались штурман и пилот, техники закрывали кабину и только после этого заливали керосин в баки.

Батя Гуся не успел катапультироваться — так решила комиссия. Три офицера из Даугавпилса и толстый полковник из Москвы. Сразу после взлета и выключения форсажа, возник разнотяг двигателей, стабилизатор курса не сработал, и самолет, потеряв управление, упал. С момента взлета до падения прошло три минуты сорок се-

кунд. Второй пилот, капитан Сергиенко успешно катапультировался и остался жив.

На похоронах был весь гарнизон. Я старался не думать, что лежит в заколоченном и затянутом красной тряпкой гробу. Место катастрофы реактивного самолета представляет из себя глубокую воронку и круг выжженной земли, радиусом в километр, усеянный кусками обгоревшего алюминия. От гордой крылатой машины не остается ничего, кроме мелкого металлического мусора и запаха керосиновой гари. О человеке и говорить не приходится.

Гроб стоял на сдвинутых столах, порытых черным крепом. Большая фотография, в раме и под стеклом, украшенная траурным бантом и красными лентами, напоминала фото киноактера. Вроде тех открыток «Звезды советского экрана», что коллекционируют девчонки. От ретуши сходство почти исчезло, и отец Гуся больше походил на артиста Козакова, чем на капитана Гуслицкого. Сам Гусь, серый и прилизанный, в пиджаке с квадратными плечами, стоял тут же. Рядом была мать, с красным и мокрым лицом, ее окружала какая-то деревенская родня в тугих черных платках, похожая на стаю осенних грачей.

Из замка, то есть из Дома офицеров, поехали на кладбище. Я оказался в автобусе с музыкантами, пролез на заднее сиденье, ехал и разглядывал свое кривое отражение в медном раструбе геликона. Рядом уселась Шурочка Руднева, она без конца тараторила сдавленным шепотом про какого-то Костика, который что-то ей обещал, но не сделал. Или сделал, но не так, как обещал. Потом про какой-то парикмахерский техникум в Резекне. От нее разлило сладкими подкисшими духами, вроде «Красной Москвы». Трубач, солдатик с интеллигентным лицом, обернулся и вежливо попросил ее заткнуться. Руднева фыркнула и уставилась в окно. Мне хотелось поблагодарить трубача, но я промолчал — чтоб не бесить Рудневу.

На кладбище я не пошел к могиле, остался у автобусов. От них пахло бензином и горячей резиной. У дальнего автобуса шоферы-солдаты сидели на корточках и курили в кулак. Я тоже присел на корточки. Теперь я не видел кладбища — люди, венки, красный гроб, взвод автоматчиков и оркестр скрылись за холмом. Ветра не было, стоял зной, лето заканчивалось. Я провел ладонью по колючей желтой траве, потом положил руку на сухую потрескавшуюся глину. Глина была теплой, как человеческое тело. Вместе с летом заканчивалось еще что-то — тогда я не знал, что мысль эта банальна, я никогда прежде не испытывал подобного чувства. Тогда впервые в жизни я осознал

свою смертность, конечность этого мира. Осознание пошлости этих фраз приходит позднее, с опытом, который прессуется в цинизм, а тогда мне чудилось — нет, я был уверен, — что здесь и сейчас мне открылась главная тайна вселенной. Впрочем, банальность истин не отменяет их истинности.

Солдаты дали залп. Это означало, что гроб опускают в яму. Потом еще один. И еще. Сухое эхо вернулось из дальней рощи, и тут же оркестр выдул какой-то чудовищный до-мажор. Повисла пауза — ненадолго — и вот с раскачкой, нестройно, точно пьяный, что топают вверх по крутой лестнице в пудовых сапогах, зазвучал гимн. Медная секция рычала, тарелки истерично звенели, геликон интеллигентного солдатика гудел страшным басом. Колотушка большого барабана увесисто лупила ему в такт.

Звук — не мелодия, скорее, какофония — заполнил пространство. Знойное небо стало желто-белым, как выгоревшая бумага. Сухая трава блестела, точно колючая пластмасса. Унылое поле упиралось в березовую рощу, на кромке громоздились огромные валуны, похожие на стадо отдыхающих бизонов. Эти гигантские камни остались в Латгалии с ледникового периода. Ледник полз и тащил глыбы за собой — так нам говорили в школе. Пыльная дорога взбиралась на холм, там, на самой макушке остановился велосипедист. Черный силуэт велосипеда с дамской рамой, и женщина в летнем сарафане. Она стояла спиной ко мне и смотрела вниз, на кладбище.

Гимн наконец закончился. Я испытал почти физическое облегчение. Женщина на холме легко запрыгнула в седло, чуть помедлила и быстро покатила вниз. Ловко виляя меж камней и выбоин, она пронеслась мимо наших автобусов, стоявших на обочине. Летящий сарафан, загорелые коленки, выгоревшие в белое волосы. Один из шоферов свистнул вслед, остальные громко заржали. Мне стало стыдно, будто я имел к ним какое-то отношение, к этим солдатам. И еще — если бы за эти два месяца я уже не ошибся дюжину раз, то сейчас готов был бы поспорить, что узнал ее.

*Полностью текст можно прочитать  
на сайте журнала «Новая Юность»  
[www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)*



Леонид Бешин

## СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Рассказ

Стемнело по-осеннему рано. При этом вечерняя тьма не собиралась постепенно, не обступала медленно со всех сторон, не стучалась до аспидной черноты, поблескивая, словно со дна чернильницы, а мигом накрыла. И звонкая сухость, прогретость, цветочная сладость воздуха (по всем дворам белели астры и георгины) сразу показалась обманчивой. Потянуло и запахло тяжелой сыростью, заболоченными низинами, замшелым буреломом и всем тем, чем обычно пахнет в городке, где много оврагов.

Ресторан уже закрывался, и я едва уговорил официанта принести мне что-нибудь на ужин. Будь я моложе, и он вряд ли согласился бы меня уважить. Нет никого несговорчивее и упрямее провинциальных официантов: как ни упрощай, пальцем не пошевелят в неурочное время, а тем более за пять минут до закрытия. Хоть ты с голоду помирай — не обслужат (и только если помрешь, то для поминок столы накроют, а то и рюмку опрокинут за упокой).

Но нас сближал возраст: у обоих серебрился по темени коротко стриженный бобрик, а на левом виске белел клоч седины, свидетельствовавший, что оба мы разменяли у Небесного Кассира шестой десяток.

Кроме того, у меня в руках была корзина с грибами и палка с вделанным знакомым умельцем хитрым приспособлением вроде раскладного стульчика: собирая грибы, я старался не столько побольше пройти по осеннему лесу, сколько почаще присесть. Присесть, уподобившись персонажу одного писателя (о писателях я упомянул не случайно), о коем сказано: «Сел, чтобы посидеть немного». Меня это всегда восхищало: сел, чтобы посидеть. Вот и я садился не от усталости, не для того, чтобы отдохнуть, потереть ладонями спину, бока и колени, а «чтобы посидеть немного», как учит нас великая русская литература.

Видно, официанту это было знакомо, иначе бы он не задержал на палке понимающего взгляда и не произнес с одобрением:

— Полезная вещь, однако. А сколько удовольствия для нашего брата, старичка-грибника.

Я согласно закивал, хотя в старики записываться не спешил, и он мигом принес мне с кухни кое-какую трапезу. А когда я посмотрел на него с *известным* намеком, то он достал из-за спины запотевший графинчик. Хотя я обычно предпочитаю всяким сомнительным графинчикам надежно запечатанную бутылку, тут я не воспротивился, налил, опрокинул, крикнул и, когда почувствовал, что прошибло, предложил ему. Он с достоинством отказался:

— У нас хозяйка зело строгая. Ни-ни. Тем более что я когда-то себе весьма и весьма позволял...

«Зело... весьма и весьма...» — что-то в этом послышалось книжное, близкое мне, родственное. Похоже, что и он угадал во мне родственную душу. Чувствовалось, что выпить-то ему хотелось, и он предложил:

— А давайте с вами посидим над обрывом. Там есть скамеечка, только бы хозяйка не увидела.

— Да что вы так ее боитесь?

— Крутехонька больно. Истинная Васса.

— Васса? Я под таким названием видел у вас ресторан неподалеку от вокзала, но там мест не нашлось. Что ж, все рестораны, похоже, ей принадлежат?

— Все, как есть ее.

— А этот, небось, «Обрыв»? Я на вывеску-то, простите, не обратил внимание, теперь же догадываюсь...

— Он самый. «Обрыв». Угадали.

— Ну, просто Гончаров Иван Александрович получается.

— Читали?

— Что за вопрос! Конечно, читал. И не раз.

Его подкупило не то, что я читал Гончарова, а то, что еще и перечитывал. Он сдал выручку, переоделся и провел меня тропинкой к обрыву. Там была скамейка, немного мокрая от росы, и мы сели. Отсюда хорошо был виден усадебный дом с колоннами, занятый под ресторан, и горящее полуовальное окно на самом верху.

— Там когда-то был мой кабинет,— пояснил официант, поймав мой взгляд, направленный на окно.

— Вы что же, рестораном заведовали?

— Библиотекой. Здесь когда-то была библиотека, а я ее директор.

— А теперь там кто сидит, да еще допоздна?

- Хозяйка. Она теперь всему хозяйка.
- Как же так получилось, что вы из директоров в официанты сверзились?

Ему понравилось мое словечко. Он грустно улыбнулся, погладил серебряный бобрлик на голове и несколько раз ради забавы уколол о него ладонь.

- Вот так и сверзился. Давайте-ка я вам расскажу, если вы не против.
- Сделайте милость, — сказал я и тоже потрогал ладонью свой бобрлик.

## 1

Расскажу-то я вам расскажу, только давайте условимся, что рассказ — обо мне грешном. Вы, должно быть, удивитесь моему уточнению, сочтете его излишним, а то и попросту вздорным, но я, прежде чем начать, полагаю для себя обязательным оговорить, иначе же и начинать нет смысла. Итак, я и рассказчик, и главный персонаж одновременно, что, собственно, и не редкость для литературы. Напротив, такой прием в ней часто встречается, облюбован и ухожен — не мне вам приводить примеры. У этого испытанного приема лишь один недостаток. Иной раз по недоразумению или прочим причинам в ход повествования может вмешаться скромность, побуждающая рассказчика задать неизбежный риторический вопрос: «Ну, что я буду о себе распространяться!» Вопрос резонный и для некоторых чувствительных натур весьма щекотливый, но не из числа неразрешимых. На него возможен и такой ответ: да, рассказываю о себе, но с этим можно смириться и даже списать за счет неизбежных издержек то, что мне как герою рассказа приходится выставить себя на всеобщее обозрение, стать центром внимания и даже поддаться соблазну покрасоваться перед публикой.

Иными словами, предоставить всем возможность лицезреть, какой я в разных ролях, разных, так сказать амплуа. Я ведь на моем веку этих амплуа сменил немало — от преуспевающего директора нашей городской библиотеки, первой по посещаемости, до одичавшего безработного с бутылкой дешевого портвейна в отвисшем кармане пальто (а затем — услужливого официанта), от отца семейства до бездомного холостяка.

Моя бывшая библиотека — позвольте сказать два слова... Да, впрочем, и говорить ничего не надо — достаточно взглянуть на старинный усадебный дом, нависший над высоким обрывом, заросшим бурьяном, с колоннами, обсаженным липами *прешпектом* и чугунной оградой. Там внутри —



наборный паркет, расписные потолки, анфилада комнат, изразцовые печи — хоть сейчас топи дровами. В моем кабинете окно — полуовал. Зимой намерзали метровые сосульки, похожие на трубы органа. Летом при грозе распаивалась адская тьма, вспыхивающие багровыми зигзагами молнии отражались в стеклах готического книжного шкафа и казались заревом костра, на котором сжигают еретиков, вероотступников и всяких проходимцев.

Впрочем, еретики, отступники и проходимцы сейчас в фаворе...

Это я к тому, какие иным выпадают роли, какие бывают амплуа. Вот и мне — раз в жизни выпало. И я этого не скрываю, не замалевываю, не замазываю, не приbedняюсь в угоду завистникам. Пусть смотрят, оценивают, хвалят, осуждают — можно, можно! И вам как моему случайному собеседнику и confidentу тоже можно. С меня от этого не убудет.

Но вот чего решительно нельзя, так это вторгаться в сферу моих деликатных отношений с Машурой Зверевой, библиотекарем нашего абонемента, самой исполнительной, аккуратной из всех сотрудниц, умницей, сероглазой красавицей. Машура для меня одинаково неотразима, заплетает ли она косу или распускает ее, чтобы золотистые волосы рассыпались по плечам, надевает ли строгие очки или, наоборот, остается без очков и с прелестной, едва угадывающейся близорукостью щурится на окружающие предметы. Если бы не близорукость, Машура могла бы ходить по канату, натянутому под куполом цирка, или прыгать с вышки в воду: натура у нее, смею утверждать, героическая.

Она и в своем абонемента была способна на подвиги. К примеру, помнила, в каких томах у Толстого «Война и мир», «Отец Сергей», «Крейцера соната», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Семейное счастье» (я ее много раз проверял). Если кто-нибудь не знал, какую взять книгу, она словно бы невзначай выкладывала перед ним то, что оказывалось самой верной находкой. Сама носила домой книги старому безрукому профессору Евгению Львовичу, а также матерому уголовнику Федьке, отбывавшему срок в нашей тюрьме и имевшему необъяснимую склонность к чтению (ему доставляло особое удовольствие читать и тотчас забывать прочитанное).

И отношение к труду у нее было, как к святой обязанности, поскольку Машуре приходилось ухаживать за парализованной матерью, возить ее в кресле и воспитывать двоечника брата, тоже своего рода циркача. Он любил лазать по заборам, прыгать с сараев и — в отличие от Федьки — не навидел чтение.

Вот я ее тут зову Машурой... Вообще-то она Маша, но из любви к писателю Борису Зайцеву ей нравится если не носить, то хотя бы примерять иногда имя одной из его героинь, и я поддерживаю в ней это желание. Вернее, сначала угадываю, поскольку оно глубоко запрятано, а затем поддерживаю, поскольку сам с суеверной нежностью люблю... писателя Зайцева. Иногда я готов признаться, кого я *на самом деле* люблю, но подобная откровенность меня страшит, и пусть уж лучше будет Зайцев. Да, Борис Зайцев, и дело с концом. Пусть!

На этом отчасти основаны наши деликатные отношения с Машурой. Мы оба любим и не только Зайцева, но и его близкого друга Бунина, и не слишком близкого ему Шмелева, и совсем далекого Владимира Владимировича (не Маяковского). А я еще недавно для себя открыл и полюбил Марка Алданова, хотя тот вряд ли мог позволить себе назвать героиню Машурой — у него все больше Муси и Глафиры. Впрочем, если и Глафира, то уж по батюшке Генриховна — не меньше...

## 2

И Маша все это читает, прекрасно знает, и ее редчайшее достоинство в том, что с ней можно поговорить о литературе. О, эти разговоры, сладчайшие, блаженнейшие, упоительнейшие из всех, кои мне когда-либо приходилось вести! Не так уж часто сейчас и вообще-то удается поговорить: по нашим временам это роскошь, а поговорить о литературе — роскошь вдвойне, единственная, что нам осталась, поскольку вся прочая — у новых хозяев жизни.

Разговоры о литературе — это наше национальное. Они — не для французов и уж тем более англичан, хотя у тех и других были свои шекспировы и стэндалы. С французами можно о женщинах: тут они непревзойденные знатоки и охотники — до бесстыдства, до карамазовских сладострастных слюней, до «маточки моей». Может быть, я хлестко выразился и меня занесло, но как прикажете выразаться, если в сияющем мрамором чертоге парижского музея у них выставлено... срамное место. Да, со всем старанием, даже, я бы сказал, изощренным упоением изображенное художником срамное место, и при этом картина сопровождается глубокомысленной сентенцией: вот, мол, сокровенный источник мира, откуда, с позволения сказать, все пошло.

Французы от этого без ума, заходятся мелкой дрожью. Иностранцы, правда, бывают смущены и обескуражены, не позволяют себе надолго задерживаться возле этого шедевра, тем более с дамой, хотя дамы у нас всякого навидались, особенно после того, что преподнес миру австрийский молодой гений Шиле, певец мужского срама...

Однако хватит об этом. Я привел эти примеры, чтобы замаскировать некую банальность своего утверждения: с французами — о женщинах. Следующее мое утверждение столь же банально: с англичанами — о политике, о лошадях, о кровавых разборках в королевской семье. Добавим сюда немцев: с ними, если повезет, можно о музыке, о Бетховене, Вагнере или, на худой конец, сухом и рассудочном Хиндемите. С американцами при всем желании вообще ни о чем не поговоришь (средний американец не в состоянии разделить 111 на 3). Словом, всюду банальность, и только русские, отстающие во всех прочих отношениях, ее лишены, поскольку у них что ни слово, то литература.

Не буду приводить примеры, поскольку труднее их не привести. Каждый пример так и метит в литературу и, словно бумеранг, брошенный наобум лазаря, возвращается к своей исходной точке. Причем, в жизни такого давно уже нет, но каждый тебе расскажет и про белый плащ с кровавым подбоем, и про шаркающую кавалерийскую походку. И про топор в петле, пришитой с внутренней стороны пальто, под левой подмышкой. И про роющийся с героическими усилиями котлован.

Каждый, и в то же время, конечно, не каждый: тут посверкивает, мерцает, зыбится своя тончайшая диалектика. Спору нет, для истинного разговора нужны избранные, посвященные. Иной вопрос, что они могут встретиться не на университетской кафедре, а, скажем, гораздо выше — в будке башенного крана. Там, под облаками, самое место, чтобы запоем, всласть читать. Или в той же тюрьме, как наш Федька, по ночам штудирующий на нарах с фонариком «Критику чистого разума». И вот что еще любопытно. Истинные-то попадают больше среди мужчин, чем среди женщин.

Женщины чаще лишь запоминают сказанное кем-то, сами же вести разговоры на должном уровне (о книгах!) не умеют. Не потому, что им не хватает красноречия, а потому, что они не понимают главного. А именно: настоящая литература должна быть длинной и скучной — вот тогда она по-настоящему интересна и даже увлекательна. Они же падки на то, что коротко и занимательно, а это не литература, а обыкновенная пошлость. И творят эту пошлость не писатели, а... (есть одно словечко) *пьецухи*. Эти соловьями заливаются, прославляя краткость и занимательность. Один

из пьещухов так и ляпнул однажды сдуру: «Скучнейший “Самгин”». Скучнейший, разумеется, не скучный... Эх, вся беда в том, что общество у нас подурнело — в хорошем обществе пьещуху такого не спустили бы. Окунули бы головой в унитаз или дали пощечину, тем более что он и двух страниц «Самгина» не осилил, не одолел...

Из всех знакомых мне женщин самые длинные и скучные книги читала, конечно же, именно Маша. Поэтому она для меня — тайна, чудо, вечно ускользающая загадка. Она ведь и Голсуорси целиком прочла, и Роже Мартен Дюгара, и упомянутого «Клима Самгина», и «Иосифа и его братьев», и «Сад Иосифа». Поэтому и все остальное в литературе ей понятно, сразу видно, где пьещух, а где настоящий мастер. К тому же она обладает удивительным вкусом, тактом и достоинством — из тех, о ком говорят: воспитана. Сама она, конечно же, не стала бы величать себя Машурой: это манерно и претенциозно. Но позволить мне якобы в шутку так ее назвать — совсем другое дело. Ничего зазорного в этом нет. И я этим, признаться, пользуюсь. Стоит мне сойти с небес в библиотеку (кабинет у меня на третьем этаже), и я произношу:

— А дайте-ка мне, Машура, голубую звезду.

Разумеется, я не прошу достать мне звезду с неба, а имею в виду повесть Зайцева с таким названием — «Голубая звезда» (кстати, имя героини Машура — именно оттуда). И мой библиотекарь, страшно польщенный, ее тотчас проносит. Так же происходит и с вешними водами. Я как директор, ответственный за состояние помещений, никак не радею о том, чтобы сии поэтические воды здесь все залили, подтопили и устроили наводнение, но прошу выдать мне соответствующую повесть «Вешние воды». Только «Первой любви» я никогда не спрашиваю во избежание двусмысленности, а то эдак получится, что я, разменявший шестой десяток на серебристый бобрик и клочок седых волос, домогаюсь у юной сероглазой и скромной девушки первой любви.

### 3

Лет семь назад, в такую же осень, сухую и звонкую днем и сырую к ночи, пронеслось по нашему городку гнилое овражное веяние. Так и запахло тинистыми заводьями и тепловатой болотной водицей. И стало этой водицей подмывать обрыв, над которым высилась, маячила белыми колоннами, сквозила арочными окнами моя библиотека...

Мне бы первому распознать это веяние, поскольку меня оно прежде всего касалось, но я по натуре что твой глухарь на току — захожусь своими мелкими, текущими заботами, кружусь на месте, бестолково хлопаю крыльями и ничего не слышу. Одна мыслишка меня свербит: где бы подешевле тес раздобыть, где кровельное железо, где гвозди для починки флигеля. Мне и невдомек, что беда-то не над флигелем нависла, а над всей библиотекой, иными словами над моей жизнью, поскольку вне библиотеки никакой жизни у меня нет.

Тут уж добрые люди (они же злые языки) мне шепнули: ты, глухарь, вместо того чтобы заходить, прислушался бы и присмотрелся, что вокруг тебя творится. «А что именно?» — спрашиваю я хмуро и недоверчиво. «А то, — отвечают мне, — что охотничья облава к тебе подбирается, подкрадывается. Ружья нацеливают, курки взводят».

Иными словами, поговаривают о том, чтобы все библиотеки закрыть, поскольку они стали рассадниками всякого невежества и предрассудков, тормозом для развития мировой науки и отечественного капитализма. «Каким же это тормозом? Книги-то?» — «А таким, что твою библиотеку можно в одну такую штуку уместить». И показывают мне черненькую бубочку с голубым ободком чуть пониже колпачка.

Я в это сначала не поверил, посчитал все бредом. Подумал: как шумуло, так и затихнет. Но оказалось, что все это не бред.

Вызвали меня в управу и стали вкрадчиво растолковывать, что библиотека свой век отжила и подлежит закрытию. Глава управы Максим Кокошников, по прозвищу Маркиз де Ко, моложавый, но с бородкой, свернутой трубочкой и заостренной к концу, особенно упирал на это словцо — подлежит, уж очень оно ему нравилось, поскольку внушало, что все свершается не по его воле, а по некоему высшему соизволению. Раз уж подлежит, так подлежит — ничего не попишешь.

— Никто в твою библиотеку не ходит. Это раньше она была первой по посещаемости, а теперь в залах пусто — никого нет. Сидят две-три старушки и на спицах вяжут. И домой книг никто не берет — я сам проверял. — Кокошников с сожалением улыбнулся, словно бы сетуя, что результат его проверки не в мою пользу.

— Как это никто не берет! В тюрьму книги носим, — попытался я возразить, чувствуя слабость собственных доводов.

— Ну, отнесете вы одну-две книги Федьке Канту... Что ж, ради него мы должны целую библиотеку содержать? Не слишком ли жирно будет?

Тут я снова зашелся, но не от мелких забот, а от гнева и ярости — аж меня затрясло.

— Не ради Федьки, а ради самой книги. Книга — вечная ценность. У нас хранятся прижизненные издания, раритеты, уникальные подшивки газет.

— Слышали про ваши подшивки. — Маркиз де Ко вздохнул с сожалением, показывающим, что услышанное ничего не меняет. — Вам бы под них какую-нибудь кладовку, подвальчик, вы же по-барски расположились... Занимаете такое здание, едва ли не лучшее в городе. Наборный паркет, расписные потолки, изразцовые печи; у директора кабинет в пол-этажа. Что ж, всему этому пропадать!

— Ах, вот оно что! Недвижимость! А там, где недвижимость, там и интерес.

— Вы на что намекаете? — Маркиз счел нужным обозначить свое достоинство. — Никакого интереса тут нет. Здание выставим на аукцион. Деньги поступят в казну. Взяли моду на интерес всех ловить.

— А книги? Что с ними будет?

— Спишем. Раздадим по школам. Утилизируем, в конце концов.

— Это как? — Я словно бы просил объяснить мне секрет фокуса, который только что проделали перед моими глазами

— А вот так... — Маркиз не счел нужным раскрывать свои секреты и объяснять, как происходит утилизация.

— И списки составлять будете? На Блока, Ахматову, Цветаеву, Мережковского? — спросил я, хотя лучше было бы упомянуть не Мережковского, а Маяковского, солиднее, надежнее, но вот сплеховал.

— Списки? — Глава управы насторожился как должностное лицо, знающее цену спискам. — А что это вы про списки заговорили? Если понадобится, составим. Не беспокойтесь.

— А то, что в расстрельные списков они когда-то по счастливой случайности не попали, а вот списков на утилизацию избежать, выходит, не удалось.

— Это вы бросьте, бросьте! Такие аналогии неуместны — за них вас и привлечь не мешало бы. — Он смущенно кашлянул и подобрал тонкие — в ниточку — губы, как бы вынужденный признать, что привлечь — это уж слишком, крайняя мера. И безучастно, словно выгодную сделку, предложил компромиссный вариант: — Заявление по собственному желанию напишете? Я вам советую. Для вас это лучший выход.

— Зая-яв-ле-ние?! — Я ахнул и некоторое время не мог вздохнуть, почитав, что ослышался или чего-то до конца не уразумел.

— Ну да, заявление.— Он поскучнел, словно не понимая, о чем тут еще спрашивать, настолько все было ясно.— Как полагается, в надлежащей форме...

— За-яв-ле-ние?! — Я сделал еще одну попытку вздохнуть, такую же тщетную: горло перехватило, и доступа воздуха не было.

Он с брезгливой вежливостью налил мне воды, явно теряя терпение, нужное для того, чтобы объясняться со мной.

— Сколько еще повторять! Резину с вами тянуть! Вот вам бумага.— Он отслоил от пачки листок бумаги.— Пишите. Но только не заявление *от такого-то*, а *заявление такого-то*. Так принято.

— Сейчас, сейчас...— Я изобразил притворную угодливость и суетливую готовность к послушанию.— Это мы мигом. Вот вам заявление! Не такого-то, а от такого-то. То есть от меня.— И тут уж не знаю, как, но я позволил себе жест, какого никогда не позволял раньше и даже не думал, что на это способен, тем более в официальном месте. Раньше не позволял, а тут не выдержал, осмелел и позволил — жест, означающий одновременно и фигу, и самый откровенный, бесстыдный, вызывающий (что твой Шиле!) мужской срам.

## 4

То ли мой непристойный жест оказал неожиданное воздействие на Маркиза (начальство любит непристойность), то ли были иные неведомые мне причины, но он сразу переменялся — растрогался, умилился, порозовел, подобрел.

И несколько слащаво — сахарно — пообещал мне:

— Хорошо, проказник вы наш. Шалун вы этакий. Независимо от результатов аукциона мы сохраним просветительскую направленность бывшей усадьбы. Считайте, что это вам подарок. Шуба если и не с барского плеча, то с плеча начальника управы. Хотя, признаться, на шубу я себе еще не заработал.

Я не знал, благодарить ли мне Маркиза или, наоборот, показать, что просветительская направленность — слишком малая плата за уничтожение библиотеки. В конце концов я все же сдержанно поблагодарил, углядев, что глава управы ждет если не благодарности, то хотя бы некоторого признания. Признания, что он — вместо того чтобы держать себя в рамках — пренебрег официозом, сделал благое, бескорыстное, доброе дело.

— Что ж, спасибо и на этом... Значит, можно надеяться, что бордель у нас в библиотеке не устроит.

— Бывшей библиотеке, — сдержанно и сухо поправил меня он, обозначая голосом, что благотворительность приемлема, пока она не нарушает некую меру. — Верьте, все будет хорошо...

— И мы поженимся, — пошутил я с неким фиглярством, вызванным скорее нервозностью, чем развязностью.

Маркиз не понял и не оценил моей шутки.

— На ком это вы намерены жениться? Я, простите, женат. Да и вы, кажется, тоже.

— На демократии, — ответил я просветленно, и тем самым, кажется, еще более ухудшил о себе впечатление.

— Не особо старайтесь... — Он уже не называл меня проказником. — У нашей демократии другие женихи. Подстойнее.

Усадьбу выставили на аукцион, о чем в местной газете было напечатано объявление, обведенное рамкой. Аукцион проходил в бывшем читальном зале, закрытом для посетителей (старушек с вязанием, как выяснилось впоследствии, подставных). Народу набилась тьма. В переднем ряду — нога на ногу (отзеркаленные ваксой мыски ботинок) — сидели тузы, большинство из криминального мира, еще не отмые, с грязнотцой. Их окружала своя масть — шестерки, семерки, десятки. Масть, приставив ладонь ко рту, выкрикивала суммы, с самого начала кругленькие, с нулями. Перед последним нулем были бурные схватки. Победили самые испытанные, завязтые, матерые, отъявленные просветители — будущий ресторан.

В тот же день я ворвался в кабинет Маркиза и снова зашелся.

— Где ваше обещание? Где? — надсадно кричал я.

Он смотрел на меня любовно, почти с обожанием.

— А вы этот жестик... еще раз, пожалуйста... очень вас прошу. Продемонстрируйте. Доставьте удовольствие.

— Какой еще жестик?

— Тот самый, как давеча...

— Что за вздор?

— Не вздор, а вы слушайте. Ресторану, победившему на аукционе, поставлено условие. И это условие подлежит... — Он взглянул на меня с уверенностью, что я уже угадал, какое слово последует дальше, — исполнению. Название ресторана должно быть литературным. — В его лице и особенно свернутой трубочкой и заостренной книзу бороде обозначилась такая сладострастно-изысканная утонченность, словно он вместо



литературным произнес — *амурным*. — Те согласились, и мы сошлись на прекрасном названии — «Обрыв». И еще одно условие. Бывшим сотрудникам библиотеки будет предложено стать официантами. Сначала подучиться, конечно. Все-таки обслуживать посетителей ресторана — не книги студентам и пенсионерам выдавать. А подучившись, пожалуйста: зарплата плюс чаевые. И зарплата, прошу учесть, не такая, как вы платили.

— Неужели выше? — притворно умилился я.

— В разы, — произнес он голосом, чуждым всякого притворства.

— Наши сотрудники... никогда... вы слышите, никогда... — прошептал я горячим, срывающимся шепотом.

— Посмотрим, — сказал глава управы так, словно ему никуда смотреть не требовалось, поскольку он все уже ясно видел.

## 5

И тем не менее я с моим горячим шепотом и верой в сотрудников оказался прав или почти прав (или неправ вовсе, если смотреть не по тематическому, а, так сказать, по алфавитному каталогу). Наши сотрудники... наши бедные, нищие, работавшие за гроши сотрудники с достоинством честной бедности отвергли все посулы и наотрез отказались стать официантами. Отказались все, кроме заведующей залом текущей периодики Зинаиды Юрьевны Басовой, пышногрудой, с мужскими бровями и огромной брошью, жеманно и уклончиво обещавшей подумать, и... Маши Зверевой.

Да, Машура, моя Голубая Звезда, согласилась. Согласилась сквозь слезы, сославшись на то, что ей надо выхаживать больную мать, которой становилось все хуже (она держалась только на дорогих лекарствах), и воспитывать непутевого брата, готовить его если уж не в библиотечный техникум, то в цирковое училище.

— Не осуждайте меня. Я предательница. Вернее, осуждайте, но я ничего не могу поделать, — сказала она, доставая из сумочки смятую пачку сигарет, зажигая дрожащими руками спичку и закуривая, хотя раньше я никогда не видел ее курящей.

— Маша... — Я старался, чтобы к сдержанному удивлению в моем голосе не примешивалась укоризна.

Она вздрогнула и ужаснулась, вспомнив, что никогда при мне не курила, и стала разгонять рукой дым.

— Нет, курите, пожалуйста...

— Я у брата научилась. Однажды застучала его с кем-то выброшенным окурком дешевой сигары, отняла, но не выбросила, а сама закурила. С тех пор и пошло. К тому же мне теперь положено, я же официантка...— сказала Маша, оставляя за мной право решать, гордится она собой или себя презирает.— Мне ведь и чаевые будут давать. Полагается десять процентов. Да я и сама... с тарелок соберу, по кастрюлькам разложу и домой принесу. Вот я какая...

Я, конечно, стал убеждать, что Машура не должна себя винить, что она выполняет свой долг, что это для нее самопожертвование, но мои слова вызывали в ней только досаду и раздражение, как у преступницы, оправданной судом, несмотря на то, что она полностью признала свою вину и ждала справедливого наказания.

Тем не менее я сказал (немного по-книжному):

— Маша, можете во всем на меня положиться. Я навсегда останусь вашим другом.

Но возможность иметь во мне друга ее не обрадовала и не воодушевила, словно ей доставляло странное, изощренное наслаждение видеть во всех, во мне и в самой себе своих заклятых врагов.

— Ах, лучше бы вы от меня отвернулись. Лучше бы вы меня осудили, прогнали и проклинали.

— За что же мне вас проклинать! Неизвестно, как теперь жизнь сложится. Вы мне по доброте сердечной еще стаканчик нальете... там, в ресторане-то, а? — пошутил я.

Маша неожиданно повеселела и рассмеялась сначала слишком громко, а затем (ее что-то смутило) слишком тихо, почти неслышно.

— Налью, налью. И сама с вами с горя напьюсь.

— Вот! Значит, жива наша дружба. И о литературе еще поговорим — о «Голубой звезде».

— Это я с радостью. Это я вам обещаю,— сказала Маша, все-таки испытывая сожаление оттого, что я ее не прогнал и не проклинал.

## 6

Вскоре для меня стало ясно, что своими словами Маша, может быть неосознанно, хотела отвести от себя проклятие, нависшее над «Обрывом». Дела у ресторана не заладились, не пошли. Там бывали только приезжие дядьки — те, кому негде больше пообедать, кто

слюнил в кармане рубли и берег каждую копейку. Никто из жителей нашего городка туда носа не казал, считая ресторан проклятым оттого, что он возник на месте уничтоженной библиотеки и варварски утилизированных книг. Не ходили даже те, кто в библиотеке отродясь не бывал, но и они уверяли, что ее зловеший призрак словно бы висит над рестораном.

И это еще не все. Некоторым жителям, излишне нервозным, не чуждым сомнамбулизма и склонным к галлюцинациям, мерещился над «Обрывом» другой призрак — кулак с пальцами, сложенными дулей (большой между средним и указательным), и как бы пророчески вещавшими: вот вам ресторан, сукины дети! Еще намыкаетесь с ним, наплачетесь. За поругание культуры (или, по-церковному, хулу на Святого Духа) отмститесь вам всемеро!

И вправду, ближе к зиме, декабрьским морозам, метелям и вьюгам, кружившим над нашими оврагами, в ресторане случился пожар. Выгорело пол-этажа: наборный паркет, расписной потолок, привезенные в кадках пальмы, еще не распакованный белый рояль — ничего не удалось спасти.

Затем подтопило подвалы: мутная, смрадная вода стояла по колесо. А главное, все его залы, интимные кабинеты, пристроенные веранды пустовали.

Официанты слонялись без дела, курили, по очереди набрасывая старый, прокисший тулуп (после пожара курить разрешалось только во дворе). Накурившись до одури, играли в карты с охраной, но не на деньги: обещанных денег никто не получал.

Словом, надежды Маши Зверевой на хоть какой-то заработок, чаевые и ужин в кастрюльках рухнули. А тут еще на нее как на единственную официантку *из бывших* (хранитель текущей периодики так и не надумала податься в официанты) стали списывать все беды. Почему-то решили, что это она придумала неудачное, отпугивавшее посетителей название — «Обрыв».

И вообще считали, что Маша навлекает на них все беды, приносит несчастья. Ее травили и преследовали, улюлюкали ей вслед, толкали, щипали, набрасывали на голову тот самый старый тулуп, оставшийся от сторожихи. Однажды даже попытались избить и избили бы, если б не получили неожиданный отпор: Маша знала, куда надо бить — если не кулаком, то коленом.

Словом, ее всячески старались выжить.

Маша и сама ушла бы, если б было куда. Попробовала — наудачу — из нашего городка перебраться в город (потом забрать туда мать и брата), устроиться в цирк — хотя бы уборщицей, подметать арену и клетки чистить. Но ее не взяли: свои уборщицы справлялись, и на нее смотрели, как звери из клетки. Стать тренером по прыжкам в воду Маша теперь и не мечтала — какой она тренер! Глупости! Вздор! Вот и вернулась в наш городок, больше ни на что не надеюсь...

## 7

Лишившись моего директорства, я вытряс все из ящичков письменного стола, забрал недопитые бутылки из потайного шкафчика, отодвинул подальше письменный прибор, опрокинул стаканчик с ластиками, точилками и огромным бисмарковским карандашом, который покатился по зеленому сукну и упал на пол (поднимать я не стал) и последний раз посмотрел в полуoval окна. Во дворе усадьбы таяло, снег чернел, тропинки стали горчичного цвета, и над спуском в овраг поднималась туманным облаком (морокком) изморось.

Я спустился вниз по шаткой, скрипучей лестнице, прозванной Варварой и отзывавшейся особым звуком на каждый мой шаг. «Ну вот, прощевайте, Варвара Прохоровна», — сказал я и поклонился лестнице. «Прощай, Василий Максимович», — ответила — скрипнула — лестница (будем считать, что ответила).

С этого весеннего дня я отсчитываю мое торжественное вступление в новое амплуа. Я стал опускаться все ниже и ниже, пока не очутился на самом дне. Надеюсь, вы угадываете, какой *горький* смысл я вкладываю в это понятие — что твой МХАТ. И в одной из главных ролей на сцене — я. Впрочем, признаюсь, что ролишка так себе, дрянь, дешевка. И я больше рисуюсь, чем играю — с непривычки-то. И никакого тебе МХАТа, а просто бутылка портвейна в отвисшем кармане, шаркающая походка, бесцельно блуждающий взгляд.

«Это кто же такой? Лицо будто знакомое». — «А это бывший директор нашей библиотеки». — «Пооди, выгнали его». — «Турнули». Словом, испытал я вдосталь, что это такое — оказаться на дне-то. Если угодно, на дне *оврага*, если под оврагом подразумевать жизнь. Насладился этим всласть, ведь унизиться — то же самое, насладиться. Насладиться своим падением, которое и дает право возвыситься...

Впрочем, не буду вдаваться в умствование, а расскажу все как есть.

В первые дни, проведенные дома, я обещал себе и жене, что обзвоню всех знакомых: может быть, у кого-то найдется работа или кто-то подскажет, где ее искать. Я даже составил список и выписал нужные телефонные номера, чтобы позвонить по ним в *удобное* время. И вот оно наступило, самое удобное, просто удобнее не придумаешь. Но, вместо того чтобы звонить, по какой-то причудливой блажи я вдруг взял с полки книгу. Взял наугад: уголок торчал, я потянул, раскрыл, начал читать, увлекся и просидел до конца дня.

Ведь во времена моего директорства читать особо не приходилось, а тут прорва свободного времени — как не воспользоваться. Затем ради приличия все же позвонил, хотя время было неудобное. Стал униженно спрашивать, не найдется ли какой *работенки* (в этом слове — крайняя степень моего унижения). Работенки не нашлось, а по одному телефонному номеру мне ответили, что сейчас вообще никто не работает — все только охраняют. «Что же они охраняют, господа?» — по наивности спросил я. Оказалось, что охраняют банки, склады, гаражи, магазины, особняки — все что угодно, лишь бы охранять, поскольку охрана сейчас и есть единственная работа, за которую платят.

Но в охрану податься мне претило. Я, видите ли, возгнушался, побрезгал, не захотел, да и кто бы меня взял с моим слабосилием и дурными наклонностями к книгам. Вот тогда-то, лежа на диване, я и стал попивать. Оправдывал я себя тем, что я же не читаю: чтение было самым тяжким грехом, во всяком случае с точки зрения жены. Но я же не читал, а пьющим она меня еще не видела и поэтому не знала, как к этому отнестись.

Сначала отнеслась удивленно, как к причуде, затем насторожилась, затем запаниковала. Стала бить по щекам, чтобы пробудить меня к трезвости (она в кино где-то видела, что в таких случаях бьют по щекам). Но я не пробуждался. Тогда, посоветовавшись с подругами, жена меня выгнала, хотя подруги не советовали выгонять. Я ее не виню: она наизнанку выворачивалась, чтобы прокормить и вынянчить наших двойняшек, а тут еще одна обуза — пьющий муж. Я ютился у приятелей, но они меня недолго терпели; спал в каком-то подвале и на чердаке. Нанимался топить котельные и дачи сторожить.

Иногда приходил к Маше, и она тайком мне наливала. И сама со мной пила. Пьяненькие мы веселели, бодрились, куражились, болтали сущій вздор, и однажды я попытался завести с ней *прежний* наш разговор.

— Маша, дайте мне «Семейное счастье», — сказал я особым голосом, напоминая ей о тех временах, когда она сразу угадывала, о чем я прошу, и приносила мне нужную книгу.

Я надеялся, что эти воспоминания и в ней еще живы, что она улыбнется, вздохнет, может быть, даже прослезится и нам обоим станет так хорошо, словно прошлое к нам вернулось. Но, к моему удивлению, Маша не улыбнулась, а, напротив, встревожилась, погрузилась, отвела взгляд, и на ее глазах блеснули слезы, но не те, которых я ждал, а совсем иные, словно ее охватил испуг, отчаяние и в то же время робкая надежда.

— Я согласна, — тихо произнесла она.

Я не понял, с чем она согласна, но спросить не решился, видя, как много значит для нее это согласие, и опасаясь обидеть, даже оскорбить ее своим вопросом. Я только воскликнул, назвав ее тем *давним* именем:

— Машура!

Но она не услышала в этом имени ничего для себя важного — оно ей ни о чем не напомнило.

— Я согласна стать вашей женой, — сказала Маша и только теперь улыбнулась своим мыслям.

Мне стало не по себе. Я попробовал свести все к шутке, рассмеялся, предложил еще немного выпить, произнес какой-то выпорченный, витиеватый, невразумительный тост. Но Маша его не услышала и подняла рюмку так, словно я предложил выпить совсем за другое:

— Да, за наше семейное счастье.

И мне вдруг стало ясно, что это уже не Маша, что все забыто, в том числе и наши прекрасные разговоры, что о литературе с ней больше не поговоришь и что если я сейчас попрошу «Голубую звезду», Маша принесет из подсобки стремянку и полезет за ней на небо.

## 8

— Вот такая история. Вернее, даже так: история Маши на этом заканчивается, но остается хвостик другой истории, которую я с вашего позволения доскажу.

— Сделайте одолжение, — сказал я как можно более учтиво, как бы с неким реверансом, но не удержался и добавил: — Хотя и без того ясно, что утонченная и сверхделикатная Маша Зверева и есть та крутенехонькая хозяйка, которой вы так боитесь.

— Не совсем, не совсем. Одолжение-то я вам сделаю, не сомневайтесь. Только уж давайте допьем — не оставлять же. И посидим немного над обрывом, только молча, без ненужных разговоров. Подумаем. Помечтаем. — Мы немного посидели молча, каждый думал о своем (на дне обрыва блуждали болотные огоньки и под луной поблескивала тиной вода), и он продолжил свой рассказ.

Весной освободился из тюрьмы Федька Кант. Огляделся, приценился, поразнюхал, что к чему, и постепенно стал все *кантовать*, как у нас говорили, — прибирать к рукам. Начались наезды, разборки со стрельбой, передел собственности. Федька со своей мастью взял верх, завладел банком (сорвал банчишку), рестораны перешли к нему. Стал он местным авторитетом, магнатом и воротилой, и решил я ему *вмастить* — кое-что напомнить из прошлого. Напросился на встречу, хотя он не сразу соизволил меня принять, долго тянул, откладывал, гнушался, брезгал мною. Наверное, думал, что я буду деньги просить. Наконец принял меня в своем особняке, среди мрамора, позолоты, дубовых панелей, а расписной потолок, я заметил, точь-в-точь как в моей библиотеке.

Это меня воодушевило, вселило надежду. Заговорил с ним о книгах и стал осторожно клонить к тому, как когда-то ему носили книги из нашей библиотеки.

— Маша Зверева! — воскликнул он, и на его широком, бутристом лице с татарскими скулами просияла улыбка. — Как она? Жизнью довольна? Денежки есть? Счастлива?

— Вряд ли я тебя порадую. Живет в нищете. Бедствует. С горя чуть было не вышла замуж.

— Это за кого же? — Федьке не понравилось мое сообщение.

— За меня.

Тут он и вовсе помрачнел, стал смотреть на меня исподлобья, волком.

— Ты передумал или она? — спросил, сплюнув сквозь зубы.

— Она, конечно. — Я не оставил повода усомниться, что передумал не я.

— Почему ж это?

— Передумала-то? Сказала, что будет милого ждать.

— Это какого же милого?

— А тебя.

Приврал я, конечно, сам не знаю почему и зачем. Но получилось так, что очень даже к месту приврал. Федьку вдруг осенила — прошибла — шальная мечта: ввести в свой особняк хозяйку, и не кого-нибудь, а именно Машу Звереву. Мне он ничего об этом не сказал, но, когда мы распроцались,

поднял на ноги охрану, стал разузнавать, где ее найти. Ему доложили, что и искать не надо, поскольку она работает официанткой в его ресторане. Федька мигом туда позвонил, чтобы вызвать ее, но тотчас передумал и сам к ней отправился.

Снова была осень, по оврагам лежал туман, белела изморозь, моросило, и Федьке хватило ума вместо банальных роз подарить ей букет пожелтевших, подернутых по краям багрянцем кленовых листьев, среди которых он искусно припрятал коробочку. С бриллиантом. Кленовые листья Машу тронули; она оценила. Случайно заметила коробочку. Открыла, достала, ахнула, ужаснулась, не поверила и — взяла. Даже застенчиво, с легкой краской стыда поблагодарила (его это тоже тронуло).

Тогда Федька и вовсе впал в безумство. Решил ослепить Машу роскошью, одеть в шелка, закутать плечи голубым песком и на ней жениться. И так же, как когда-то Маша согласилась стать официанткой, теперь она не отвергла предложения Федьки. Лишь заручилась правом дать окончательный ответ немного погодя, через месяц-два-три.

Три месяца показались Федьке слишком долгим сроком, на два же он согласился. Согласился, поскольку ни в чем уже не сомневался. Меня (жалкую мошку) как соперника он всерьез не принимал и о нашем разговоре забыл.

Между тем Маша ко всему его хозяйству внимательно присмотрелась, во все вникла, все взяла в свои руки и обнаружила звериную (под стать фамилии) хватку — удивительные способности вести дела, особенно по части Федькиных ресторанов. В каждом из них она навела порядок: перекрасила аляповато выкрашенные стены, сменила шеф-повара, ввела новое меню, пригласила молодых музыкантов-лабухов, игравших по вечерам. И в пустовавшие некогда рестораны стали ломиться посетители, и не приезжие дядьки, как раньше, а изысканная публика со средствами и утонченными запросами. Любая копейка теперь приносила у нее прибыль, рубль же — так и сверхприбыль. Для Федьки она стала незаменима, и он уже не знал, дороже она ему как жена или как верный помощник, кореш и деловой партнер.

Наконец наступил срок дать окончательный ответ. Накануне Маша позвала меня к себе в «Обрыв» (менять название она не разрешила) и — как прежде — налила стаканчик. Как прежде мы вместе выпили, без речей и тостов. Вернее, вместо тоста Маша, опустив слегка близорукие глаза, сказала:



— Я перед вами виновата. Забыла, что «Семейное счастье» — повесть Толстого. Хочу искупить вину и исправить свою ошибку.

— Как же вы ее исправите?

— А вот так... — Маша забросила руки мне на шею и поцеловала меня так, что у меня закружилась голова.

Мы поженились — сначала тайно от всех, а затем нашли способ сообщить обо всем каждому, кого это хотя бы немного касалось. В том числе и Федьке. Он принял услышанное спокойно, хотя скулы у него едва заметно дрогнули. Получалось так, что его шальная мечта не сбылась, но Маша оставалась при нем — если не как жена, то как деловой партнер. И Федьку это не вполне, но устраивало, поскольку он получил гарантию успеха всех его ресторанных начинаний. Ну, а я... я таким странным, причудливым образом обрел свое семейное счастье...

— А стать официантом вы все-таки согласились? — спросил я, поглядывая на полуовал горящего в ночи окна.

— Согласился, как видите. И согласился бы стать кем угодно, лишь бы почаще видеть Машу. Она ведь так занята, что почти не бывает дома. Здесь же, в ресторане, нет-нет да и мелькнет передо мной, даже бывает незаметно для всех обнимет и приласкает своего старичка. — Он посмотрел на меня с улыбкой, а затем тоже перевел взгляд на свое единственное, заветное, негасимое окно.



Валерий Вотрин

## СОРОК ДНЕЙ НИНЕВИИ

*И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.  
Иона, 2:11*

Уже почти год прошел, как Шепрату, чеканщик, перестал отличать правую руку от левой, но это не вызывало у него никакого беспокойства, а только одно удивление, отчего это он, человек вроде разумный и трезвый, перестал различать, где лево, где право, где запад с востоком, где север с югом, а все стало для него смешано в одно кучу, так что частенько становился он где-нибудь на перекрестке и застывал подолгу, гадая, как ему пройти туда-то и туда-го. И с ним на перекрестке стояло в раздумье множество других людей, гадая, как им пройти куда они хотели, потому что они тоже почти как год утерjali всяческое понимание того, какая у них рука левая, а какая — правая. И с ними множество их жен, детей и домочадцев ровно так же перестали находить себя и предметы в пространстве и только крутились по улицам, ничего не находя, потому что население целого огромного города, все сто двадцать с лишним тысяч человек, стало внезапно, словно дети малые, лишено способности отличать левую руку от правой, а правую — от левой, и целыми днями только и занималось тем, что спрашивало друг друга, как им пройти туда-то и туда-то.

Скажем, идет Шаррукин, гончар, по улице и видит — сосед Адом сидит под глиняным забором и плачет. «Что плачешь ты?» — спрашивает его Шаррукин. И Адом в ответ: шел он на базар, про который рассказали ему, что он всего в двухстах шагах — нужно только повернуть один раз у лавки торговца сурьмой, второй раз — там, где стоит древняя статуя, и вот ты уже на базаре, а там покупай что знаешь, никто тебя ни о чем не спросит. Сделал Адом как сказали, а никакого базара не нашел. И вот сидит плачет, и никто ему не может помочь, потому что никто не знает, где базар, а тот человек, который показал Атому, где базар, пропал, потерялся в пространстве, и никто уже не сможет сказать, как этого человека найти.

Базар, говорит Шаррукин с печалью. Когда-то и я знал, где он. Но давно прошли те времена, и теперь, когда мне нужно пройти на базар, я просто иду куда придется и случается, что нахожу базар. Правда, бывает, что для этого мне приходится обойти весь город и где-то под вечер, когда лиловый сумрак опускается на дома и деревья, я выхожу на освещенное факелами место и узнаю в нем базар — притихший вечерний базар, неузнаваемый и пустынный, на котором только и удается что добыть горсть фиников и несвежую курицу. Вот и сейчас я иду на поиски базара — хочешь ли ты пойти со мной, Адом? И Адом, ободренный, встает на ноги, и вместе они бредут на поиски базара, и по пути к ним прибивается куча других людей, тоже ищущих базар, и так вереницей они переходят с одной улицы на другую, держась друг за друга, будто слепые, и всех встречных спрашивают с надеждой — не знаешь ли, добрый человек, где базар? Может, он в конце той улицы? А может, ближе?

Так и Шепрату, чеканщик, бродил по городу часами, стремясь попасть в какое-то место, и выходил то на главную площадь, к храму Иштар, то к крепостной стене, то к роднику. И когда оказывался он у храма Иштар, никогда не приходило ему в голову вознести молитву великой богине и попросить ее избавить город и его самого от этой напасти, потому что искал он совсем другое и слишком был этими поисками поглощен. А когда наконец собирался он посетить храм Иштар, то выходил к базару, и тут уже ничего не оставалось, как хватать все, что попадалось под руку, потому что другой возможности попасть на базар могло и не случиться. Хорошо хоть дорога домой каким-то непостижимым образом была всегда известна ниневитянам — видно, затем, чтобы каждый новый день начинали они с того, что закрепляли в пространстве свой дом как центр мира и уже от него отсчитывали бесконечные свои шаги на поиски того, что было им необходимо.

Но то базар — а что было делать Шепрату в мастерской? Нужно ему взять молоток да зубило, а он и не знает, какой рукой взять одно, а какой — другое. Берет зубило левой, а думает, что правой, и бьет по молотку, а потом еще удивляется, почему не выходит узор. Сердится, кричит, ругается на молоток, а потом на жену, детей начинает гонять по дому, отлично понимая, что не их это вина. А чья — не знает.

Зато старый Тикульги знал, по какой причине несчастье пало на Ниневию. Это было наказание богов — ведь только они могли затмить людям разум, чтобы глаза у тех скосились и перепутали стороны тела.

Но сделали это не боги Ниневии или Ашшура или другого города под началом могучего царя Салманасара — нет, в других пределах, находящихся под властью чужих богов, нужно искать исток этого проклятья. В чем-то мы прогневили далеких богов, говорил старый Тикульти, сидя в тени глиняного забора. Он был незряч, и зубов у него не было, но видел он далеко, и слова произносил ясно. Или бога, добавлял он. Одного бога, но этого одного хватило, чтобы целый город забыл, с какой стороны у человека находится сердце.

Никто не слушал Тикульти, один чеканщик Шепрату, да и то потому, что Тикульти вечно попадался ему на пути. Идет Шепрату вдоль городской стены — и натывается на Тикульти, который начинает рассказывать ему о чужих богах. Или выходит Шепрату на главную городскую площадь — а Тикульти, оказывается, уже добрался сюда прежде него и расстелил свою циновку в глубокой и прохладной тени от храмовой стены. «Ты слышишь, — говорил он, смеясь и тыча в Шепрату коричневым пальцем. — Ты меня слышишь. А ведь никто больше не слышит меня». — «Знаешь ли ты, где базар?» — спрашивал у него Шепрату с надеждой, но Тикульти только отмахивался. На базар он не ходил, а кормился подаянием да тем, что падало с деревьев, чьи усеянные плодами ветви перевешивались на улицу.

В то время появился в городе странный человек с голосом громким и резким, как у верблюда. Явился он со стороны моря, и пахло от него морем — смолой, солью и рыбой, как от финикиянина. И выглядел он так, как будто был мокр много дней, а потом обсох, но остался облеплен плетями водорослей и чешуей рыб.

Шепрату первым заметил его, потому что случился возле городских ворот как раз, когда тот человек вошел и завел разговор с городской стражей, спрашивая дорогу на главную площадь. А городская стража пришла в недоумение и не нашлась что сказать, хотя до того всегда находила что сказать, а бывало — и сделать, так что мало у кого хватало духу задавать вопросы или даже вообще заговаривать с городской стражей. А тот человек не убоился, не замешкался, а просто подошел и спросил громким голосом: где тут у вас городская площадь? А стража как-то сробела и так, переглядываясь: это самое, вон там, кажется? Или постой, туда надо идти! А тот человек: точно туда? А стража: так это, вроде как оно получается туда, если не вон туда. А тот человек: да вы, что ли, право от лева не можете отличить? А стража: эй-эй, ты тут не очень-то, это самое, кто сказал, что не можем, очень даже

можем! А человек: да вижу, как можете, на простой вопрос ответа не знаете. Ну ладно, вот пойду и сам найду! И пошел — а на том месте, где стоял, только кучка сухой рыбьей чешуи осталась.

А Шепрату повлекся за ним — просто потому, что любопытствовал, как заходящий человек может найти площадь в городе, где никто не может объяснить, как ее отыскать. Поначалу он надеялся увидеть, как тот начнет блуждать по разным закоулкам, и тыкаться в тупики, и возвращаться, и тыкаться в тупики, которыми были полны улицы Ниневии, и снова возвращаться, и постепенно выходить из себя, и честить город и местных богов хриплым шепотом. Но человек шагал вперед размеренно и широко, и уверенно сворачивал, и отстранял своей палкой с пути всяких попрошаек, которые лезли к нему за подаванием, и ни разу не спросил дорогу, и вышел напрямиком на городскую площадь — и вслед за ним там же оказался Шепрату, изумленный и немного напуганный. Он уже не знал, чего можно ожидать от необычно осведомленного чужеземца, и только пялился на него распахнутыми от удивления глазами.

А чужеземец так же размеренно и спокойно зашагал к царскому дворцу, и за ним тянулся горький запах моря и след из сухих чешуек, а когда дошел, то остановился, осмотрелся по сторонам и закричал невозможным голосом: «Слушайте, жители Ниневии! Слушайте слово Господне!» И пространство вокруг него моментально наполнилось людьми, словно они все вмиг прозрели, и научились различать стороны света, и прибежали к нему отовсюду, словно к центру земли, чтобы послушать, что он им скажет своим невозможным голосом.

А он откашлялся и продолжил: «Так мне повелел Господь Израиля, Господь всемилостивый и долготерпеливый — встань и иди в Ниневию, город великий, и говори его жителям: вот, злодеяния их дошли до Меня. Так повелел мне Господь: проповедай в Ниневии и скажи — минет сорок дней, и будет Ниневия разрушена за грехи ее!»

Словно звонкий камнепад, падали его слова на стопившихся вокруг него, и вздох поднялся среди них. Начали спрашивать его: что делать нам? Как спастись? Но человек их не слушал, и продолжал говорить, и невозможный его голос, громкий, как сигнальная труба, разносился вокруг, возглашая: конец Ниневии, городу великому. Вот, конец настанет через сорок дней, и никто не спасется. Так говорит Господь Бог Израиля: сорок дней еще, а потом — конец.

А в паузах, когда человек переводил дыхание, доносился от стены тихий смех старого Тикульти — ага, теперь и вы услышали. Поняли

теперь, какой бог на вас разозлился? Бог Израиля, вот какой! А вы, небось, и не слышали о такой стране. Невежество — бич наших времен!

С того дня начал ходить человек по Ниневии, меряя шагами каждую улицу, каждый закоулок и оставляя за собой след из сухой чешуи. И вскоре этой чешуей стали покрыты все улицы Ниневии, все ее площади, ибо обошел человек Ниневию за три дня, и не осталось ни одного уголка в ее стенах, хотя бы самого потаенного и укрытого от глаз людских, где бы ни лежала сухая рыба чешуя.

А за ним толпами ходили ниневитяне, и следили за каждым его движением, и ловили каждое его слово, и плакали в один голос, потому что поверили, что это — пророк. И многие оделись во вретича сразу, и те, что были недоверчивее, — попозже, но все в конце концов оделись во вретича, весь город от мала до велика, и перестали есть мясо животных, объявив голодный пост в надежде, что грехи их простятся.

А на исходе третьего дня открылись ворота дворца, и на площадь вышел сам царь Салманасар. Он тоже был одет во вретиче и был окружен одетыми во вретича придворными, и все они сели в пепел и стали слезно каяться и молить грозного Бога Израиля изменить решение и пощадить город. И Шепрату тоже зашелся в плаче, потому что увидел, что самое бедное вретиче самого младшего придворного выглядит как его, Шепрату, праздничная одежда.

И тогда старый Тикульти обратился к человеку с моря, и сказал: что же твой бог, пророк? Вот уже и царь вышел на площадь и простерся в прахе и пепле, и народ весь рыдает, и даже скот больше не пасется на зеленой траве, а трясется от страха. Пощадит ли нас твой бог, отвратит ли пылающий гнев свой?

Но человек с моря ничего не ответил, потому что был занят. Он уже больше не кричал и не возглашал, а расхаживал по городу, и останавливался на углах, и осматривался, и хмыкал, и посмеивался. Ишь, зданий понастроили, бормотал он себе под нос. Небось, думали, что на века? А вот изведаете гнев Господень и узнаете, что не на века совсем. Вон какой храм стоит — весь крепкий, стены из толстенных плит, колонны из твердого камня — а дунет Господь, и станет храм этот пылью.

И так он ходил всюду, случайно наступая на кающихся, которые лежали во прахе. Вон какая стена, бормотал он с усмешкой. Небось, думали, не рухнет? Рухнет как миленькая! Уж мы-то с Господом позаботимся.

И так истекли все сорок дней, отпущенных городу, — а на исходе сорокового пошел человек прочь из Ниневии, и выбрался за городскую стену, и добрался до близлежащего холма, и сел там с удобством, укрывшись от солнца ветвями, чтобы наблюдать, как Господень гнев будет палить город. И весь город замер в горестном ожидании, и больше никто не заходил в плаче, потому что плакать было поздно.

Но солнце закатилось и наутро взошло — а город лежал цел и невредим, разве ночью испустило дух положенное количество старых и больных да на западной окраине завалился от ветхости чей-то сарай.

Шепрату открыл глаза и понял, что дом его стоит, а вместе с домом стоит в неприкосновенности и весь город. Это обрадовало Шепрату, но он вспомнил о пророке и задумался. Был ли тот неправ, предрекая гибель городу, или многодневный покаянный пост сумел отвратить беду? Сам не зная каким образом, он выбрался за город и побежал туда, где сидел пророк. Его слегка удивило, что он так быстро нашел дорогу, но он не стал об этом думать, а продолжил путь и вскоре оказался у холма.

Он очутился у холма и увидел, что старый Тикульти опередил его и на этот раз, потому что уже сидел рядом с пророком, поддерживая его голову своими коричневыми руками. А пророк был не похож сам на себя — он изнемог, и лишился сил, и потерял свою уверенность, и был весь в слезах. Старый Тикульти поил его водой из бутылки и приговаривал: да, да, очень хорошее было дерево, очень тенистое дерево, очень его жалко. Не плачь, а лучше еще попей. И человек сосал воду, ну точно, как младенец, только что не гулил и не чмокал.

Напоив пророка, старый Тикульти сказал: а теперь тебе нужно уходить, божий человек, потому что дело свое ты сделал, целый город спас от кары небесной. А человек, капризно: я не хотел-ел. Я хотел, чтобы его испепелили! А Тикульти: ну-ну, мало ли что ты там хотел. А человек: не хочу никуда идти — хочу умереть!

И тогда старый Тикульти сказал: ишь ты, умереть. Тебе вон дерева жалко, и себя жалко — а представь целый город, полный заблудших, и кривых, и слепых. Неужто ты бы испепелил их просто за то, что они такие? И человек просто смотрел на него снизу вверх и ничего не говорил.

Вот то-то, сказал Тикульти. А теперь вставай и иди вон туда — покажи ему, Шепрату, где начинается дорога на Таршиш. И Шепрату показал, а человек ему: не вижу. Сказал Шепрату: как не видишь —

вон же она! А человек беспомощно: не могу определить, куда идти. Тогда взял его Тикульти за руку и повел, нащупывая дорогу своим посохом, а Шепрату стоял и смотрел им вслед. Отсюда, с холма, было ясно видно, где дорога в Таршиш, Вон она, прямо — левее как раз виноградники, а справа лежит Ниневия, град великий.

Виноградники, значит, левее, а Ниневия справа.

Шепрату поднял руку, и с изумлением оглядел ее, и нашел, что она — правая. Поднял другую руку — глядь, а она левая.

Солнце взошло, и встало над его головой, и осветило город, и Ниневия стала видна вся, как на ладони.

Нельзя было медлить.

Со всех ног бросился Шепрату к городским воротам. Наверняка все сто двадцать тысяч обитателей города уже разобрались, где у них какая рука, и огляделись, и все поняли.

Теперь они знали, как найти базар. Надо было успеть туда прежде них, пока все не расхватали.





А н н а    Б и л о у с

КАК    В    К И Н О

*Посвящается моей учительнице  
Галине Васильевне Ивановой,  
г. Черкассы, Украина*

Миловидный продавец с кривой бородкой немецкого барона Мюнхгаузена стоял за прилавком небольшого магазинчика «Я люблю Англию».

Магазин располагался в самом дальнем и потому не заплыванном туристами конце Робсон-стрит, что красной нитью проходит через сердце канадского Ванкувера.

Каким-то непонятным образом, и совершенно неожиданно, я оказалась в этом магазине, перед полками, забитыми заморской английской снедью.

«Не думала и не гадала, а словно приплыла на облаке», — подумала я.

Магазин показался каким-то очень своим, теплым и уютным. В глазах зарябило конфетными коробками с красными двухэтажными автобусами, в носу запахло английским печеньем и чаем от «Marks and Spencer».

Даже при беглом осмотре стало понятно, что с пустыми руками отсюда явно не уйти.

Тем временем продавец перестал рассматривать меня исподтишка, улыбнулся, поправил странную клетчатую кепку и мелодичным голосом произнес:

— Приветствую вас, о милая леди!

Затем, как будто извинившись за формальное приветствие, добавил уже менее пафосно:

— Лав, все продукты, что на этих полках, доставлены прямо из Англии, не сомневайтесь!

— Спасибо, я это сразу заметила, — ответила я, уверенно протягивая ему красную пластиковую корзину с короткой ручкой, доверху наполненную снедью.

«Когда же это я успела ее наполнить?» — подумала и сказала:

— Посчитайте!

Услужливый продавец по-юношески быстро перехватил корзину, начал доставать и сканировать коробки и баночки.

Его гибкий торс сгибался и разгибался над прилавком. Несмотря на эти быстрые телодвижения, удалось рассмотреть болтавшиеся на длинной самодельной веревке простенькие очки, клетчатые брюки и сходящийся спереди на деревянных пуговицах зеленый пуловер.

Если бы не прилавок с магазином, то можно было бы подумать, что он собрался играть в гольф.

— Вам нравятся английские продукты? — спросил продавец, улыбаясь, в очередной раз расправляя спину и выныривая из-под прилавка.

— Я скучаю по Лондону, прожила там три года, — доверчиво ответила я, поправляя челку.

— О, мне так знакомо это чувство! Вы не поверите, я тоже из Англии. Десять лет тому назад я покинул туманный Альбион, и вот теперь, как фрегат, я пришвартован в Ванкувере, — романтично ответил продавец, — А как давно вы переехали в Канаду? — спросил и посмотрел на меня.

— Недавно, — ответила я. — В Ванкувере всего два года, но иногда мне кажется, что я прожила тут целую вечность...

— О, как я вас понимаю, — продолжал складывать продукты в пакеты продавец. — Вы долго будете скучать по Европе, лав, я это гарантирую! — как будто обрадовался он. — Французы и русские называют это скучание ностальгией, а я придумал новое название: «Излечение пятью тысячами долларов»!

Его мелодичный голос, серая клетчатая кепка и это обращение ко мне словом «лав», на английский манер, как будто резанули по ноющей струне где-то под тонким свитером, глубоко внутри.

— Мне кажется, что я переехала жить на конец света, — неожиданно для себя пожаловалась я англичанину.

— Тут все по-другому, не по-европейски, но в то же время, вроде бы и не по-американски. Этот бесконечный дождь и оторванность от нашего привычного мира как-то особенно давят и напрягают. Сна-

чала было все интересно, а теперь и жить вдруг не хочется, — совершенно не отдавая себе отчета в происходящем, разоткровенничалась я.

Клетчатый англичанин криво усмехнулся и, совсем не скрывая движений, вдруг нажал кнопку вызова полиции, удобно вмонтированную возле кассового аппарата.

«Он что, думает, я не оплачу и вызывает полицию?» — удивилась я.

После нажатия кнопки по стенам магазина побежали цветные го-рошки, а из невидимых динамиков полилась до боли знакомая мелодия английского гимна «Боже, храни Королеву!»

Англичанин резко выпрямился и вдруг запел один из куплетов гимна сильным баритоном. Одной рукой он все еще держал мой пла-стиковый пакет, до краев набитый продуктами, а в другой сжимал желтый лимон, театрально прижав его к груди.

Я молча наблюдала это кино.

— Двенадцать часов дня, и я должен пропеть гимн моей родины, извините.

Закончив с песнопением, англичанин снова обратился ко мне:

— Я совершенно согласен с вами. Мы тут живем совершенно ото-рванными от мира! — подтвердил он. — Еще совсем недавно я тоже так думал! Представляете, мы самыми последними встречаем Но-вый год! После нас, кажется, только Гавайи, говорил я моим дру-зьям. Так было со мной, и так бывает со всеми, кто добирается до берегов западного побережья Канады или Америки.

— И чем все это закончилось? Вы как-то успокоились? — спра-сила я.

— Конечно, лав, все на свете заканчивается... и хорошее, и плохое, и чувства, и смятения, — по-философски ответил продавец, пытаясь втиснуть лимон в пакет рядом с английским печеньем.

— Я, скажу вам честно, наблюдал за моими друзьями и видел, что все они тоже мучились, точно так же, как и я. Мои близкие друзья-англичане — не последние люди: инженеры, муж и жена, бездетная пара. Они тоже прошли излечение пятью тысячами долларов.

— Столько денег потратили на лекарства? — удивленно спросила я.

— Нет, это кодовое название, — усмехнулся англичанин. — Это название придумал я, чтобы заменить дурацкое понятие «носталь-гии», — похвастался он. — Ностальгия, скажу вам откровенно, по-

нятие из прошлого века, когда у людей было время расслабиться и переживать, лежать на диване или писать стихи. А сейчас времени на все эти занятия, включая ностальгию, увы, не осталось. Мы совершенно не отдаем себе отчета в происходящем, несемся напропалую, спешим и нажимаем кнопки. Остановились, перевели дух и снова тупо нажимаем. А дальше будет еще хуже! — поспешно добавил он и зашелестел пакетами. — Нам некогда чувствовать себя, других, а тем более какую-то новую страну, куда мы только что приперлись. Нам некогда жаловаться и сблизиться с кем-то эмоционально... Нам некогда сблизиться с самими собой!

Он поднял указательный палец и ткнул им в воздух, как будто ставил восклицательный знак. Из поднятого на мгновение пальца вдруг выпорхнула желтая канарейка. Я не успела даже ахнуть, англичанин же спокойно проводил ее взглядом и, кажется, остался доволен собой.

— Так вот! Мои друзья-англичане, прекрасная пара, не выдержали этого канадского рая, собрали все свои вещи, устроили распродажу барахла и после этого улетели обратно, в Дувр. Там, в доброй старой Англии, они снова погрузились в свой привычный английский мир... сами знаете: размеренность, застолья в пивных барах, английские лужайки, славная чашечка чая в пять часов вечера и доставка молока под дверь с утра, — сказав это, англичанин заулыбался во весь рот. — Одним словом, былую жизнь мои друзья легко восстановили, вернулись восвояси, однако, скажу вам откровенно, эти перемены и возвращение не принесли им счастья.

— Как так? — удивленно спросила я.

Продавец вздохнул и почему-то снова потрогал кепку.

— Ванкувер забыть они так и не смогли! Вы знаете, — продолжил он задумчиво, — им начали сниться какие-то канадские сны, все эти горы и леса, и эта первозданная безмятежность, и наши просторы, и бесконечные канадские дороги. Понимаете, вся семья снова окунулась в душевные муки, но теперь, уже в Англии, они страдали и мечтали о Канаде. Жена начала писать стихи и даже опубликовала парочку в литературном журнале, а муж сильно переживал и, представьте себе, обратился к психологу. Вы много видели англичан на приеме у психолога? Это же вам не американский менталитет! Нас скорее увидишь в пабе, за бутылкой английского виски, чем в его приемной, — почти рассмеялся он.

Я внимательно слушала и представляла эту английскую пару, их страдания, в которые почему-то верилось очень легко.

Продавец смотрел вниз.

— Так вот, — продолжил продавец, — мучились они в своей любимой Англии недолго, всего с полгода и, в конце концов, купили билеты обратно, в Ванкувер. Они всего лишь иммигрировали во второй раз, так как виза на постоянное жительство в Канаде у них была, — закончил англичанин и улыбнулся губами Мика Джаггера. — Такие дела, лав. На все свои страдания, приезды и отъезды эта семья потратили около пяти тысяч долларов. А как потратили, так сразу и вылетелись, и перестали скучать по Англии раз и навсегда! Вы мне не верите, лав? — уставился мне в переносицу. — Теперь эта семейка живет тут и наслаждается жизнью Ванкувера. Про Англию они вспоминают спокойно, без истерик, пишут в твиттере родственникам и встречают бесконечных гостей из Англии, — как будто подытожил продавец и прямо через прилавок подал мне пакеты, доверху наполненные продуктами. — У вас ностальгия тоже пройдет, думайте обо всем легче, без надрыва! — сказал он вдруг голосом моей соседки Марси.

Откуда-то сверху снова полилась мелодия «Боже, храни Королеву». Только что оплаченный лимон зазвенел, вынырнул из пакета и плавно поплыл вверх по воздуху. Я молча проводила его взглядом. Желтобокий бесцеремонно парил над нами, постепенно смешался со стаей разноцветных горошков и вдруг, проплывая у меня над правым ухом, резко зазвонил телефонной трелью будильника.

Я вздрогнула и проснулась, села в кровати и поняла, что точно проспала. Мужа рядом не было. В кровати, на простыне, остались только вмятины, а его, как говорится, и след простыл.

«И рано утром и поздно вечером: подработки!» — пронеслось в голове.

Раскрашенные солнечным светом, распахнутые гобеленовые гардины тяжело покачивались на окне. Они светились зрелой желтизной, скорее напоминающей полдень, чем ранний рассвет. Поспешно распахнув слои одеял и соскочив на пол, я понеслась в ванную, стараясь хотя бы за хвост поймать стремительно убежавшее утро.

Натягивать деловую юбку и легкую блузку приходилось прямо на ходу. Разбрасывая в стороны все ненужное, я собиралась быстро, осознавая, что сегодня мне предстоит научиться чистить зубы и одеваться одновременно.

Лавируя между кроватью и шкафом, на ходу подхватывала жизненно важные предметы. В сумку полетела туго набитая косметичка, расческа, ручка и туфли на широком каблуке. Красный еженедельник и легкий пиджак были добавлены туда уже в коридоре.

Двери громко хлопнули позади меня, наверняка не разбудив никого из соседей по этажу. В нашем интернациональном доме проживали только те, кто назвал Канаду родиной совсем недавно, а иммигранты, как водится, встают рано и ложатся поздно, вечно стараясь куда-то прорваться и догнать стремительно меняющуюся местную жизнь.

Босые ноги понеслись по холодным ступенькам подъезда.

«А может, все-таки успею?» — пульсировало в голове.

Я давно предполагала, что любая уважающая себя женщина может справиться с утренним макияжем и укладкой волос за рулем собственного автомобиля. Теперь мне предстояло на практике доказать это самой себе.

Еще одно движение — и выбежала на улицу. Дернула за дверку авто. Мой зеленый «Фольксваген Гольф» напрягся, взревел мотором и, как послушный Конек-Горбунок, юрко вырулил на проезжую часть.

Ванкувер, как и все курортные города мира, страдает болезнью дорожного тромбоза. Пробриться сквозь трафик и проехать узкие улицы молодежного района Китсилано, да еще в часы утреннего столпотворения, задача не из легких. Мое продвижение по загруженной трассе можно было назвать бегом по-пластунски, с расталкиванием локтями. Обминая уверенных в себе жителей прибрежного элитного района, мне предстояло добраться до более быстрого движения Бродвея.

Опять приходилось делать несколько дел одновременно! Придерживая руль застывшего на светофоре автомобиля, уверенными движениями растерла крем на шее и лице, подвела карандашом глаза. Одного красного светофора хватило на лицо, на втором светофоре красила ресницы, а на третьем, уже совсем перед выездом на Бродвей, из копны непослушных волос смастерила прическу хвост. На макушке волосы топорщились и казались сбившимися.

«Сбившиеся волосы на макушке и гладкий уложенный хвост придают женщине сексуальности и напоминают о времени, проведенном в постели», — вспомнила подзаголовок журнала «Cosmopolitan»,

который недавно пролистала в медленно ползущей очереди у кассы гипермаркета «Superstore». Журнал так и остался на полке, а глупые фразы почему-то отпечатались в моей голове.

«Самые передовые глупости всегда печатают на передовых страницах», — любил повторять директор нашего переводческого агентства, пролистывая утренние газеты и почесывая за ухом.

В бюро переводов, где я вкальвала уже второй год, скептически относились к модным журналам, красивым женщинам и дорогим напиткам.

«Наш драгоценный первач ничуть не хуже их самого дорогого шотландского виски», — делился сокровенным Вадим, иммигрант с пятнадцатилетним стажем, и он же владелец нашего передового переводческого бюро, расположенного в центре живописного Ванкувера.

Вадим был грузным сорокапятилетним мужчиной, обожающим хорошо поесть. Когда-то, двадцать лет тому назад, он переехал в Ванкувер из Ленинграда.

— Я поменял шило на мыло, — сокрушаясь, часто откровенничал Вадим. — В Питере дождей было такое же количество, можно было никуда и не ехать! — обычно говорил он по вторникам, когда работать становилось особо тяжело.

Именно ко вторнику Вадим успевал подзабыть утехи воскресной рыбалки, обеды и вечерние скитания по барам молодежной Грэнвилл-стрит, а три предстоящих рабочих будня вдруг начинали казаться серым забором.

— В ООН работать не позовут, а, значит, и делать особо нечего, — вслух жаловался он сам себе.

В небольшой комнате нашей переводческой конторы директор восседал за рабочим столом на собственном парадном троне, помещавшемся в середине комнаты. Стол был завален кипой газет, а трон сверкал поддельным золотом. И трон, и стол достались Вадиму на распродаже декораций и инвентаря одной из киностудий, снимавшей свои фильмы в Ванкувере.

На завтрак директор любил выпивать гигантскую чашку кофе, а на ланч заказывал себе трехэтажные бутерброды из кафе «Еда-Еда». Девушка в короткой юбке доставляла коробку с громадными бутербродами прямо к нам в офис на мотороллере.

Рабочий день Вадима начинался с перелистывания местных газет и с обязательного ежедневного просмотра программы RT. Он смо-

трел свою любимую программу на широченном айпэде, разложенном поверх стопки свежих газет.

В бюро переводов, включая меня, официально работали три переводчика. Двадцатипятилетняя Люда и вечно молодая Галина Борисовна были приставлены к обслуживанию юридических дел. Переводчицы попеременно бегали по судам, куда, время от времени, попадали неразборчивые русскоговорящие иммигранты.

Директор планировал расписание самостоятельно. Он расписывал вызовы нашей женской команды на неделю вперед, в умело расчерченной таблице, прямо на офисной стене. Иногда к моим запланированным часам, записанным на доске черным фломастером, добавлялись и красные записи срочной работы. За срочную работу агентство Вадима платило на тридцать процентов больше, и за них можно было радоваться по-красному!

Ввиду моего опыта работы с медицинскими темами и внешними данными положительного образа классной училки, мне доставались самые требовательные и эмоционально выматывающие медицинские переводы.

Казалось, директор думал, что правильно переведенные диагноз и предписания врача, в комбинации со славянским овалом лица, способны не только произвести впечатление надежности и профессионализма, но заодно излечить и болезни.

Несмотря на все эти положительные внешние моменты, о карьерном росте мне приходилось только мечтать!

«Высокий рост и размер чашки лифчика больше размера «В» позволяет современной женщине добиться карьерного роста и высокого заработка», — кричали передовицы журнала «GQ» со стойки прилавка ванкуверской заправки.

Стоит любому журналу разместиться на полках, как журнальные банальности начинают запросто выпрыгивать из них и лезть в голову даже тем, кто совершенно не собирался читать и верить передовому туалетному чтиву.

Я иногда думала, что все заковыристо липучие заголовки модных журнальных передовиц мог, совершенно не напрягаясь, сочинить наш директор, Вадим. Никогда не удивилась бы, если бы узнала, что в перерывах между просмотрами RT и поглощениями смузиков, именно наш директор сочинял все сахарно-миндальные постулаты, рассчитанные для доверчивых женских глаз и



умов. Директор и журналы парили на каких-то своих общих, особых широтах.

Медицинские переводы слыли самыми ответственными и трудными заданиями в нашем агентстве.

Политической тематики у нас почти не водилось. Ванкуверские политики не нуждались в переводах с русского. Их взгляды было обращены в Поднебесную. Разодетые в пиджаки канадского пошива, политики улетали на Восток целыми стаями и пытались пробить многочисленные окна в богатый Китай.

— Тут и пробивать ничего не надо! — любил комментировать новости об очередном братании местных властей с азиатскими странами наш директор. — Ванкувер и так уже азиатский город! — торжественно напоминал он.

— Нет, Вадим Сергеевич, ошибаетесь, Сан-Франциско... — отвечала ему Люда. — Сан-Франциско и сейчас лидирует по количеству иммигрантов из азиатских стран, и там их ни много ни мало, а все тридцать процентов. Изю всех городов Америки и Канады в Сан-Франциско азиатов больше всего. Они нас перегнали! — уверенно заявляла она.

— А сколько там русскоязычных проживает, забыли? — пыталась поспорить я.

Далее обычно следовало дополнение Вадима о том, что мы недалеко отстали от Сан-Франциско и о том, что каждый четвертый заказ, приходивший в наше бюро, требовал перевода с азиатских языков.

— Нам нужно принять в команду китайского переводчика, — не уставала советовать томным голосом Галина Борисовна, выглядывая из-за раскидистой офисной пальмочки. — Квалифицированный китайский переводчик всегда переводит и с мандарина, и с кантонеза, а повезет вам, Вадим Борисович, так еще и с филиппинского, и вьетнамского переведет, — добавляла она.

Я же попросту пропускала эти разговоры между ушей, так как в сфере ведения бизнеса наш директор не отличался ни умом, ни сообразительностью. Как фрегат со сбитой мачтой, агентство медленно дрейфовало в луже заказов и пребывало в какой-то первобытной спячке.

Меня радовала полная ставка, так как работать по специальности было одно удовольствие. Именно сейчас, едва сдерживая стрел-

ку спидометра на отметке шестьдесят, я торопилась и впопыхах догоняла свое дневное расписание, а может, это расписание бежало вслед за мной. Когда проспичь, раздумывать нет времени, придется только догонять.

Медленные троллейбусы тянулись в левой полосе. В правой проскакивали юркие и проворные легковушки. Я постаралась пристроиться за троллейбусом, влилась в течение полосы и, едва уловив ритм движения, осторожно скосила глаза на открытую страничку еженедельника, брошенного на переднем сиденье.

С самых первых дней иммиграции еженедельник стал моим главным рабочим руководством. Как волшебная нить Ариадны, он вел меня через лабиринты запутанных иммигрантских будней. Я привыкла покупать разноцветные книжечки еженедельника в дискаунтных магазинах Виннерса. Они, как и друзья в иммиграции, попадались разные. Я отдавала предпочтение тем, что были похожи на сонники. На первой странице, после золотой тисненной обложки, обычно публиковали знаки Зодиака и прогнозы неудач, расписанных на целый год, по месяцам. В конце каждой недели пестрели многозначительные шутки из аналогов заковыристого канадского юмора.

Шутку этой недели я разглядела еще в воскресенье. Она была короткой и поучительной:

Скончался мистер Смит, и миссис Смит пришла в газету заказать объявление о предстоящей церковной панихиде в память о нем. Она принесла текст объявления редактору: «Скончался мистер Смит». Редактор взглянул на объявление и сокрушенно сказал:

— Вы, дорогая моя, прожили с мужем тридцать пять лет, и я думаю, вам есть что сказать о нем. Почему же вы изъясняетесь так коротко? Если вы беспокоитесь о стоимости, то я хочу предупредить, что первые шесть слов публикуются у нас совершенно бесплатно. Вдова, обрадовавшись, кивнула и быстро дописала текст. Редактор прочел: «Скончался мистер Смит. Лодка на продажу!»

Смеяться над бедными людьми совсем не хотелось. А может я хранила верность еженедельникам, так как не доверяла проводам, телефонам и батарейкам? Быть может, я боялась, что в ответственный момент они разрядятся и подведут.

— Мы полностью отдаемся старым привычкам, любим привычные вещи и часто недолюбливаем все новое и передовое. От этого

надо уходить, ведь новизна привычек и жизненных подходов — это и есть молодость мысли, которая управляет молодостью тела, — тараторил психолог на одной из радиоволн.

Хотелось верить этому психологу.

— Ты просто абсолютно привязана и жить не можешь без своего еженедельника! — как будто жалуясь на мою близость с кем-то посторонним, частенько упрекал меня муж.

Я просто улыбалась и игнорировала его комментарии. Не очень-то хотелось признаваться в зависимости от графиков и расписаний ни мужу, ни самой себе.

Надо заметить, что с мужем мы были лучшими друзьями и делились почти всем. Виктор приехал в Канаду из Харькова, а наша самая первая встреча произошла в русском центре Ванкувера, на Пасху.

Мой будущий муж волонтерил на концерте и вежливо рассаживал посетителей и в то же время предлагал приобрести сувениры.

— Почему крашенки? — спросила я тогда, потянув его за рукав вышитой сорочки.

— Вам, девушка, совершенно бесплатно, — попросту ответил он, заглядывая мне в глаза.

— Это почему? — удивилась я. — Вы что, тоже из Питера?

— Нет, я из Харькова, но вы, дорогая моя, знаете правильные слова, — ответил он подмигнув. — Народ спрашивает «крашеные яйца», а вы оперируете другими понятиями.

«Наш человек, надо брать!» — подумала я тогда. Он обращает внимания на значения слов. Мужчины редко задумываются над такими пустяками, а с ним будет легко, подумалось тогда в русском центре на Пасху.

Чутье меня не подвело. С Виктором и впрямь было легко. Два года вместе — как один миг. Словно простояла под рогом изобилия: цветы, конфеты, подарки. Казалось, Виктор старался изо всех сил, а я почему-то замерла, застыла в оцепенении, как серая цапля на берегу, боялась потревожить принадлежавшее мне озеро постоянства, томилась мыслью, что новое и доброе постепенно закончится, зачахнет и погибнет на корню.

Муж много работал в фирме по обслуживанию компьютеров и, вдобавок ко всему, постоянно подрабатывал, снимаясь в массовках, на съемочных площадках, которыми плотно усеяна карта Ванкувера и его пригородов.

Трудно было представить, что мелькание на заднем плане в кадрах кино и рекламы называется работой и что за это хоть сколько-нибудь заплатят! Надо заметить, что эти креативные вылазки, в виде шатания по улицам перед камерой, лежания в кровати вместо кинозвезды, разгона машины, имитируя побег, оплачивались довольно хорошо, с учетом специальных тарифов профсоюза работников кино, куда Виктора приняли с распростертыми объятьями.

Однако самое невероятное происходило тогда, когда лицо или фигура моего мужа задерживались на экране больше пяти минут. По капиталистически сказочным правилам профсоюза это время считалось актерским и оплачивалось при каждом показе кадров с моим благоверным в любой точке планеты.

Не успевал фильм с профилем или анфасом мужа выйти на экраны в Мадриде или в Москве, как очередной чек от международных прокатчиков фильмов уже летел в наш почтовый ящик. Креативные подработки Виктора приносили сочные денежные плоды!

Виктор уходил на основную работу совсем рано, буквально на рассвете, и встречались мы дома уже затемно, когда он продолжал подрабатывать.

По вечерам Виктор кружил над рабочим столом, паял, сверлил все подряд, мурлыча какие-то песенки, или наоборот, затихал, утонув на классической волне ванкуверского радио.

Его рабочий стол разрастался не по дням, а по часам, поглощая все новые сантиметры жилого пространства, и вскоре полностью занял одну из комнат нашей трехкомнатной квартиры.

Я, честно говоря, быстро позабыла и цвет, и форму этого стола, так как за время технических подработок мужа, завалы винтиков и схем размножались, как живые, поглощая не только его пространство, но и полосатое автономное кресло. Постепенно металла становилось слишком много, и Виктор начинал пропускать ужины, продолжая колдовать, зависая над столом с паяльником и отверткой до утра.

Затем, после бессонных ночей по Виктора велению и по его хотению, пространство нашей квартиры как будто расширялось, впуская незнакомых людей, которые выносили из комнаты вновь ожившие телевизоры, восстановленные телефоны и собранные под заказ принтеры.

— Когда ты успеваешь все это сделать? — искренне удивляясь толпе народа, спрашивала я.

В ответ Виктор лишь улыбался, демонстративно шелестел у меня перед глазами веером, сложенным из долларов, радуясь очередной прибавке к семейному бюджету. Он радовался, а я смотрела на его улыбающуюся физиономию, ласкала взглядом светлые волосы, ровный нос, тянущиеся ко мне губы и руки.

После технических успехов мужа, способного превращать никому не нужные железки в денежные знаки, любовь накрывала нас особым энергетическим покрывалом, сотканным из мокрых поцелуев и жарких объятий.

Зарабатывал Виктор в два раза больше меня и заботился о бытовой стороне нашей иммигрантской стабильности: все домашние счета и продуктовые закупки были на его плечах. Думать об этой бытовой защищенности было особенно приятно.

«Современная женщина не станет обременять себя заботами о мужчине и о быте, она займется правильным питанием и будет пить смузи каждый день», — боролся за права женщин очередной журнал.

— Тебе повезло, детка! Виктор работает и днем, и ночью. Он редкий экземпляр, качественный мужчина! Тебе повезло, у него практически нет недостатков, — говорила мне подруга Марси, в очередной раз приходившая на чай, вино и длинные разговоры.

Приятно было услышать слова, подтверждающие мои собственные выводы, однако Марси не знала о самом большом разногласии, которое, как скороспелая ржавчина, уже начинало разъедать беспроблемные будни нашей молодой семьи. Казалось, что и наши отношения с мужем, и спокойствие налаженной иммигрантской жизни постепенно натягивались в длинную вибрирующую струну ожидания.

Не отличаясь постоянством, Виктор менял спортивные шапочки с пестрыми названиями хоккейных команд, совсем не собираясь становиться фанатом хотя бы одной из них. Постоянство моего мужа выразалось в его неизменном желании изменить простое и устоявшееся уравнение нашей семьи.

Мой муж хотел ребенка.

Его желание росло с каждым днем, сначала капая на меня, как неожиданная февральская капель, и вскоре выросло, как сосулька в марте, готовая в любой момент обрушиться на голову.

Вначале я терпеливо надеялась, что Виктор выговорится, остынет, уйдет в работу и перестанет насаждать на меня со своими ско-

роспелыми запросами. Затем я мечтала, чтобы он просто отстал от меня, и наша иммигрантская жизнь продолжалась бы без перемен. Но не тут-то было!

Мой муж вновь и вновь разглагольствовал о прекрасном будущем, наполненном подгузниками и колясками; как будто любуясь, заглядывал в глаза гордо проплывавшим по улицам беременным женщинам; заискивая, лебезил со мной и терпеливо ждал от меня детей.

— Конечно, Татьяна! — говорила подруга Марси, по-английски растягивая мое имя на непроизносимом мягком знаке. — Это очень даже нормально, что твой муж хочет ребенка. Я не пойму, почему ты затягиваешь с этим вопросом. Твой Виктор похож на породистую овчарку. Не глаза, а просто чудо! От таких мужчин рождаются красивые детки, — смеялась она в очередной раз, поднимая бокал и оставляя винные разводы на полированной глади моего японского столика. — Ну, почему ты считаешь себя не готовой к этому шагу? С таким мужчиной не пропадешь! Почему ты все время споришь?

А я и не спорила.

В моменты откровений подруги я предпочитала молчать, внимательно изучая припудренное лицо Марси, осматривала ее широкие бедра и большегрудую блузу, в которую спокойно могли поместиться и два, и три детеныша.

Если говорить начистоту, то я не переставала надеяться, что вопросы о детях рассосутся сами собой. Однако благодаря каким-то потаенным движениям энергии моего, всегда готового к продолжению рода, мужа, эти вопросы снова и снова повисали у нас под потолком, расплывались вопросительными знаками в супе, всплывали в чашке утреннего чая и проявлялись в каплях дождя на окне.

— Когда мы заведем ребенка, дорогая? Когда ты будешь уверена во мне? Мы в Канаде уже несколько лет, я работаю и смогу обеспечить тебя, родишь мне лялю? — ласково спрашивал Виктор и в очередной раз вгонял меня в ступор.

Казалось, что эти липкие вопросы висели у него на шее, как приманка или как связка сладких бубликов на веревке.

После надоевших больше горькой редьки, разговоров о детях мне приходилось заводить очередное хобби, часами висеть на телефоне, дозваниваться и воскрешать из памяти номера самых далеких знакомых, так как с близкими подругами длинных разговоров уже не получалось.

— Иммигрантская жизнь полна неожиданных трудностей, а для продолжения рода требуются стабильность и определенность! — хотелось крикнуть Виктору в ухо, или приклеить плакат с этой надписью у него над рабочим столом.

Вот и сейчас, вспоминая неудобную тему, заметила, как к горлу подступил комок, а пальцы непроизвольно впились в руль.

Я вырулила на Бродвей, уже точно зная, что почти догнала утреннее расписание. На следующем перекрестке неуверенный красный глаз светофора сменился надежным зеленым. Пешеходы замерли, а машины задрожали мелкой дрожью, стремительно понеслись к неизбежным пробкам и заторам за горизонтом.

Наверное, когда-то давно, на заре автостроения, англичане гордились количеством машин на дорогах и с любовью окрестили спонтанно возникавшие дорожные пробки трэфик джемом.

Наверняка, совершенно не представляя будущего мультиполосных хайвеев, увлеченные автопредки наслаждались свободой дорожного движения, смаковали скоростные гонки и даже не могли себе представить последствий размножения автомобилей на улицах городов будущего.

Сто лет тому назад никому не приходило в голову, что сладость движения на дорогах сначала вязнет, а затем постепенно затвердеет, как старое варенье, превращаясь в ненавистную засохшую дорожную пробку.

Час пик был в самом разгаре. Солнце доползло до крыш домов. Над ними парили белогрудые морские чайки, долетавшие до ванкуверского Бродвея с берегов сонного Тихого океана.

Я снова нажала на педаль и сразу вспомнила о туфлях, так удобно сидевших на ногах. При вождении и давлении на тормоз и газ, краска дорогих туфель очень быстро стирается именно со стороны пятки. «Хорошие туфли лучше побережь», — почему-то пронеслось в голове.

«Легко шагая впереди, женщины крутят земной шар своими ногами, а мы помогаем им делать это красиво!» — кричала одна из реклам обувной фирмы на уличном баннере, свисавшем над прохожими на перекрестке Бродвея и Грэнвилл-стрит.

Ловким движением правой ноги я сняла туфель и, зацепив его снизу рукой, переложила на сиденье. Ребристой поверхностью металла педаль впечаталась в ступню. Нажимать на тормоз и газ босой ногой было одно удовольствие.

Пробежалась глазами по дорожкам расписания еженедельника.

В десять утра у меня запланирован аборт, затем я на встрече в суде, и после двух часов дня назначена встреча в психушке. На психушку запросили целых три часа, и ехать туда минут сорок без трафика, а значит, домой я вернусь не раньше семи вечера, пронеслось в голове.

При мыслях об аборте в пустом желудке начались перезвоны.

Мой маленький «гольф» пролетел несколько перекрестков Бродвея и свернул на узкие полосы Виктория-драйв. Разлогие деревья, нависшие над тротуарами по обе стороны узкой дороги, отпечатались на мокром асфальте косыми трафаретами теней. Колеса машины зашипели, проезжая через гальку аллеи ведущей к старинному особняку.

Я вспомнила, что в Канаде ярлык старины цепляют буквально на все предметы, которые старше тридцати лет.

Мне пришлось притормозить и перепроверить порядковый номер здания, вытесанный на стене и почти не заметный с дороги. Пышные резные клены окружали двухэтажный особняк, выложенный из рыжих кирпичей. Узкая вытоптанная дорожка вела через палисадник прямо под козырек трехступенчатого крыльца, обвитого вечнозеленым плющом.

Захватив с собой еженедельник и захлопнув машину, я уверенно направилась к парадному входу дома с названием «Клиника Планирования Семьи И Прерывания Беременности». Как и полагалось по правилам английской грамматики, заглавные буквы каждого слова в названии подчеркивали важность его содержания.

Сегодня мне предстояло разгадать тайны этих слов.

Кошмар поджидал меня уже в палисаднике.

— Мама, не убивай меня! — кричал плакат, свисавший с веток старого клена.

— Я всегда останусь твоей жертвой! — вторил ему другой.

— Ты не имеешь права лишать меня жизни! — подводила итог всему сказанному простенькая надпись, дрожащая полотном на ветру.

С другой стороны клена на меня смотрели глаза трех пластиковых кукол-зародышей, за ноги подвешенных на ветки перед самым входом в клинику.

Я не могла поверить своим глазам. «Эта клиника протестует сама против себя? Что происходит? Кому предназначены плакаты с таким надрывом?» — проносилось в голове.



Я позвонила в дверь, звонок отозвался домашней мелодией.

— Вам кого? — железным официальным голосом спросил селектор.

— Меня зовут Татьяна Семенова, я переводчик, здесь назначена встреча на десять утра.

— Сейчас только половина десятого, ждите. Я вам открою дверь через пятнадцать минут.

— А внутри нельзя подождать?

— Не положено, у нас маленькое помещение, погода хорошая, а там под липами есть скамейка, подождите.

Выслушав металлический отказ, я машинально искала глазами, где бы присесть.

«Липы в Ванкувере, как и переводчики с русского языка, встречаются не часто», — подумала и присела на небольшую скамейку под деревом.

Спокойствие запланированного дня снова отозвалось солнечным светом, но продлилось оно недолго, ровно до момента, когда откуда-то сверху послышался голос:

— Как я вас всех ненавижу! Вы трахаетесь и не думаете о последствиях, — громко сказали с липы на чистом английском.

Я вытянула шею и попыталась повнимательнее рассмотреть крону дерева. Из-за пышной листвы торчала рыжая шевелюра женщины лет шестидесяти, старательно прикручивающей очередного пластикового зародыша к ветке дерева. От неожиданности я не знала, что сказать, но тут же спросила:

— Зачем вы развешиваете этих кукол?

— Кто тут? Вы кто? Очередная дура? — спросила она меня сверху, не останавливая своих движений.

Маленькие ножки пластикового зародыша приходились ей как раз на уровне груди. Чтобы разглядеть меня, она старалась подвинуть куклу рукой. Женщина стояла на ветках дерева, пытаясь одновременно балансировать и побыстрее прикрутить куклу к дереву.

— Меня зовут Татьяна, я переводчик, пришла в клинику по вызову, — ответила я. — А вы кто?

— Меня зовут Кэрон, и я председатель общества защиты прав зародышей провинции Британской Колумбии и Альберты, — назидательно сообщила мне женщина с ветки.

— Вы собираетесь спуститься?

— Ну, да! Уже прикрутила куколку и спускаюсь. Спущусь и поучу вас жизни, — почти что прохрипела с ветки Кэрон.

Защитница зародышей нашей провинции двигалась на редкость проворно. Быстрыми натренированными движениями она перемещалась с ветки на ветку. Еще одно движение и бесформенное тело плюхнулось на скамейку рядом со мной.

— Привет, я Кэрон, — сказала она еще раз и тут же бесцеремонно уставилась на меня, одновременно расправляя и разглаживая руками подол измятого платья.

«И в платье полезла на дерево!» — пронеслось у меня в голове.

— Фуф, ну и запарилась я! — сказала незнакомка и вытерла лицо кружевным платочком.

В этот момент можно было подумать, что она вернулась с дамских сиделок, а не только что слезла с дерева. Однако грустно колыхавшиеся над моей головой пластиковые зародыши молчаливо подтверждали эпопею ее древесных походов.

— Сегодня по плану я должна прикрутить эти куколки в трех клиниках Ванкувера и Ричмонда. Это нелегко, займет весь день! — продолжала она, вытирая со лба пот и налипшие на него листья.

«Конечно, нелегко в твоём возрасте лазить по деревьям, да еще в платье», — подумала я и вслух сказала:

— И кто только заставляет вас цеплять все это?

— Совесть моя и душа моя, — ответила она. — Да, да! И совесть, и душа плачут каждый день, когда я думаю о том, что молодые девушки, вроде вас, так легко расстаются с беременностью! И совесть и душа подсказывают мне быть активной, не сидеть, сложа руки, а бороться за права всех не рожденных детей. Я — председатель общества прав зародышей провинций Британская Колумбия и Альберта и горжусь нашим делом! — громкоговорителем ответила дама.

— Хорошо, спасибо за информацию. Я пойду, — сказала я и поспешила оставить собеседницу. Но не тут-то было!

— А вы кому переводить будете? — почти закричала она мне вслед.

— Это никого не касается, переводческое агентство гарантирует полную конфиденциальность услуг, — ответила я, слегка повернув голову. Лохматая и растрепанная защитница прав начинала меня раздражать.

— Вы что, тоже верите в право женщины решать, когда ей оставлять беременность, а когда прерывать? — вдруг завопила она.

— Каждая женщина знает, когда ей рожать... — тихо сказала я, как будто ответив сама себе, и направилась к порогу клиники.

— Никто ничего не знает, детка! — донеслись слова, брошенные мне в спину. — Господь и Природа дают всем жизнь, и не нам решать! Умные все стали, книжек начитались, интернета насмотрелись...

«Вот прицепилась, — подумала я, — никак не отстанет...»

— А я вооружена и, наверное, опасна. Я все равно буду защищать жизнь! — прокричала мне вдогонку Кэрон и вдруг расхохоталась.

Я непроизвольно оглянулась и увидела, что из руки защитницы зародышей нашей провинции на меня уставилось квадратное дуло черного оружия. Вдоль ее вытянутой руки сползали какие-то провода, а прямо на меня уставились два красных глаза тейзера.

— Эй, осторожнее, тетя! Опусти дуло! — закричала я почему-то по-русски.

Ничуть не удивившись моему крику, Кэрон опустила тейзер и начала сматывать провода, одновременно засовывая их в широкий накладной карман платья.

«Так она не совсем в себе!» — решила я, продолжив путь к зданию клиники через дорожку парка.

В девять часов сорок пять минут утра дверь в клинике открылась по первому же звонку. Миловидная женщина в розовых брюках и серой кофточке провела меня в небольшую приемную комнату, в которой помещался толстобокый старенький диван, два кресла и столик с книгами.

«Дети Капитана Гранта», — прочла я название одной из книг.

Не успела я присесть на диван, как передо мной выросла еще одна работница клиники.

— Хэлоу, меня зовут Каролина. Вы наш переводчик? Я медсестра и работаю в этой клинике уже десять лет. Когда-то, десять лет тому назад, я приехала в Ванкувер из Польши, — сказала Каролина, стараясь быть вежливой. — Татьяна, сегодня вы переводите для Натальи, молодой девушки из России. Она совсем недавно в Канаде и английский у нее не такой хороший, чтобы понять все детали операции, которые мы будем с ней обсуждать. Спасибо, что пришли, — почти официально добавила Каролина.

— Спасибо вам, что заказали переводчика, — стараясь не забыть о законах ведения вежливой беседы с заказчиками, ответила я.

— Прошу вас точно переводить все, что скажет доктор. Нам сюда, — Каролина указала на дверь.

Еще не переступив порога комнаты, я увидела худенькую блондинку.

Ее напряженное тело было почти вдавлено в круглые пуфы старой кушетки. Руками девушка нервно держалась за красную подушку, уютный домашний атрибут, легкомысленно занесенный в это казенное помещение. Мягкая ткань подушки фалдами обрамляла руки и подчеркивала их худобу.

Короткая зеленоватая кофточка едва прикрывала плоский живот девушки, а ноги скрывались в широких, не по сезону плотных серых брюках, доходивших ей только до щиколоток.

Я заметила, что в процедурной места было еще меньше, чем в приемной. Комната совсем не напоминала операционную. Она скорее была похожа на обычную спальню, из которой только что удалились хозяева, поспешно расставив у изголовья кровати медицинские штативы, капельницы и металлические столики с подносами.

На тумбочке перед девушкой стоял почти пустой стакан с водой.

— Доброе утро, Наталья, меня зовут Татьяна, и я буду вам переводить, — представилась я и поспешила войти. Чтобы не торчать посредине, присела на обычный канцелярский стул, стоявший у стены.

— Здравствуйте, — спокойным голосом ответила девушка.

На меня уставились пустые бездонно-серые потухшие глаза.

Каролина принесла документы и начала зачитывать историю болезни, а в нашем случае, личные данные пациентки:

— Наталья Полякова, двадцать восемь лет, проживает в Ванкувере, на Хэйзел-стрит, 16, обратилась в клинику прерывания беременности. Установлена беременность сроком в шесть недель... Наталья ознакомилась с документами, которые мы ей выдали, — сказала Каролина и тут же переспросила: — Вы ознакомились?

Я переводила быстро.

Наталья ответила:

— Да.

— Анализ крови подтвердил беременность сроком в шесть недель, — продолжала Каролина, лишь искоса взглянув на Наталью. — Сегодня утром вы прошли первичную гинекологическую консультацию и собеседование с доктором. Подтверждаете? — спросила Каролина.

— Подтверждаю, — ответила пациентка.

— Вы также подтвердили, что решили прервать беременность в нашей клинике методом вакуумной аспирации и под местной анестезией. Подтверждаете?

— Подтверждаю, — кивая, сказала Наталья.

— Аспирация плодного яйца будет проходить около шести минут. После этой процедуры вам предложат задержаться в клинике на три часа. Вы полежите, поспите и к пяти часам вечера сможете пойти домой, — закончила Марта.

Я заметила, как при слове «домой» лицо Натальи передернулось. Держалась девушка совершенно спокойно и можно было даже подумать, что она специально старается отстраниться от ситуации и как можно меньше вникать в подробности предстоящей ей процедуры.

«Наверное, ей так легче», — подумала я и продолжала переводить.

Вскоре открылась дверь и зашла доктор-гинеколог в голубом операционном халате.

— Доброе утро, меня зовут Нелли Хей.

Доктор начала говорить что-то о побочных явлениях и о медикаментах, я переводила машинально и наблюдала за Натальей.

Девушка очень нервничала и, казалось, вот-вот разревется. Ее лицо посерело от страха, пальцы собрались вместе, сжатые кулачки произвольно дрожали, а на лбу выступила испарина. В какой-то момент она подалась вперед и согнулась. Я не сразу поняла, что происходит, а Каролина уже подставляла под подбородок Наташи пластиковую емкость. После первых спазмов тело девушки выпрямилось и вдруг снова изогнулось в ритме конвульсий. Рвота и тошнота выходили наружу вместе с ее обреченностью и безнадегой.

Наташа вытерла рот салфеткой.

Доктор попросила ее откинуться на кушетку и подала воды, одной рукой придерживая голову пациентки. По-видимому, девушке стало легче, она успокоилась и замерла, уставившись в стену, так и не заплакав.

Каролина и доктор вышли из комнаты, а я продолжала сидеть рядом с ней, как бесполезная сиделка, которая может поправить одеяло, но так ничем и не облегчит участи больной.

Вдруг Наташа резко выпрямилась и почти прокричала в мою сторону:

— Я не могу иметь этого ребенка, и у меня нет тут дома!

— Конечно, Наташа, каждая женщина может сама решить, когда ей рожать и где, — почти официально сказала я. — Прошу тебя, успо-

койся и не переживай! Врач опытный, все пройдет хорошо. — Я постаралась перейти на более личный и дружеский тон общения.

— Я не боюсь операции, Таня, — быстро ответила Наташа. — Для меня это избавление. Я не хочу жить с этим человеком, он украл у меня веру в людей. В России у меня был дом и мама. Он заманил меня к себе, я влюбилась, а когда уже осталась в Ванкувере, он продал меня, — сказала она и вдруг сразу же расплакалась навзрыд.

Казалось, что ей необходимо было признаться кому-нибудь во всех грехах сразу, но заслонка страха, как перегородка, держала эти откровения внутри.

Наташа задержала на мне тяжелый взгляд одиночества.

— Пожалуйста, не переживай так сильно, ты вернешься к мужу, и вы помиритесь. — Я старалась успокоить ее.

— Он мне не муж, — быстро сказала Наташа и подняла штанину брюк выше колен. — Я наконец-то выкрала у него мой паспорт! — с каким-то диким восторгом призналась она. — Долго искала мой паспорт, долго-долго... и наконец нашла! Он держал его в морозилке, во льду. Представляешь? Паспорт теперь у меня! — Она хлопнула себя по ноге чуть выше колена.

Пошарив рукой под загнувшейся штаниной, Наташа выудила из-под брюк красный паспорт гражданки Российской Федерации. В этот момент зашла Каролина. Она принесла больничные одежды и попросила Наташу переодеться.

Уходя вслед за Каролиной, девушка вдруг посмотрела на меня испытывающим взглядом, как будто решала, доверять мне или нет, затем вдруг резко протянула руку и бросила мне на колени свой паспорт.

Я машинально накрыла его ладонями и сразу же пожалела об этом.

«Кто эта девушка? Зачем я лезу в эту историю? На кой мне эти проблемы?» — пронеслось в голове.

Не успев ни о чем подумать, я поплелась вслед за ними, все еще придерживая рукой оттопыренный карман, в котором гирей повис Наташин паспорт.

В операционной возле Наташи находились опутанная трубочками капельниц Каролина и строгая доктор Хей.

— Татьяна, я прошу вас перевести и зачитать вслух пункты соглашения, — нарочито мягко сказала доктор.

Я зачитала документ спокойно, с интонацией. Наташа как будто слушала, но в тоже время, как будто уплыла за горизонт и покинула нас. Моя тревога тоже утонула где-то внутри и лишь слегка трепыхалась между ребрами, как пластиковый плакат, зависший на красном японском клене у входа в клинику.

В голове проносились вопросы: кто эта девушка и что происходит?

После подписания соглашения переводить было нечего.

Меня быстро выпроводили из операционной и попросили подождать.

Сначала я теребила в руках только что доставшийся мне паспорт Наташи Поляковой, гражданки России, 1990 года рождения, потом пила чай из странной чашки с рекламой высокоскоростных гонок автомобилей класса GT, машинально проверяла поступавшие на телефон сообщения, но вдруг вышла Каролина.

— За Наташей придет ее бойфренд, — известила она. — Он уже звонил.

Я поспешно закивала и запихнула паспорт в широкую сумку. Он сразу же утонул где-то на дне, затащив в ее глубину историю моей новой знакомой.

«Мало ли что произойдет, — думала я. — Она так страдает!»

Операция закончилась благополучно. В комнату вошла невозмутимая доктор Хей и объявила мне, что я должна буду побыть в приемной еще с полчаса и затем мою миссию будут считать законченной.

На зеленых обоях комнаты тикали часы с неподвижным мятником. Их поддельное золото почернело по углам и резало глаз фальшивой желтизной.

«Что будет с Наташей? Как передать ей паспорт, если вдруг она не проснется до моего ухода? Кто придет ее забирать, и чем закончится эта история?» — вопросы прыгали у меня в голове, как маленькие матрешки из большой.

Подумалось, что матрешка, разукрашенная узорами мастера, яркая и лоснящаяся от взглядов поклонников, проживает разноцветной деревянной жизнью, без вопросов и планов на будущее. Матрешке все равно, сколько маленьких, пестрых девочек выскользнет из ее широких гладких глубин, а женщинам приходится постоянно решать: когда рожать, от кого и сколько.

«Много ты знаешь женщин, у которых есть выбор и кто делает то, что хочет? В основном, все идет само собой и течет по течению, ведь инстинкт материнства никто не отменял», — подумалось само собой.

Полчаса пронеслись как мгновение.

В комнату зашла Каролина.

— Татьяна, вы можете идти, спасибо вам за перевод, — сказала она, выходя из комнаты и поправляя коротко стриженные волосы.

— Хорошо, всего доброго, я пойду, — ответила я и, подхватив сумку с пола, зашагала к выходу.

В этот момент дверь в операционную приоткрылась. Из-за нее, как холод сквозняка, перевалив через порог, влетела тень, одетая в серый безразмерный халат и, сразу же под светом лампы превратилась в ссутулившуюся бледную Наташу.

Миловидное лицо девушки потеряло все жизненные краски, на нем расплылись блюдца глаз, а в блюдцах, как недопитый чай, растворились осколки боли.

Мгновенно остановившись посреди комнаты и так и не успев последовать за медсестрой, я тут же пожалела, что вовремя не скрылась в коридоре благополучия и не забыла о существовании моего переводческого задания по имени Наташа.

— Таня, прощу тебя, не уходи! — взмолилась тень.

Хрипловатый сухой голос повис надо мной, как дамочков меч. В нем было так много мольбы и неприкаянности, что на него невозможно было не обернуться.

— Наташа, почему ты вышла? Тебе сказали полежать еще часок.

— Я не могу лежать, Таня, за мной сейчас зайвится Майкл.

— Ну, хорошо, он тебя заберет. А Майкл это кто? Твой муж? — спросила я, выуживая из сумки ее документ. — На вот, возьми, — сказала и сунула ей в руку паспорт.

— Нет у меня мужа, Таня. Майкл — настоящая сволочь, он сутенер! Я в Ванкувере никого кроме него не знаю. Он закрыл меня в доме и продавал своим богатым друзьям.

— Как продавал? Что ты говоришь?

— Я тебе все расскажу. Мне надо было давно бежать, но у меня не было паспорта, понимаешь? — Она старалась говорить быстро, перебивала саму себя.

Ее слова превратились в ритмичные вздохи, руки прилипли к глазам, а между пальцев потекли слезы. Наташа заплакала навзрыд.



От ее беспрерывной речи у меня похолодели ладони, однако опомниться Наташа мне так и не дала.

— Прощу тебя, вывези меня отсюда, Танечка! Ты на машине?

— Да, я на машине, — машинально ответила я, — но у меня работа, понимаешь? — Я строго посмотрела ей в глаза. — Весь день расписан!

— Забери меня, пожалуйста, забери! — молила она. — Я должна выбраться из этой грязи, иначе я пропаду. Я уже зашла слишком далеко, дошла до аборта... — сказала она, а слезы продолжали течь по ее белым щекам и шее.

— Так, значит, твоя беременность... — попробовала спросить я.

— Да я не знаю, чей это был ребенок! Я не могу рожать, — почти закричала она. — Мне надо убежать, свалить подальше. Я не проститутка и не могу так жить, понимаешь! Помоги мне! — почти закричала она.

— Конечно, помогу, девочка моя!.. — вырвалось у меня само собой.

В эту минуту я совершенно отчетливо услышала вопль моего внутреннего голоса. Еще надеясь остановить меня, голос давал четкие указания не ввязываться в непонятную историю и поскорее уходить. Ноги слышали наставления и были готовы уйти, а руки почему-то сами тянулись к мокрым ладошкам Наташи, прикладывали их к моей груди, гладили ее волосы и обнимали сжавшиеся плечи этой почти незнакомой мне девушки.

— Не бойся, я помогу тебе, пошли! — уверенно сказала вслух и, почти потянув, потащила Наташу за собой.

Казалось, что мы обе забыли обо всем. Наташа так и проследовала за мной, босиком, в сером халате, надетом поверх больничной рубахи, закрученной сзади на поясок. На хлопковых одеждах пестрели штемпели какой-то больницы, бывшего владельца этого грустного одеяния.

Перед выходом в приемную я остановилась, а затем, не раздумывая, повернула и пошла в противоположную сторону коридора. Я шла на оранжевый глаз таблички «Запасной выход».

Позади меня, шурша длинной рубахой, спешила Наташа.

Тяжелая дверь запасного выхода громыхнула и поддалась. Впереди сверкал разноцветный, украшенный солнцем и пропахший морским воздухом ванкуверский день.

Откуда-то сверху доносились мелодии птичьих трелей и велосипедных звонков. Жизнь продолжалась бабьим летом, опутывая го-

род сплетениями сонных паутин. Разбросанные порывами ветра и скомканные солнечными лучами золоченые куски паутины налетели на нас откуда-то сверху. Слегка приподнимаясь и снова опускаясь на плечи, они кружили вокруг меня и Наташи.

Повернувшись к ней лицом, я надевала солнцезащитные очки, продолжая шарить в омуте бездонной сумки, искала ключи от машины.

Наташа что-то сказала, но в этот момент ее голос смешался со скрипом и свистом тормозов.

Еще мгновение, и я заметила летящую на полной скорости черную машину.

— Таня, берегись! — завопила не своим голосом Наташа.

Я обернулась. Машина неслась прямо на нас, но вдруг подскочила и ударилась в стеклянный щит рекламной вывески, стоявший у дороги. Стекло не выдержало удара, рассыпалось и плюнуло в нас дождем из мелкой крошки. Стеклянная пыль осела сама собой, а более крупные куски пронзили Наташины ноги.

Девушка сначала вскрикнула, затем нагнулась, машинально схватившись за многочисленные ранки руками. Из-под ее пальцев, вниз по изрезанным голеням потекли красные ручейки крови.

В следующее мгновение Наташа окаменела и встала, как вкопанная, а я, наоборот, почему-то сразу же побежала к своей машине. В руке у меня торчал ключ, а на голове болтались разбитые солнцезащитные очки.

Дернув ручку автомобиля, я замерла на сиденье и уперлась в педаль газа, нажав на нее всей стопой. «Фольксваген» проснулся, рванул, как конек Горбунок, и за секунду вырос перед Наташей.

Все еще сжимая холодный руль одной рукой, я растянулась на сиденье всем телом, дернув за ручку, пыталась открыть пассажирскую дверь.

Вдруг возле Наташи выросла спина громадного детины, одетого в кожаную серую куртку, промелькнула трехдневная щетина и кулак, который должен был вот-вот упасть на тонкий нос моей новой знакомой.

— Наташа, сюда! — только и успела прокричать я, стараясь еще больше растянуться на переднем сиденье.

Успев зацепить свободной рукой больничную рубаху Наташи, я с какой-то неистовой силой потянула ее тонкое тело на себя. Ната-

ша развернулась, как юла, «Фольксваген» снова задрожал, педаль газа поддалась, и девушка резко влетела в машину, приземляясь рядом со мной.

В спине у меня что-то хрустнуло, Наташа хлопнула дверью, а кулак щетинистого нападавшего повис в воздухе среди разлетающихся во все стороны, светящихся на солнце паутин.

— Ты от меня не уйдешь! — закричал нам вслед небритый на чистом английском языке, но тут же подпрыгнул и упал на траву. Над ним кружили падающие с дерева листья.

«Фольксваген» зашуршал шинами. Мы оглянулись. Над телом детины победительно возвышалась защитница пластиковых зародышей. В руках у нее поблескивал все тот же черный тейзер.

— Давай, давай, поезжай, не останавливайся! Девчонки, вперед! — победоносно закричала она нам вслед.

Машина понеслась по гравию, свернула на главную улицу и полетела вперед по Виктория-драйв. Где-то сбоку, обличительно краснея, почти согнувшись над дорогой, завис кирпич знака ограничения скорости.

— Прости меня, Танечка, прости! — запричитала сидящая рядом Наташа.

— Возьми салфетки в бардачке, — на удивление спокойно сказала я.

Наташа достала салфетки и приложила их к мелким порезам на ногах. Бумага сразу же прилипла к коже и струйки крови уже не бежали вниз, к ее оголенным пальцам, а превратились в маленькие озера расплывшихся красных чернил.

— Кто этот жлоб? — выравнивая дыхание, спросила я.

— Это он, Майкл, — ответила Наташа и снова заплакала.

— Да успокойся ты, уже все прошло, главное — паспорт твой у нас, не реви! — только и могла сказать ей я в утешение, стараясь снизить скорость и влиться в ряд машин, терпеливо тянувшихся в левой полосе.

Мерно перебирая шинами, «Фольксваген» понесся на восток большого Ванкувера, продвигаясь в сторону Бернаби, с прицелом на Нью-Вестминстер, бывшую столицу провинции Британская Колумбия.

Города, как и любовники, иногда получают статус бывших. Мне кажется, что Британская Колумбия решила шагнуть в будущее без усталых и затертых окрестностей Нью-Веста, совсем не подумав и не

проникшись настоящими чувствами к этому близкому, потертому предместью Ванкувера.

Нисколько не горюя по прошлому и променяв реку на океан, столица и заседания провинциального парламента перенеслись из пыльного Нью-Вестминстера в продуваемый ветрами и расположенный на острове город Виктория. Они переехали подальше от суеты и толкотни, как будто успокаивая нервы политикам.

Однако, как бывший столичный фронт, город Нью-Вест даже не собиравшись горевать и печалиться по поводу бестолкового столичного статуса. Как будто снова расправив крылья, Нью-Вест планомерно застраивался, украсил главные улицы современными зданиями, расширил порт и развесил ожерелье новых железных дорог над эстакадами мостов. Казалось, город снова ожидал дорогих гостей и знаменательных перемен.

Я вспомнила разграфленную страничку еженедельника, и мое следующее задание: перевод на судебном разбирательстве был назначен на час дня. Наташа вроде успокоилась и больше не плакала. Она уставилась в окно и как будто считала кварталы, отдалявшие ее от места утренних бед.

— Нам надо что-нибудь перекусить. Как ты себя чувствуешь, Наташа? — спросила я, все еще сопротивляясь внезапному чувству голода и уверенно меняя дорожную полосу.

Она молчала.

Машина двигалась еще медленнее, а я старалась разглядеть магазинчики по обеим сторонам Бродвея. Окрас фешенебельного дорогого западного Бродвея сменился на экономный демократический расклад восточного.

Не заметив ничего интересного с моей стороны дороги, я притормозила возле кафе с теплой надписью «Горячие бутерброды».

Наташе надо было переодеться. Припарковавшись на обочине и открыв багажник машины, я предложила девушке осмотреть его содержимое.

Не считая себя исключением из правил, я знала, что в моем багажнике хранится намного больше ненужных вещей, чем в сумке.

Тщательно осмотрев забытые в багажнике вещи, Наташа извлекла на свет допотопные джинсы, короткую футболку и старенькие кроссовки, которые я возила с собой в ожидании спортивного вдохновения, прилива которого так терпеливо жаждет каждая женщина.

Наташа переделалась прямо в машине. Поверх моих одежд, болтавшихся на ней, как на вешалке, она накинула свой серый больничный халат. Стараясь прибодриться, девушка медленно улыбнулась слегка порозовевшими губами.

Эта улыбка получилась совсем незаметной и даже мимолетной, простенькой, как полевые цветы, но мне почему-то сразу захотелось обнять и прижать Наташу к груди. Она убежала вперед.

Моя новая подруга спешила, двигалась, как в тумане, толком не разобрав, открыла двери соседнего магазина.

«Люби все английское», — только и успела прочесть я.

Невесомая скрипящая дверь легко закрылась позади, и мне не пришлось придерживать ее на ходу. За прилавком стоял усатый продавец. Он был одет в старомодный длинный зеленый пуловер и модную клетчатую кепи.

Наташа, видимо, сильно проголодалась, а, может, переживала и нервничала. Она наполнила пластиковую корзину доверху, особо разбирая и запихивая в нее все подряд: сушеные колбаски, английское печенье и шотландские конфеты-помадки.

Продавец таранился на меня, как будто подгоняя последовать ее примеру и поскорее заняться покупками. Я не спешила и рассматривала его лицо. Может быть, мне показалось, но я почему-то была уверена, что уже когда-то заходила в этот магазинчик.

Теплое ощущение приближающейся волны дежавю смешалось с еще более уютным чувством мгновения жизни.

— Не сомневайтесь, лав! — сказал продавец, громким голосом возвращая меня в реальность бытия. — Все продукты на полках моего магазина сделаны и привезены из Англии.

Он улыбнулся.

— Я не сомневаюсь, — сказала я, заметив нарисованную на стене желтую канарейку.

Рядом с нехитрой настенной живописью, на шкафчике, стоял двухэтажный игрушечный «дабл декер», красный английский автобус. В лобовое стекло его округлой мордочки были вмонтированы часы. В ту же секунду обе стрелки циферблата подошли к цифре двенадцать. Автобус моментально засверкал фарами, как будто проснулся. Его устойчивое продолговатое тельце задрожало, а из динамиков, встроенных в фары, полилась мелодия английского гимна «Боже, храни Королеву!»

— Двенадцать часов дня, — констатировал факт продавец. — Автобус в это время играет гимн, — подтвердил он и с удовольствием посмотрел на Наташу.

Мне почему-то показалось, что продавец начнет подпевать мелодии автобуса, но он спокойно передал нам пакеты с продуктами и пожелал приятного дня.

Едва покинув границы этой бутафорской Англии, мы принялись уплетать печенье прямо на ходу. Усаживаясь на переднее сиденье автомобиля, Наташа открыла баночки с английским йогуртом, достала пластиковые ложки.

Машина понеслась на мое второе задание дня. Мы проскочили восточный Ванкувер, Бернаби и оказались в центральном Нью-Весте, возле бетонного здания провинциального суда.

Всю дорогу Наташа молчала, и я давала ей время отдохнуть, решив обсудить ситуацию позже.

Я вдруг вспомнила, что ранее никогда не бывала в залах судебных разбирательств Нью-Веста. Центральный суд города располагался на улице Карнарвон, название которой, если верить брошюрам, веером торчащим возле входа, было заимствовано с уэльского.

— Зачем они тратят деньги и печатают эти ерундовые брошюры? — вырвалось у Наташи.

— Наверное, для туристов, — ответила я, защищая Канаду.

— Я подожду тебя где-нибудь во двореике, — сказала она и усмехнулась.

Миловидного вида клерк проводила меня в зал, представив распорядителю судебных дел. Старенький седовласый распорядитель выглядел уставшим. Разговаривая со мной, он то и дело гладил живот под черными фалдами мантии, наверное, решив помочь полуденному пищеварению. Глаза его устремились в разграфленный журнал посетителей, напоминавший мой еженедельник.

— Вы будете переводить с казахского? — спросил меня клерк.

— Нет, я не знаю казахского.

— А почему вас прислали сюда? — удивленно спросил он. — Я что-то не пойму, — сказал, заглядывая в бумаги. — Ваш заявитель — истец из Казахстана, моя дорогая, так что вы пришли совершенно зря, — ухмыляясь, сказал он.

— Дело в том, что у переводческого агентства запросили переводчика с русского языка, видимо, переводчика с казахского не нашли.

— А, вот в чем дело! — снова успокаивая себя поглаживаниями живота, продолжил распорядитель. — Я не знал, что казахи тоже говорят по-русски. Вы найдите его поскорее, познакомьтесь с ним и приходите минут через пятнадцать.

— А где мне найти, этого... истца? — спросила я.

— Я его только что видел. Ему сегодня предстоит сделать заявление, и это не долго, всего каких-то пятнадцать минут. Я уже ответил на все его вопросы. Не знаю, правильно ли он меня понял. Во всяком случае, он слушал и кивал в ответ, — сказал распорядитель. — Я сразу постарался ему разъяснить, что дело у него запутанное и пройдет год или два, пока что-то сдвинется с места. Надо собирать доказательства и показания свидетелей... он вроде бы понял. Пойдите, поищите его. Мужчину зовут Асмет Ашимов, такой невысокий, в желтой рубашке. Минут пять назад он сидел в общем зале, — закончил распорядитель со мной и начал отвечать другим посетителям, жаждущим справедливости.

Стараясь разглядеть желтую рубашку, я осматривала зал, разглядывала спины и лица, многочисленные кресла и столики, вокруг которых, как воробьи вокруг кормушек, кружили люди.

В широком зале, напоминающем не то вокзал, не то пристань морского порта, где ни на миг не прекращались движение и суета, было прохладно. Свет струился вниз с небес через стеклянный потолок. Отвесные стены уходили ввысь посеребристыми бетонными сводами.

Желторубашечного мужчины не было нигде. Вокруг ходили женщины в деловых блузах и мужчины, запеленутые в узкие чехлы разношерстных костюмов. Я поняла, что так просто в улье Фемиды мне явно не найти Асмета, и вышла во двор.

На улице по-прежнему светило солнце. За небольшой площадью возле здания суда находился ступенчатый фонтан, по бокам засаженный кустами жасмина.

Нежно-зеленые гроздья кустов обрамляли почерневшую от воды террасу, по которой, плюхаясь гладью со ступеньки на ступеньку, струился вниз водопад.

Я оказалась у самого истока фонтана, наблюдала за произвольными выбросами воды, которая сначала бежала, фырча, а затем постепенно превращалась в ребристую водную гладь.

Всего в каких-то сорока ступеньках от меня, внизу этого водного волнения, в тени кустов располагались лавочки. На одной из них я увидела спину Наташи в больничном халате.

Девушка сидела у плавно сбегавшего водопада, ела печенье и смотрела куда-то вдаль. Грозди жасмина обрамляли Наташу, изда-лека она казалась спокойной и расслабленной.

Вдруг рядом с Наташей мелькнула спина темноволосого мужчины в желтой рубашке. Он повернулся ко мне, однако сверху было почти невозможно рассмотреть его лицо. Приглядевшись, я увидела, что мужчина вздрагивал и плакал. Его плечи тряслись, а руки, как плети, безвольно болтались вдоль туловища. Минутой позже он начал шагать куда глаза глядят, отрешенно смотрел вдаль, наклонив голову, как будто не веря в происходящее.

— Асмет, это вы? — перекрикивая шум падавшей воды, громко окликнула его я.

Брызги воды заглушили мой голос.

Одетый в желтую рубашку мужчина почему-то вздрогнул всем телом и, перешагнув через бордюр, прыгнул в струившийся водопад. Оказавшись в холодной воде, серьезный на вид незнакомец сначала присел, потом вскочил, а затем, как будто обмякнув от тяжести и сопротивления течения, снова уселся в воду.

Не медля больше ни секунды, я подбежала к Асмету и потянула его за рукав. Со всех сторон улицы к нам уже бежали случайные прохожие. Они что-то кричали и предлагали помощь.

— Но-но-но, я ду нот нид вашей хелп, — сопел недовольный Асмет, выбираясь из цементной раковины фонтана.

Он явно не имел желаний ни с кем общаться, а тем более объяснять причины своего поведения.

— Асмет, я — Татьяна, ваш переводчик. Мы с вами должны предстать перед судьей и выслушать адвоката, который сделает заявление с вашей стороны.

— Мое слушание отменили, и у меня нет никакой надежды добиться справедливости в этой стране! — забулькал мужчина, свирепо глянув мне прямо в глаза.

Он пытался вытереть слезы, смешавшиеся с каплями фонтана.

— Я терпеливо ждал и надеялся на Канаду. Я думал, мое заявление примут и справедливость восторжествует! Зачем мне перевод-



чик?! — закричал он. — Мне сегодня сказали, что никаких слушаний не будет! Они просто убили меня наповал!

— Кто вам это сказал?

— Да пять минут тому назад! Я говорил с ними там, у входа! — опять закричал он.

— Асмет, вы, наверное, не поняли! Распорядитель не мог вам отказать. У него нет на это полномочий, — стараясь говорить спокойно, возразила я.

— А что он, по-вашему, мне проговаривал? Он прямо в лицо мне сказал: Но хиаринг тудей! Вы что, мне не верите? Я сам это слышал. Тоже мне, советчица нашлась! — уже совсем воинственно сказал Асмет.

— Да нет же, вы неверно его поняли, — стараясь выдерживать паузы, мягко ответила я. — Он всего-навсего сказал, что сегодня у вас только заявление, и вам надо предстать перед судьей. Само слушание состоится не сегодня. Для слушания необходимо подготовиться. Нам нужно идти, — пыталась командовать я. — Вы сможете сегодня предстать перед судьей? Вы же совсем мокрый, — я констатировала факт, который был очевиден.

— Конечно, сегодня! Я готов и давно уже жду, Татьяна! — переменявшись в лице, уверенно закричал он.

Асмет воспрял и задышал порывисто, приподняв плечи, как будто заглатывая воздух надежды. Капли и струи воды потекли с его одежды на землю еще быстрее. Мужчина снял туфли и вылил из них воду, попытался быстро стащить с себя рубашку. Я начала помогать ему выкручивать ее. Сверху и снизу ступенек на нас уставились взгляды прохожих.

Со стороны мы, наверное, выглядели совершенно нелепо: небольшого роста ссутулившийся полуобнаженный мужчина, пытающийся каким-то образом выжать воду из своих одежд и долговязая девушка, выступающая в роли помощницы процесса отжимания.

— Моя мечта — это, наконец, воссоединиться с родиной моих предков и жить тут, вы понимаете, Татьяна? Как человек может без родины? Я и так прожил полжизни вдалеке, я очень надеюсь, что судья почувствует то, что чувствую я, — пафосно произнес он.

— Конечно, Асмет, надевайте рубашку, — ответила я, совсем не веря в разнообразие палитры чувств у представителей закона.

Уже через пятнадцать минут мы с Асметом предстали перед судьей.

— С вами все в порядке? — глядя из-под узких очков, спросил судья и подозрительно осмотрел промокшие одежды Асмета.

Я стояла справа, а адвокат Асмета занял позицию слева от него. Адвокат, похожий на аптекаря, читал заявление, как историю болезни. Судья слушал все без особого удивления. Казалось, никакое дело из жизни простых смертных не могло разбередить его юридического спокойствия и личной апатии к земным делам. Он гордо восседал где-то высоко над нами. Там, в небесах, намного выше здания суда, где-то в безмятежных пространствах и измерениях Фемиды и должно было решиться дело обычного гражданина Казахстана, уже давно мечтающего воссоединиться с родиной и стать канадцем.

Асмет тоже смотрел вверх, как будто пытаюсь проследить за взглядом судьи. Я глянула вниз. С брюк Асмета, на паркет зала судебных разбирательств стекали тонкие капли воды.

— Конечно, в порядке! — перевела я ответ.

Асмет как будто даже удивился вопросу, а может, от волнения и напряжения забыл о мокрых одеждах. Я отжимала манжеты своей блузы и слушала историю Асмета.

Родился мужчина в Алма-Ате в 1980 году. Адвокат старательно произносил название неизвестного ему города. Родители Асмета до рождения ребенка приехали в Ванкувер по работе. До приезда в Ванкувер они были бездетны, лечились от бесплодия в Казахстане и решили воспользоваться донорским осеменением в Канаде. Хорошая идея дала свой плодный результат, и родителям удалось совместить приятное с полезным: немного поработать в Канаде и, наконец, завести долгожданного ребенка. Во время кратковременного пребывания в Канаде родители Асмета посетили канадский банк спермы, получили и использовали очередную драгоценную порцию для оплодотворения, и зачали Асмета от канадского донора. Эту короткую историю чудесного зачатия описывал соответствующий документ, своевременно переведенный на английский, русский и казахский языки и заверенный печатями посольств нескольких государств.

Асмет родился и жил в Казахстане. Он вырос и выучился, поработал, собрал деньги и приехал в Канаду осуществить свою мечту и, наконец, воссоединиться с родиной своих предков. После произне-

сения слова «родина» адвокат потер загоревшим кулаком правую щеку, а Асмет заулыбался, тем самым выдавая себя, ведь адвокат произносил всю историю на чистейшем английском.

Я поняла, что Асмету не столько нужен был мой перевод, сколько обычная поддержка, братское плечо и деловое участие в истории его воссоединения с Канадой.

Адвокат закончил, судья недовольно крикнул что-то в сторону. В зале не было ни души, кроме блеклой женской фигуры, видневшейся где-то на дальних скамейках зала. Приглядевшись, я поняла, что это Наташа. Издалека она была снова похожа на тень.

Асмет с интересом выслушивал мой перевод, а я рассматривала его заостренное ухо, на которое мне приходилось шептать. Воротник мокрой рубахи был слишком высок и, наверное, мешал слушать. С воротника на шею этого незнакомого мне казаха то и дело стекали капли канадской воды.

— Слушание вашего дела назначается на двадцать восьмое, — проснувшись от оцепенения, сказал судья и поспешно захлопнул черную папку. — У вас есть три недели, чтобы подготовиться. Увидимся в октябре!

— Спасибо огромное! Я так и знал, что справедливость восторжествует! — закричал Асмет, уставившись на судью.

Судья остановился, посмотрел на меня.

— Заявитель высказал благодарность, ваша честь, — перевела я и потянула Асмета за фалды рубахи. — Рано радуетесь, Асмет, ваше дело будут слушать через три недели и затем уже объявят решение.

— Милая девочка, — Асмет повернулся ко мне и полез с объятиями. — Я так рад! Ты не представляешь, какая удача! Судья будет слушать мое дело! Там, в Алматы, я и поверить не мог, что кто-нибудь захочет возиться со мной, а тут такая удача... канадский судья... Он все решит! Я верю! Ты увидишь, я совсем скоро буду жить в Канаде!

— Поздравляю, Асмет! — пришлось сказать ему.

— Спасибо, дорогая Татьяна. Надеюсь, мы с вами встретимся, и вы мне поможете доказать мое происхождение и родство с этой великой страной!

— Звоните в агентство, Асмет, я обязательно буду вам переводить, — сказала я и поспешила к Наташе.

Она шла навстречу и протягивала мне пакетик с остатками английского печенья.

— Замори червячка, — сказала она, взглянув на меня из-под густой челки.

Через продолговатые окна в зал городского суда по-прежнему заглядывало солнце. Лучи его тепла сыпались на меня, преломляясь в волосах Наташи. Ее прозрачные руки протягивали мне печенье, как символ иммигрантского единства двух женщин, ветром судьбы занесенных на медленно плывущий корабль жизни дождливого Ванкувера.

— Пойдем, Наташа, — сказала я и тронула ее серый халат.

Мы вместе покинули Асмета с историей его нового рождения и, почти обнявшись, вышли из зала суда.

Если ехать из Нью-Вестминстера на восток, то рано или поздно попадешь в зеленый Коквитлам, а если свернешь с хайвея правее, то окажешься в плоском Порт-Коквитламе, где на автобусах по-философски выводят: «Порт-Коквитлам. Порт без рек и морей».

— Какие странные названия у этих маленьких пригородов Ванкувера, — уже в машине сказала Наташа, уставившись на карту города, раскрытого в моем айпэде.

Было понятно, что она пыталась найти Порт-Коквитлам, но смотрела в противоположную сторону. Уцепившись покрепче за руль, я ткнула пальцем в экран, показала ей место последнего назначения и завершающего задания рабочего дня.

— Почему же Порт, если на карте нет никаких морей, а только небольшая речушка? — спросила меня Наташа.

— Наверное, не все в жизни можно объяснить, Наташа. Вот Асмет всю жизнь прожил в Казахстане, а хочет быть канадцем. Или возьми меня. Я, замужняя женщина, живу в Канаде уже несколько лет, с хорошей работой и с добрым, работающим мужем, но почему-то не верю в наше будущее и не рискую завести детей... — вдруг вырвалось у меня.

— Ты не хочешь рожать от любимого человека? — совсем тихо спросила Наташа и подняла на меня тяжелый взгляд.

— Ой, что-то мы не о том заговорили, — встрепелась я.

— Что ты, Таня, я совсем не хочу теребить тебя и наступать на больные темы, если ты не хочешь об этом говорить....

Молчание продолжалось недолго. Его нарушили слезы и частые всхлипывания, а затем уже и настоящие рыдания Наташи, еще со-

всем не знакомой мне утром и такой близкой теперь. Мы ответственны за тех, кого приручаем, и теперь я взяла ответственность за ее слезы, а, значит, и за нее.

— Наташа, перестань, не расстраивайся, не переживай! У тебя очень трудный день, но, поверь мне, завтра все будет лучше. Я верю, что твоя черная полоса закончилась именно сегодня. Ты отдохнешь, выспишься, побудешь у меня, — продолжала успокаивать я, до сих пор не веря в происходящее. — У меня есть комната для гостей, и ты спокойно поживешь у нас. Мой муж не будет против, не переживай. Хочешь, расскажи мне все, как было, а, хочешь, не рассказывай. Все нормально, прорвемся!

Продолжая успокаивать Наташу, я выезжала на боковые дороги, мечтая убежать от нарастающих заторов, и выбирала окольные пути, старательно избегая встречи с тянучкой хайвея.

— Что рассказывать, Танюша! — почти закричала Наташа. — Все проще пареной репы! — Она растирала слезы на раскрасневшихся щеках, глотала рыдания и, медленно всхлипывая, начала рассказывать о себе. — Я родом из Белгорода. Мы очень долго переписывались с Майклом, познакомились через сайт фанатов Японии.

— Фанаты Японии? Впервые слышу, — сказала я.

— Ну да, это интернетная страница, которая поддерживается посольством Японии в России. Фанаты вместе ездят в Японию, ходят на концерты исполнителей, посещают выставки, обсуждают книги. Это как сообщество, ну, почти, как «Сноб». Ты слышала о нем?

— О «Снобе» я слышала, а о «Фанатах Японии» не доводилось.

— Я постоянно там зависала, очень много информации, все люди образованные. По профессии я, как и ты, — вдруг призналась мне Наташа.

— В каком смысле? — не поняла я.

— Я переводчик, с японского и китайского языков. Когда-то я закончила факультет восточных языков в университете Патриса Лумумбы, а Майкл работал в России, снимал документальный фильм о Москве для японского телевидения. Так мы и познакомились.

— Вот это да, Наташа! А мы с тобой, оказывается, коллеги!

Наташа опять зашмыгала носом.

— Что-то во время нашей короткой встречи я не заметила, что Майкл похож на японца, — возразила я.

— Он японец по паспорту, а родители у него русские. Они постоянно жили в Японии, и Майкл так и не выучил как следует

русский язык, долго жил в Токио и совсем недавно переселился в Ванкувер.

— Все запутано и похоже на историю нашего нового знакомого, Асмета, — пытаюсь перевести разговор на веселый лад, заметила я. — В жизни казах, а в душе уже давно канадец.

Наташа будто и не заметила моей шутки, а может, пыталась побыстрее рассказать о себе. Она продолжала:

— Мы перезванивались целый год, Майкл приглашал меня в Ванкувер, ухаживал за мной так красиво, присылал цветы и посылки мне и моей маме. В Москве я жила вместе с мамой, — пояснила она. — У нас больше никого не было, отец давно умер, и бабушка тоже, — уже почти успокоившись, рассказывала она. — Все отношения с этим человеком, с Майклом, — сказала она, как будто поправив саму себя, — были красивыми и надежными. Он просто покорил меня, и я влюбилась. Уже вскоре, через год знакомства я прилетела к нему в Ванкувер, и буквально через две недели Майкла как подменили.

— Как подменили?

— Он вдруг стал злым и раздражительным, кричал на меня по любому поводу. Позднее сказал, что у него закончились деньги. Работать он не хотел, очень редко уезжал подрабатывать помощником на съемки фильмов, день и ночь глотал какие-то таблетки, долго спал, а потом надолго пропадал. Я оставалась у него в квартире одна, молча ждала, терпела и не требовала ничего, пыталась привыкнуть к новому городу, завести знакомых. Сама знаешь, это непросто — оказаться в незнакомом городе и как-то прижиться тут. Я очень старалась, но вдруг поняла, что Майкл не хотел, чтобы это произошло. Он был против меня и не разрешал мне почти ничего.

— Как это? — спросила я.

За окном мелькали магазины и школа. На переходе появились дети с улыбками и задранными носами. Взявшись за руки, дети уверенно шагали в будущее.

— Он не давал мне выходить из дома, не хотел, чтобы я знакомилась с людьми или как-то устраивалась в новой жизни... Эта перемена произошла так стремительно, и мне было трудно поверить, что я испортила свою жизнь в погоне за чувствами, бросила маму, оставила работу... но это были только цветочки. Затем началась моя подвальная жизнь. Сначала он меня избил. Я как-то сразу застыла, когда это произошло, плакала, просила его опомниться, но

он превратился в жестокого зверя. Я старалась угодить ему, а он стал избивать меня регулярно и поселил в подвале дома. Уже буквально после трех месяцев моей жизни в Ванкувере, когда я совсем сникла и как будто провалилась в ужасный сон, он пришел домой не один, а с тремя мужиками. Они поочередно изнасиловали меня прямо на глазах у Майкла, там же, в комнате, где мы с ним жили, прямо в нашем общем доме. — Наташа вновь заплакала, но как-то тихо, почти неслышно.

У меня больше не было сил вести машину. Слезы сами собой потекли по щекам, капали на руль и на недавно подсохшую блузу. Я остановила машину у обочины, пыталась успокоить Наташу и обняла ее крепко-крепко, как уже давно не обнимала никого.

Наташины волосы, как зрелая трава, рассыпались по плечам. Теперь я орошала их своими слезами.

— Как ты выбралась, девочка моя?

— Никак, не смогла, так и терпела издевательства, терпела все... На меня после этого изнасилования как ступор напал. Я была сама не своя, жила в тюрьме. Майкл закрыл меня и попросту продавал своим знакомым и приятелям. На эти деньги он, видимо, и жил. Два раза в день подсовывал мне миски с едой прямо под дверь и отказывался разговаривать со мной, сколько бы я его ни просила. Когда я отходила от своих посетителей, то снизу слышала, как он говорил по телефону и составлял график посещений, — почти шептала Наташа. — Затем я услышала, как он флиртует по телефону с другими девушками и зазывает их приехать в гости. Мне кажется, он собирался снять несколько квартир и закрыть в них таких же наложниц, как и я.

— Он просто изверг! Урод! — закричала я.

— Да, так я и попала в пасть к зверю, так и жила...

— Теперь ты свободна, Наташа, — глядя прямо в глаза своей новой подруги, сказала я.

— Танечка, это все благодаря тебе! Ты вызволила меня из плена и снова подарила мне жизнь!

— Наташа, я сделаю все, чтобы ты жила спокойно, ты прошла через ад. А Майкла мы сдадим в полицию. Его посадят!

— Полицию, может, и не стоит вовлекать?

— Как это не вовлекать? Ты в своем уме? Его надо судить и засунуть за решетку! — закричала я.

— А вдруг они мне не поверят, начнут вымогать деньги?

— Какие деньги, о чем ты, Наташа? Мы в Канаде!

— Я знаю, но как-то верится с трудом, что кто-то может мне помочь. Я не гражданка Канады, и, наверное, местная полиция не будет с этим возиться. Иногда я думаю, что я предала саму себя. Ведь даже выбраться из ада у меня не хватало сил. Я как будто умерла и осталось только тело.

Теперь дар речи потеряла я. Мне даже в голову не могло прийти, что эта умная и образованная женщина, буквально ожившая на моих глазах, настолько усомнилась в себе. Я почувствовала, как не хватает воздуха и невозможно дышать, вышла из машины. Наташа тоже поспешила выйти, продолжая свой рассказ и приближаясь ко мне все ближе.

— Мне как-то удалось открыть дверь отверткой, я нашла ее в подвале. Там, внизу, было столько хлама. Я жила на какой-то лежанке, в тряпье. Перед приходом посетителей он запикивал меня в ванную и приказывал мыться. Я часто не слушалась его, и тогда он снова избивал меня, старался бить по лицу. Я была вся в синяках, а он смеялся и говорил, что деньги ему платят не за мое прекрасное лицо. Ужас!.. не знаю, как я выжила... — рассказывала Наташа. — Однажды, когда его не было дома, я сломала замок и выбралась наверх, сразу же хотела бежать, но увидела у него на столе открытые конверты и письма моей мамы. Я тут же принялась читать их. Мама молила меня позвонить ей, рассказывала, как она волнуется, что от меня не было вестей. В одном из писем она написала, что заболела и ей поставили диагноз: рак легких. Она снова и снова просила меня ответить ей. На последнем конверте стояла дата трехмесячной давности.

Наташа начала тереть руку чуть выше запястья.

— Ты извини меня, пока ты была в здании суда, я воспользовалась твоим телефоном и позвонила в Москву, — сказала она.

Я вопросительно посмотрела на нее.

— Дома никто не отвечал, я позвонила соседке. Она расплакалась и рассказала, что мама умерла два месяца тому назад. Оказывается, они все искали меня, но не нашли, не дозвонились. Майкл уже давно разбил мой телефон.

Вокруг нас смеялись люди, играли дети, я хотела сделать шаг к Наташе, но не смогла, ноги, как будто, заледенели в оцепенении.



Представить то, что испытала эта худенькая молодая женщина, приехавшая в Канаду и поверившая в любовь, было выше моих сил.

— Ты кому-нибудь рассказала об этом, Наташа? — мягко спросила я.

— Нет, у меня не было возможности. Я никого не знаю в Ванкувере. В первый месяц моего приезда у нас была обычная совместная жизнь, какие-то тупые походы в кино, поверхностное общение. Он все время убегал от серьезных разговоров, был постоянно занят. Сейчас я думаю: почему я вообще приехала к нему, и понимаю, что всего-навсего поверила в тот образ, который мой жених создал по телефону, — продолжая плакать, говорила Наташа. — Мы с ним общались по телефону почти каждый день, и я думала и наивно верила, что знаю этого человека.

По ее бледным щекам текли слезы.

— Пойдем, родная, не плачь, ведь главное уже сделано, ты свободна! — Я снова погладила ее по плечу.

Наташа посмотрела на меня так, что мне опять стало не по себе. В ее спокойном взгляде было все: и боль, и надежда, и какая-то особенная вера в меня. Я подумала, что на меня еще никто в жизни не смотрел с такой уверенностью и теплотой. Она потянулась ко мне, и мы обнялись.

«Как здорово, что мы встретились! — подумала я и тут же вспомнила инструкции нашего директора о необходимости соблюдения дистанции в общении с клиентами. — Что бы он сказал сейчас?»

В этот момент у меня зазвенел карман. Проснулся мобильный. Наташа все также стояла рядом, а в трубке уже гроыхал голос вездесущего директора нашего переводческого агентства. Я так и представила его сидящем на троне, нога на ногу, с ярко-голубыми носками, усеянными черными черепами, в широкой рубаше и с телефонной трубкой в руке, уверенно смотрящим в директорское будущее.

— Але, Татьяна, ну, как ты там? — громко спросил директор. — Как твои задания, все в порядке?

— Все хорошо, — ответила я.

— Я не сомневался, — сказал он.

«Не сомневался, так чего звонишь?» — подумала я.

— Мне тут звонили из дурдома, — продолжил он, как будто услышал меня. — Они говорят, что их пациент, Иван Иванович, сегодня в плохом настроении и немного буянит, держись подальше и будь бдительна, Татьяна.

— Да, хорошо, а что с ним?

— Ты читала задание?

— Нет, не успела еще, с утра был напряг.

— Они прислали сообщение, что это мужчина 92 лет, одинок и жил в доме сеньоров.

— Где жил? — переспросила я.

— Ну, в этом... в доме престарелых. Все было хорошо, ничем не отличался и так далее. На прошлой неделе у него произошел инсульт, однако физических изменений почти никаких, немного немеет рука.

— Хорошо, спасибо, что напомнили.

— Да, самое главное, он стал агрессивным и полностью забыл английский язык.

— Тааак, — не зная, как реагировать на подобный поворот событий, сказала я. — Забыл английский? А сколько лет он живет в Канаде?

— Да они сказали, что он тут давно, со времен последней войны. Забыл язык — это неверно сказано. В медицинской справке написано, что после инсульта у него повредилась часть мозга, отвечающая за речь, языки, эмоции. Отсюда и последствия. А может, он притворяется?

Мне трудно было сказать, возможно, директор решил пошутить.

— Ну, вот они пишут, — продолжил он, — Иван Иванович переселился в Канаду в 1946 году. Да, все верно, ему тогда было около двадцати... Они написали, что он воевал и потерял семью на войне, сам уцелел, жил в Украине и уехал в Канаду. Он что-то рассказывал о колхозах, какие-то воспоминания, не захотел коллективизироваться и т.д. и т.п., — громко пояснял директор. — Дальше пишут диагноз: нарушение речи, афазия, повреждение речевых центров в доминантном полушарии мозга и далее все то же самое, но подробнее. Замучишься читать, — сказал он, растягивая последние слова. — Ты помнишь терминологию? Это все из неврологии, ты сто раз переводила встречи неврологов.

— Да, это были переводы для докторов. Я никогда не переводила человеку, забывшему какой-то язык, — я пыталась попятиться, но директор наседал, как слон.

— Не переживай, голубушка, это еще легче, чем переводить неврологам. Расскажешь ему спокойно, он все по-русски поймет... Да, кстати, он из Западной Украины, извини, мне тут звонят, — сказал директор и положил трубку.

— Пойдем, Наташа, — сказала я вслух.

Подул ветерок, и Наташа побрела за мной, завернутая в плед, который, оказывается, тоже можно было выудить из моей машины.

Старенький «фольксваген» — машина простого народа, как нарекли этого резвого бегунка в Германии — снова рванулся вперед. Слева от дороги промелькнуло обложенное гранитом здание похоронного бюро. В Канаде похоронные бюро не строят на задворках, а больше рядом с основными дорогами, возле пролетающих авто, посреди шума и гама.

— Возле домов скорби, кроме или вместо помпезных клумб, ставят какие-нибудь причудливые часы, — почему-то сказала я Наташе.

— Почему именно часы? — спросила она.

— Наверное, хотят всем напомнить, что жизнь не вечна и недолго нам всем осталось ездить по дорогам, — стараясь пошутить, сказала я, но тут же вспомнила про письма Наташиной мамы и прикусила язык.

Наташа ничего не ответила. Она молчаливо уставилась в окно, наблюдая за пролетавшими фурами, а может, пытаясь разглядеть четкое разделение горизонта на ветки хайвея, уходящие куда-то далеко от основного дерева жизни.

Хайвей номер один течет далеко на восток Канады, постепенно унося из Ванкувера течения машин вместе со звонкими голосами американских туристов, заехавших за покупками и радостно подсчитывающих прибыли от экономии на разнице валют двух стран. При пересечении границы, возвращаясь домой, американские туристы победоносно улыбаются, в уме конвертируя канадские развлечения на американский курс валют.

В кошельках американцев оседают сэкономленные зеленые бумажки, а в сердце теплится мелодия Ванкувера. Как дорожка с заезженной пластинки патефона, она приведет их обратно в Ванкувер вновь и вновь.

Канадцам на дорогах улыбаться некогда. Они спешат поделиться Канадой, спешат догнать весь мир, и время, и быстро растущую стоимость жилья, и странный курс обмена валют, постоянно меняющийся не в их пользу.

Думать снова было некогда. За окном машины замелькали фабрики и индустриальные строения района Бернаби, самого промышленного пригорода Ванкувера. Легкое скольжение по асфальту,

четкая разметка и плавное движение машин почти успокоили меня. Приятное ощущение конца рабочего дня постепенно подкрадывалось и сворачивалось комочком в виде сонной, спокойно дремавшей на заднем сидении Наташи.

Я съехала с хайвея в районе Юнайтед-бульвара. За окном замелькали деревья густого парка, засаженного хвойными и лиственными деревьями. Столетние стволы широченных пихт обрамляли главную аллею больницы. Психиатрическая больница, Ривервью, скрывалась за рядами кленов и за кустами дикорастущего шиповника. Кирпичные постройки корпусов виднелись, разбросанные небольшими группами, по всему парку. Под окнами некоторых строений уже давно поселились разлогие лопухи. Они как будто приподнимались на цыпочки, заглядывали в окна, подсматривая и подслушивая тысячи историй и сотни исповедей.

Казалось, что листья папоротника, растущего на широких клумбах, вместе с солнцем и хлорофиллом впитали сине-зеленую грусть этого старинного пристанища.

Если верить исторической справке, то история больницы началась еще в 1913 году с постройки первого здания и размещения в нем трехсот пациентов мужского пола. Больницу снабжала специальная аграрная ферма, расположенная неподалеку. Вскоре контингент больницы включал женщин и тяжелобольных пациентов, лечащихся от наркозависимости и психических расстройств.

По описаниям очевидцев, за неимением психотропных медикаментов много лет тому назад многих пациентов буквально привязывали к кроватям во время припадков. Мне было страшно представить всю эту гуманную медицину без таблеток и химии сто лет назад.

Сегодня и здания, и парк больницы использовали по прямому и по дополнительному назначению. По прямому: тут так же выдавали таблетки, лечили и контролировали больных, а по дополнительному: территорию больницы облюбовали киношники. Голливудские киностудии снимали в больнице свои шедевры. Киношникам приглянулось все: и виды старых крыш, и широкие поляны, и даже длинные подземные коридоры, вошедшие вместе с героями кино в кадры популярных фильмов и сериалов последнего десятилетия.

Ванкувер и его пригороды прослыли в народе «Северным Голливудом», а дешевый канадский доллар, подслащенный незабываемыми видами природы, стал, тем самым, сладким вареньем, на которое

со всего мира слетались киношники всех мастей. Разношерстные съемочные группы приземлялись в Ванкувере и устраивались поудобнее, а затем постепенно, как будто распробовав лакомство, так и прилипали к городу на долгие годы.

В больнице снимали фильмы ужасов, бесконечный сериал про русскую мафию, многочисленные серии про изощенного непобедимого сыщика и даже короткометражку про взрыв на Чернобыльской АЭС.

Два дня назад я позвонила главной медсестре, чтобы подтвердить предстоящую встречу, а в ответ услышала миллион подробностей о съемках кино и какие-то единичные обрывки информации о пациенте.

Осмотревшись по сторонам, я припарковала машину возле здания западной поляны. Как и полагалось в приличной больнице, пациенты не бегали по ровным английским лужайкам, не сорили и не рвали цветы.

Завернутая в серый халат, Наташа дремала на заднем сиденье, и я решила не будить ее зря.

Перед главным корпусом больницы с табличкой «Здание западной поляны» все выглядело чинно: одни пациенты курили, другие мирно беседовали, внимательно рассматривая друг друга. Большинство, и мужчины и женщины, были одеты в застиранные легкие халаты, едва прикрывавшие мешковатые брюки и широкие рубахи.

Из однородной картины первозданной безмятежности психиатрического рая выбивалась одна пациентка. Она сидела на ближайшей полянке под развесистой ивой, на расшитом матерчатом коврикe, нарочито отдаляя себя от толпы. Над девушкой возвышался раскрытый широкий белый зонт. Пациенты не обращали на сидящую никакого внимания. На плечах у нее был серенький халат, а в руке неподвижно застыла толстая книга «Война и мир».

Пробежав по высокому пролету ступенек, завернутому полукругом и уходящему почти в крышу, я оказалась у окошка медсестры. Миловидная девушка что-то писала на листе.

— Я знаю, мы вас ждали, пожалуйста, проходите, — ответила она мне после казенного приветствия. — Про пациента вам уже рассказали, но я напому. Его зовут Иван Иванович. Он поступил в отделение три дня тому назад из больницы Нью-Вестминстера. Там его выхаживали после кровоизлияния в мозг. Нянечки вызвали скорую,

когда увидели, что он упал прямо в саду около дома престарелых. Сам дом находится в двух минутах от районной больницы. Его домчали туда на скорой и вовремя сделали все необходимые инъекции. Кровоизлияние удалось остановить. Можно сказать, что пациент повезло, и он почти полностью восстановился. Живет, как и жил, не нарушает привычек: может столярничать, гулять, свободно общаться, — пояснила она, слегка кашлянула, запинаясь на слове «общаться», несколько раз взглянула на часы. — К нам пациент попал сразу из больницы, по направлению от социальных служб по уходу за стариками. Честно говоря, мы растеряны и пока не имеем представления о том, как он интегрируется в местную жизнь.

— Немного непонятно, вы сказали, что у пациента все без нарушений? Почему же тогда возникли такие опасения, и почему он тут?

— Пройдёмте, тут недалеко, по коридору налево, — уверенно сказала она.

Я молча последовала за медсестрой.

— Да, я хотела сказать, что у него случился криз и оказался задет отдел мозга, отвечающий за память. В его памяти все перепуталось, нам сказали, что он говорит о второй мировой войне, сказали... вспоминает своих родных, как будто они живы.

— А где его родные? — спросила я.

— У него никого нет. Он всю жизнь прожил в Канаде один. Попал сюда в 1946 году, семьи не завел и так и жил, работал на валке леса, обеспечил себя на всю жизнь. Теперь вот совершенно беспомощен, после инсульта забыл английский язык, — девушка закончила совсем мягким голосом, как будто извинялась за старика.

— Забыл английский? — переспросила я, а она закивала в ответ. — Мы вас, в принципе, и вызвали из-за этого. Он ничего, почти ничего не помнит и целый день общается на русском, — добавила она и открыла дверь палаты.

На меня пахло запахом старости, смешанным с парфюмерной благодатью моющих средств. На обычной больничной койке восседал седовласый худой старец в открытой голубой рубашке. Из-под оттопыренного воротника торчали резные ключицы. Острый кадык и запавшие щеки старика заросли седой щетиной. Увидев нас, он широко заулыбался и протянул руки вперед.

— Ридненьки мои, доченьки, ласточки, вернулись за мной, — сказал он и шагнул к нам, резко привстав с кровати.

Его жилистое тело напрягалось, но двигался он легко. Не успев увернуться от объятий незнакомца, я оказалась затянутой в омут его рук. Еще через секунду мой нос уткнулся в воротник и костлявую грудь старика.

В отличие от меня, молоденькая медсестра среагировала быстро и натренировано. Одним мгновением сильных алебастровых рук она оттащила пациента от меня каким-то необычным захватом сзади.

Я снова смотрела на него с середины комнаты, а медсестра присела рядом с пациентом, усадив его на кровать.

— Спокойно, дышите спокойно, — продолжала она, глядя его руку.

Я послушалась ее и начала дышать спокойнее, поправила скомканную спереди блузу и только потом поняла, что она успокаивала не меня.

— Татьяна, познакомьтесь, это Иван Иванович, — представила медсестра пациента. — Он сам придумал себе новое имя, — предупредила она. — Иван Иванович, это ваш переводчик, — сказала она деду, а я перевела.

— Тетяночка, привет, а меня звать Дид, — сказал он.

— Да, так и мы, как будто он сделал что-то, зовем его Дид, — улыбнулась медсестра.

Я поняла, что она принимает украинское слово «дид», «дед», за «Did», английский глагол действия прошедшего времени.

— А я, доченьки, собирався на улицу йти, — продолжал Иван. — Туча надвигалась, я сорочку надив и тут вас побачив. — Он еще раз широко улыбнулся, в голубых глазах сверкнули не то слезы, не то огонек радости.

Медсестра вопросительно посмотрела на меня. Я быстро перевела его слова. Она кивнула:

— Конечно, пусть идет, прогулки ему необходимы, — сказала она мне. — Погуляем по полянкам, посмотрим на белочек, — обратилась она к Ивану совсем ласково, с заботой осматривая его.

Я перевела, глядя прямо в глаза деду. Дид заулыбался. От его безразмерной безоблачной улыбки, глаз и морщин, бежавших окопами вниз по лицу, от торчащего кадыка и ключиц, ветвями выступающих из худого, длинного тела, стало совсем тесно в палате. Палата оказалась совсем небольшой.

Иван устремился навстречу солнцу. Он улыбался, шел ровно и гордо, как ходят под флагом или когда легко за плечами: ни боли,

ни обид, ни прошлого, ни будущего, или когда совсем не осталось надежды.

Дид шагал впереди. Я почему-то была уверена, что нам его не догнать. Еще через минуту мы с медсестрой семенили за ним по узкому больничному коридору. Одна из стен коридора была пронизана высоченными, от пола до потолка, окнами. В старинных, неоднородных и как будто стекавших к полу стеклах отражался парк. За окном бушевало лето, а мы шагали по коридору, как будто в картине, готовые выйти и раствориться в парке заживо.

Густые стекла окон становились толще и затуманивались у пола. Вдалеке показался просвет двери. Неожиданно зазвонил телефон.

Медсестра быстро перебрала фалды халата, вытащила из них тоненькую «Нокию», как будто обрадовалась и заговорила в нее быстро-быстро.

Иван Иванович не обратил на звонок никакого внимания. Он был нацелен на прогулку и, не задумываясь, шагал в конец коридора. В конце темноты дверь легко поддавалась под его мозолистой рукой. Мы вышли в солнечный день. Я проводила взглядом извиняющуюся на ходу медсестру, срочно убегавшую в другом направлении больничных лабиринтов.

Широкими шагами, все больше и больше отдаляясь от меня, Дид шагал через поляну. Зеленые травинки и удивленные кустарники расступались у его ног, роняли жемчуга вечерней росы и тут же, жалея о потерях, смыкали свои ряды, сверкали новой надеждой на будущее солнце.

Мне показалось, что Дид спешил к девушке под белым зонтом. Она все так же неподвижно сидела на поляне под березой. Остановившись совсем близко от нее, он продолжил:

— Доченька моя, Тетянка, это ты? — повторил несколько раз, разговаривал сам с собой. — Прости меня, родная, шо я оставил тебя, не доглядел, ушел на войну... совсем не хотел потерять тебя в этой войне.

Девушка оторвала взгляд от книги и подняла на него глаза.

— Не плачь, Иван, — сказала она по-русски. — Война прошла давным-давно. В книге про это все написано. Война не победит тебя и не победит жизнь. Садись на траву, отдохни, — услышала я слова обитательницы психиатрической больницы.

Она подняла на Дида прекрасные серые глаза.



Мне захотелось подойти поближе, однако пришлось оглянуться на резкие непонятные звуки, доносившиеся из глубины парка.

В противоположной стороне раскинувшейся внизу поляны, как на зеленой сцене, происходили какие-то действия, сопровождавшиеся звуком ударов хлыста. Лошадей поблизости не было и, забыв об Иване Ивановиче, я с удивлением пошла на звук, пытаясь получше рассмотреть происходящее.

Передо мной открылась совершенно непонятная картина. На грязной, пожелтевшей вытоптанной траве, изможденные и израненные, по щиколотки в грязи, одетые в измотанную в клочья военную форму по кругу бежали солдаты.

На мокрых от пота, без знаков различия гимнастерках то тут, то там виднелась кровь. Большинство мужчин бежало с опущенными вниз головами, они то и дело спотыкались, стараясь перевести дух, с мучением поднимали головы к раскидистым верхушкам кленов. В середине этого кровавого круга стоял огромный солдат в форме фашиста, с автоматом и в каске, с кнутом в руках. Кнут посвистывал, как будто стараясь вырваться из руки с закрученным до локтя рукавом, кружил над головами, то и дело падал в грязь, подскакивал снова вверх, со свистом и болью опускался на плечи пробежавших солдат. Слышались стоны и крики.

Я ничего не могла понять, не двигаясь, смотрела на происходящее действие с пригорка, как будто из другой страны или из другой эпохи. В горле у меня застрял комок, дыхание перехватило. Я глянула дальше, за клены. Сюрреализм происходящего подтверждался кадром больничной парковки, заставленной современными фурами с прожекторами и инвентарем киношников.

Если поделить картину на два глаза, то казалось, что одному из них достался мирный пейзаж с бытовухой и обслуживающим персоналом съемок, а другому открылась сцена ужасов войны.

В этот момент я могла еще выбрать и закрыть один глаз, но оказалось, что в кино, как и в жизни, времени на это совсем не осталось.

Солдаты продолжали бежать. Над их головами свистел кнут, а из высокого кожаного кресла, которое разместилось под веткой ели, показался плотный мужчина неказистой наружности, в серой куртке и с поцарапанным лицом. Он сначала вскинул руки вверх, затем начал что-то возбужденно выкрикивать. Солдаты перестали бежать, по инерции остановились. Некоторые из них, не успев притормо-

зять, уткнулись в спины впереди бегущих и замерли, согнувшись пополам, в изнеможении от долгого бега. Широкоплечий мужчина продолжал жестикулировать, поднялся на цыпочки и побежал вперевалочку, копируя солдат. Мне показалось, что он учил их бегать и страдать. Как дирижер оркестра, он жаждал чувств. Ему не хотелось обычных действий массовки, он желал пота, боли и накала. Солдаты повиновались. Дитина в серой куртке опять что-то прокричал, пробежался вразвалку, копируя кого-то из непослушных актеров, а затем повернулся и пошел к своему креслу.

— Так вот ты где, Танюша! А я ищу тебя, — услышала я голос Наташи у себя за спиной.

Она уже почти касалась моего плеча и так же, как и я, вдруг застыла на месте, взглянув на солдат, и кровь, и пот, и эту карикатурную войну, развернувшуюся посреди поляны возле психушки.

Широкоплечий поднял с земли автомат и наставил его на солдат. Он пытался довести свое дело до конца, наводил дуло то на одного, то на другого, как будто злобно торговался с ними за их жизни. Затем он повернулся в нашу сторону.

Мы обе вскрикнули, увидев его лицо. Наташа закричала пронзительно и звонко. От этого крика вылетела птица из куста, а вооруженный автоматом мужчина снова поднял голову и уставился на нас. Я мгновенно узнала его, и этот черный ежик коротких волос с проседью и расцарапанную сегодня утром щеку.

— Майкл! Вот негодяй! — закричала Наташа. — Тебе мало загубленных душ, подонок, так ты еще и пленных захотел! Негодяй, сволочь, фашист! — закричала она и подалась вперед.

Одним движением застывших пальцев я набрала 911 и произнесла: «Полиция!» В это мгновение Наташа уже бежала вниз. Распахнутые фалды серого халата вспорхнули за ней, словно крылья серой цапли. Она пролетела расстояние, разделявшее нас и солдат, за несколько мгновений. Сила и скорость ее движения умножались при беге с горы. Не ожидая расправы и не готовясь отступить, Майкл застыл в оцепенении бетонным столбом.

Солдаты продолжали по инерции свой бег. Наташа набросилась на Майкла с кулаками. Удара ее тела оказалось достаточно, чтобы свалить его с ног.

Я тоже бежала вниз. Упав вместе с Майклом на траву, Наташа молотила его руками. Майкл сначала отбивался, привстал, а потом

схватил ее за руки и стал заламывать их, пытаясь поставить девушку на колени.

В ту же секунду он увидел меня, несущуюся вниз, успел увернуться от тела номер два, подался вперед и заехал мне кулаком в лицо. Из моих глаз брызнули слезы, и что-то липкое потекло по щеке. Наверное, это была кровь. Поляна покраснела, и трава перед глазами покрылась бурыми пятнами.

Еще через секунду я оказалась лежащей на траве, передо мной корчилась, извиваясь, Наташа, не соглашаясь встать на колени.

Исцарапанный Майкл, разъяренный нашим появлением, крепко держал ее руки, продолжал бороться, напрягался, что-то шипел не то Наташе, не то нам обеим.

— Будешь, наконец, послушной, русская шлюха!

Я посмотрела на солдат и вдруг услышала голос мужа:

— Татьяна, держись! Я с тобой! — кричал он.

Перед глазами промелькнули разодранная гимнастерка, измазанные грязью щеки Виктора и его добрые глаза. Муж был уже рядом. Он целовал меня в липкие ресницы.

— Братва, наших бьют! — услышала я крики, как в кино.

Солдаты бежали к нам на помощь. Липкая кровь, смешанная с тушью ресниц, слепила правый глаз. Наташа уже снова молотила кулаками Майкла и воздух вокруг него. Майкл ослабил захват, и ей удалось вырваться из его плена. Падая, он схватил и потянул длинный шнурок, свисавший с дерева. После этого, прямо с земли, к верушкам кленов рванулась вверх плотная маскировочная сетка.

Толпа солдат, летевших к нам на спасение, была захвачена в плен и находилась теперь в зеленом сеточном мешке.

— Ах ты, сука! Я тебе кости переломаяю!

— Опустит сетку, сволочь! — неслось по-русски из толпы, которая в едином порыве превратилась в армию.

Майкл засмеялся, потянул за веревку еще раз и стал завязывать узлы. Солдаты махали руками, но не могли освободиться. Их кулаки вылетали за пределы мешка, но не могли прорваться на свободу, а руки проваливались и вязли в сетке, как руки беспомощных детей.

— Вот, гад! Он заранее все это соорудил, решил держать нас в плену! — кричал кто-то из солдат.

Другие сопели и пробовали порвать капроновую сетку руками.

— Вы, бестолковые дешевки, вы просто мой инвентарь! — кричал разъяренный и пьяный от собственной значимости киношник по-английски.

Виктор был рядом с нами. Ему одному удалось избежать плена сетки. Я все еще лежала на траве. Мой муж вытирал мне лицо.

— Ты видишь меня, Танечка? Как твой глаз? Как ты тут оказалась?

— Это я тебя хочу спросить: откуда ты тут взялся? — почти простонала я.

— Так подработка ж у меня с утра! Сегодня среда. Ты забыла? — только и успел сказать он.

Я заметила, что глаза мужа были мокрыми от слез.

— Что ты, Виктор, что с тобой? Мой глаз заживет! — пыталась обнять и успокоить его.

— Скажи мне, Таня, ты сделала аборт? — вдруг неожиданно спросил мой муж.

— Какой аборт, Виктор? О чем ты?

— Я вчера вечером заглянул в твой еженедельник, и в расписании увидел аборт. Как ты могла решить все без меня?

— Я ничего не решала, Виктор, успокойся, — стараясь отвечать медленно, сказала я.

Он вроде бы поверил и засиял. Старалась смотреть ему прямо в глаза.

— Аборт у меня был в расписании, я переводила Наташе, это по работе... Как ты мог додуматься до такого, Виктор?

Виктор ничего не сказал, он только вдохнул, обнял меня и выдохнул мне в волосы. Запах его разодранной гимнастерки смешался с запахом травы.

— Прости, — я услышала его голос прямо в ухе.

Муж целовал меня в волосы.

— Родная моя, я так за тебя переживал!

— Конечно, переживал, не придумывай ничего лишнего!

В это время Майкл схватил Наташу сзади, в одно мгновение завернул ей руки назад и начал связывать их веревкой.

— А вы, двое, спокойно, стоять! — скомандовал он.

Еще секунда, и он направил на нас дуло автомата. Со стороны было трудно определить степень бутафорности этого оружия.

— Не двигаться, — завопил насильник по-русски, и его широкие ноздри раздулись чернотой. — Я вас всех поставлю на колени! — кричал он куда-то вверх.

Под сеткой стояли и лежали солдаты. Они продолжали рвать ее, толкались, пытаясь достать до обидчика руками.

— Сидите смирно и заткнитесь! Я всех научу жить! — не успокаивался Майкл.

— Кто ты, падлюка? — закричал вдруг восставший из ниоткуда Дид.

Он вырос позади Майкла, схватил стоявшую под деревом широкую лопату и медленно опустил ее на голову обидчику. Лопата зазвенела глухим эхом.

— Откуда ты вылиз, гадина? — кричал Дид. — Хлопци, солдатики, мои ридненьки, як вы туда попали? Шас я поможу вам, Боже, Боже! Це наши детки, зачем их на войну! — кричал Дид и рвал узлы шнурка, зажимавшего мешок сетки, который крепко держал пленных. — Все вильни, свобода! Выходи! — кричал Иван выпуская солдат из сеточного мешка.

Он плакал, по рубашке текли слезы, размазанная грязь. Он обнимал солдат, которые выбирались из-под сетки и помогали друг другу.

Перед нами образовалось целое столпотворение.

Я держалась за глаз и чувствовала дрожь тела Наташи и теплоту плеча Виктора. Мы были вместе на поляне и в то же время в мире, в кино, и в реальности сегодняшнего дня.

Сквозь приоткрытые ресницы я видела, как капли вечерней росы серебрили траву, убегая дорожкой в сторону заката, в стороне от съёмочной площадки, где Дид обнимался с солдатами.

Казалось, что все происходящее и наша история не оставили никаких следов на нетронутой некошеной глади Земли.

Природа переживет всех нас, мне показалось, что я произнесла это вслух.

— Наши дети все исправят, — сказал Виктор и посмотрел на меня.

Я молча ответила ему согласием.

— Если мы сможем уважать себя и их, — отозвалась эхом Наташа.

Она стояла над телом своего обидчика. Фалды халата, развеваясь на ветру, как будто обнимали ее худое хрупкое тело. Рядом в грязи валялся деревянный муляж автомата.

На дороге у поляны показались две машины с мигалками. За деревьями послышались крики. По траве, через поле к нам бежали канадские полицейские.



Сергей Катков

## ДЕСЯТЬ ЛЮБОВЕЙ СПУСТЯ

I

«Ах, как смешно... как хорошо-то... как же хорошо... незачем было столько сомневаться, ломать пальцы, разбросавши... и ведь столько лет ждать, когда придет это позорное благоразумие...» Володя больше не сомневался, переходя на светофоре, не загадывал на секунды до зеленого, не считал полосы «зебры», не боялся встретить сходства в случайной незнакомке. Остановившись закурить, заметил, что как бы другой частью сознания наблюдает за собой уже несколько минут. Вот за этим «как смешно, как хорошо». Прикурил и снова пошел. И снова забылся в насмешливых причитаниях, одергиваясь, как будто стяхивая с одежды грязные уличные капли.

Над Ленинградкой дрожала влажная мгла, бешеная черная плазма, раздрызгиваемая машинами. Машины неслись и разносили свой гул и тяжелый сожженный воздух, угрожая вырваться за пределы земного тяготенья, взорваться, сойти с ума — бесчисленно, бесчисленно и бессмысленно много нас здесь.

Володя краснел, алкоголь ударял ему в голову, циклами возвращаясь таким смешным, детским, азбучным теперь стыдом. Пять лет назад Вова Черёмушин, закончив филологический, вопреки всем педагогическим подталкиваниям и дружеским убеждениям, навсегда бросил родное литературоведение и «ушел в жизнь», как он тогда говорил. Его заверяло в своей лояльности подготовленное место в аспирантуре, очень удобное во всех отношениях. Будущая диссертация без всяких затруднений вытекала из дипломной работы. «Научным» должен был стать мягкий, лирический старичок с желто-седым пухом на голове, с задумчивыми, увиливающими глазами, нежный профессор-литературовед. Здание факультета находилось в пяти минутах пешком через

тополиный парк, который закрывался на зиму и разве что только этим увеличивал расстояние от дома до науки. Наконец, там же ему обещали шестичасовое еженедельное преподавание: обзорный Серебряный век у первокурсников. Все должно было «быть хорошо» — «хорошо» именно с той интонацией, которой уговаривают себя и заговаривают судьбу неудачники: «все будет хорошо». А тут судьба складывалась сама. И все и так уже идет «хорошо», все довольны, пейзаж жизни не нарушается: спокойный тихий парк за окном и в доме большие часы, бытовой механизм которых давно налажен.

Володя нащупал в кармане бумажку, вытащил, сощурился. Свет автомобиля выхватил праздничное печенье-пожелание: *«Обратная сторона кризиса — новые возможности»* — скомкал и выбросил, как плевок.

Именно так про возможности он тогда и начал думать. Неизвестно, что у Вовы было на душе.

С одной стороны, вся предыдущая жизнь нескольких лет разверзала перед ним перспективу отдалиться во вполне естественное и закономерное состояние предстоящей научной деятельности. Другая возможность была незакономерной, неестественной, но по-настоящему страшной. Увлечение декадентской лирикой, ницшеанством и философией «сверхчеловечества» серьезно отравило его мозги сладким, ужасающим дымом исключительности и обособленности. Сама идея, что он должен будет идти путями изведанными, смотреть и разговаривать с людьми голосом и манерой ожидаемой, строить свое будущее, как здание по проекту, давно утвержденному логикой всего того мещанского повествования, которое он так черно презирал, — все это делало его бессильным и безликим в барельефе грядущей жизни, которая собиралась влепить его в себя неизбежным раствором обязательств и необходимостей.

Володя загадывал, что скажет человек, разговаривающий с ним. И предсказание сбывалось. Володя делал чертеж событий. И они расцветали реальным воплощением. словно он видел сон, протекавший перед ним горизонтальным потоком. И попытки вынести вовне свое раздражение, вторгнуться и нарушить это как бы подводное, но неповредимое, неприкасаемое изображение, только едва-едва

возмущалось откликом неясного и смутно-подозрительного непонимания со стороны окружающих. Он чувствовал себя нездоровым, недоовоощенным существом, изнутри которого лезло ломавшее его нечто сверхличное. Логика, чистая умственность презрительно отторгалась от детской зависимости находиться среди этих лиц, людей, бытовых толп. О себе он думал намного больше, чем следовало бы. А успехи в учебе, несомненно, складывались исключительно за счет его кристальной гениальности.

В начале четвертого курса ему встретилась факультетская первокурсница. Очень, очень милая полнокровная девочка, с грациозно гармоничными пропорциями, неудержимой женственностью, с выражением доброго, лукавого кокетства, ямочками, голубоглазьем, грудным колыханьем. Он сошел с ума прямо там же, на месте, припечатанный, как муха, любовным каблуком. И все сразу же понял. Что ничего не выйдет. Все дальнейшее мытарство вокруг ее фигуры и образа в целом. Бесплезность попыток заговорить. Бесплезность взглядов донести это чувство. И все будет неловко, неуместно и несовместимо.

Он заставлял себя видеть в ней подобную же, схожую со своей, исключительность, поднимавшую ее через красоту на подножку недосягаемости, пронося над всеми, депортируя из унылого обывательского пейзажа в край необыкновенной, надменной исключительности и так далее и тому подобное до бесконечности.

Но в иной раз, заходя со здоровой, рассудочной стороны головы, заглядывая за кулисы нормальной жизни, он, конечно, понимал, что это нечто вроде управляемого умственного расстройства. Его зрение раздваивалось на глаз эстетический, «сверхзрячий», высокомерно лорнирующий, — и близорукое, обиходно-домашнее, практично-бытовое глазное яблоко, зрящее лица очень близко и конкретно. Зачем же тогда было себя мучить? Зачем было выносить свое дурацкое сверхчеловечество наружу?

Он написал для нее ницшеанскую(!) сказку, в которой герой — семитский(!) принц из пустыни — шел и побеждал ночного дракона, закованного в шелест железной чешуи. Сказка была принесена.



Свернута в свиток. На клетчатой рубашке листков синели рукописные прожилки. Он так жутко стеснялся, так неловко втиснул бумажку ей в руки, в окружении однокурсников, так серьезно (злбно-злбно: она видела) посмотрел ей в глаза — как будто нарочно делал так, чтобы ничего не вышло. Ничего и не вышло. Она не поняла, зачем самые лиричные места касались муравьев и пчелок, продолжавших жизненный цикл, зачем весь остальной эпос трудился вокруг романтического пританцовывания принца, свернувшего со стадии льва в вечно буддийскую беспечность ребенка; зачем вообще это все с такими глазами и вообще почему он такой странный.

Ничего не выходило и потом. Несколько раз. Когда он пытался встречать ее — на учебу и с учебы, когда пытался провожать домой. Однажды она заметила трещинку в стекле его очков. «Это из-за морозов», — попробовал пошутить он и с жаром, почти со слезами целую неделю припоминал детальку ее крошечного сопереживания.

И неудачные зимние попытки прогулок. Когда она ускользала из-под его носа с другими. И звонки ей с разговорами, становившиеся обоим в тягость. И потом весенние встречи, с попытками молчаливого объяснения, когда после зимних пальто, обтягивающих ее талию, шляпок, обжавших — обожавших! — небесной войлочной замшевостью ее головку, когда все женщины уже носили одежды этой девушки, говорили ее грудным и звонким голосом, трепетали отражениями в витринах. И плыл большой-большой мир, ушедший деятельностью под воду, в потусторонность воображения, где хлестали груди тетрадных стихов, крошивших по корешкам акrostихи ее имени, такого жгучего, желтого и шерстяного.

Он загадывал, что сейчас она выйдет из-за поворота. Пройдет мимо — настырная и высокомерная. С лицом, обмеленным мукой бледности вокруг губ. И выходила, и сердце загоралось, и досада брызгала в глаза слезами. Он считал на перекрестках полосы «збры»: если будет нечетное число... Складывалось четное, но была еще половина полоски, плюсовавшаяся до целой. Загадывал на числа птиц, пуговиц, страниц до нужной главы — и всегда все можно было подогнать под желаемое.

Последняя майская встреча столкнула их в открытом кафе среди веток сирени и бессмысленного студенческого щебетания. Желтая кофточка гудела низким тоном, выплескивая из себя розовое томление кожи, синие близорукие глаза капали фортепианными нотами, губы, губы атели альтом и подбородок склонялся к груди, словно в попытке соприкоснуть виолончельные голосовые связки.

Она сделала глоток и облизнулась. Глаза откосили от Володиного взгляда и перешли к какой-то конкретике: стали читать. Вова, сидевший напротив с пирожным, был ей скучен. Точно так же была скучна ее книга по методике преподавания литературы в начальных классах.

— Душистой веткой машучи... — проговорил Вова, чуть макая салфетку в крем пирожного. — ... Впивая впотьмах это благо... — Она перелистнула. — ... Бежала на чашечку с чашечки... — Прицепив к салфетке листок сирени, поволок его к стаканчику, обогнув мыс ее руки. — ... Грозой напоенная влага ... От чашечки к чашке движучись... — Она переставила стаканчик. — ... Прелестные пальцы миную... — Вздохнула. — По заявкам первокурсниц филологического факультета для вас прозвучала вариация на стихотворение Бэ Пастернака. Если вы только захотите...

— Не хочу.

— Стыдливая нехочуха...

— Что?

Она встала, быстро собралась и ушла. Вова сидел, наливаясь под сиренью лиловым, сонливым стыдом.

Было потом полное переворачивание себя, воспитывание из тщедушного синевато-трагичного затворника позитивного краснощекого рубахи-парня. И тогда, планомерно, упреждающими ударами, чтобы расшатать себя, расколебать, на пятом курсе он впервые в жизни стал ходить на студенческие тусовки. Неприлично напивался, играл в «бутылочку» на холодных сентябрьских лавочках в парке, дебоширил и гудел в общаге, почувствовав вкус беспризорной свободы. И были какие-то бессонные обещания вырасти над собой до невозможности, до глобального невмещения в существующий мир, где она сама узнавала бы о нем и узнавала бы в том виде, в котором он видел и знал самого себя, понимала его точно так же, как он понимал себя, и тогда уже возвращалась бы к нему, обряженная в одинаковую с ним гениальную

однородность или — изредка, но не менее желаемо — сбрасывалась с пьедестала ему под ноги! И так прошел пятый курс. И диплом его встретил чуть ли не в спортзале в том общем настроении, когда просто надо, хотя уже и не нужно. Все это накладывалось на уже пред-решенную его несчастную участь.

Остановившись у очередного перекрестка, Володя поднес к губам ладонь, с силой сжал зубами стиб большого пальца — в стыде, в стыде воспоминаний, желая высмеять, высмеяться, чтобы выдавить из старой душевной раны яд прошлого.

Конечно, он был совсем уязвлен тогда. Не обратила внимания, не поняла, не увидела, кто и какого масштаба подошел к ней. Он же — верил в судьбу, он же — знал о чуде. И он был допотопным ницшеанцем, недосверхчеловеком, эгоистом, просто дураком. Дураком! дураком он был! какую девушку упустил!

Перед тем, как уйти в армию, Володя степлером запечатал несколько — особенно толстых — зеленых «тетрадей для стихов», а остальные сжег. На костре в том самом тихом парке за окном. Еще как горят и еще каким зеленым пламенем! Не синим, как ее глаза. Синего больше не существовало.

Ему повезло, он попал на юг Подмосковья. В гвардейскую бригаду. Его научили ушивать, перешивать и расшивать воротнички, топтать сапоги, курить, «спасать» еду и любую вещь и не удивляться органической и организованной тупости происходящего с ним неуникального события. Он запомнил караульную службу возле часовни на Знаменке и напротив автомобильного музея на Фрунзенской, в Генштабе и Военной прокуратуре, ледяные постовые ночи и жуткий голод (ну-ка пофилософствуй теперь: голод — это желание есть или просто недостаток еды? Субъективное представление о недостатке питательных веществ в организме или субъект-объектное отношение?) Сбоку плаца на офицерской многоэтажке было натянуто гигантское изображение инфантильного главнокомандующего. Неуникальность освободила его от любовного бреда и «сверхчеловечности», когда наличное и буквально нателное бытие стало единственным, спокойным и настоящим способом существования, доказав, что ничего из этой философии

не существует по-настоящему, потому что только артиллерист-неудачник, провалявшийся несколько недель с больным животом, мог возвеличить такой бред. Вместе с этим бредом выветрились струями шелухи и стихи: строчка за строчкой. И теперь Володя сознательно ничего не смог бы привести в доказательство своего прошлого чувства. Ничего не было. Ничего не осталось. Полное обновление. Все началось заново и по-другому.

Стоя возле последнего перекрестка перед домом, он смотрел на сжатую в боках чернотой московской ночи высотку. Разноцветный коробок, набитый новогодними огоньками. Все они мерцают «привет! привет!», а один должен быть очень знакомым, но его пока не различить.

Голова стыла на ветру, отходила от шампанского и воспоминаний. И жар стыда тоже отходил от щек. Сегодняшняя нечаянная встреча с ней заставила его только сожалеть. Он даже не сразу вспомнил имя, хотя еще боялся увидеть тот далекий, выкристаллизовавшийся в нем когда-то образ ее фигуры и лица. Иногда подобное сходство других женщин с ней заставляло его вздрагивать. А сегодня он ее даже не сразу узнал.

## II

Время «десяти любовей» — долгая весна в несколько лет, длившаяся после армии, словно непрерывно проведенная по стене полоса краски. Встречи случались и весной, и зимой, и осенью — лета только не было, — но все ему казалось, это весна, и он в куртке нараспашку выбегает на улицу, и март, март, снежинка, не сохраняясь, плавится в воздухе, не прикоснувшись к коже. Володя спешит на первое собеседование. Непривычное к свободе волеизъявления тело еще не откалибровано, его бросает в крайности, оно подстраивает опоздание, стремится к алкоголю, подскакивает к машине: «Девушка, милая, здесь выезд на одностороннее, сажайте меня немедленно к себе, иначе не оберетесь штрафов». Девушка тоже опаздывает, послушно сажает его, спешно обсматривает себя в зеркало заднего вида, по совету Володи, прячась дворами, выезжают на проспект и вклиниваются в киломе-

тровую пробку. Был ноябрь, первый большой снегопад. Москва встала в пробках, Володя не попал на собеседование, доверчивая Ася — так зовут водителя маленького «пежо» — окончательно опоздавшая в свой «Ростелеком», с досадой роняет: «Вылезайте вон», — чуть не плача. Так они познакомились.

Он беседовался, она его подвозила, весной планировали скататься в Европу. Удивительно, как женщина с опытом одиночества подвержена необходимости оберегать свои комплексы. Ася накомплексовала себе целую судьбу. По поводу золушкиных ограничений в детстве, по поводу академической юности среди родителей-мэнээсов, по поводу прыщавых мальчиков-технарей, в то время как ей хотелось бы гуманитарного принца.

Наступил март, уже настоящий, не Володин, и Ася, терзавшаяся еще одним комплексом «работа-квартира», отчалила: девушке из Новосиба отчаянно нужна была уверенность в завтрашнем дне в виде состоятельного попутчика, а не ежедневные пробки. Она подвезла Володю к месту работы, на которую он все-таки устроился, сообщила, что все это время жалела его, а теперь может сказать, что с января катается не одна. Бедрa у нее были стрекозиные, узкие, как приклад винтовки, так что Володина присказка про «девочку с маленькой жопё» окрысилась из Асиных глаз новым комплексом. «Спасибо, что прокатила», — добавил Володя и хлопнул желтой дверью.

Потом была крупная Разговорова, поразительно молчаливая, не смотря на фамилию, и подозрительно мало знающая про Пелевина: «Что-то такое слышала». Они шагали парками: он говорил и говорил, она безропотно слушала, к вечеру ему откровенно казалось, будто гуляет он сам по себе и разговаривает тоже сам с собой. Разговорова, улыбаясь, самолично расстегивала блузку и далее, очерчивала мраморную грудь розовым бутоном, загадочно улыбалась, и, пока он говорил и говорил, чтобы доказывать ей, что между ними сохраняется безопасное звуковое расстояние, она еще демонстрировала себя, изгибаясь в сумерках квартиры. Когда его голос иссякал, скомканный в хрипоту, она так же самолично застегивалась, словно демонстрация заканчивается, на сцене гасят свет и кулисы съезжаются.

Внахлест с Разговорой Володя встретил Алину из подъезда по диагонали. Как-то она приехала к нему, еще служившему, худому,

удивленному. «Проезжали мимо и решили проведать. Как ты?» и легонько коснулась обшлага его военной формы. Они учились на одном факультете, она на два курса младше. Из авто недалеко от КПП на них пристально смотрел водитель. Теперь оба свободны, и, соприкоснувшись рукавами, пошли вместе: до магазина, потом к остановке, потом гуляли в центре и так же вместе вернулись обратно. «Завтра будет осень», — сказала Аля. «Да. А похоже, весна», — отвечает он приветливо и очень пронзительно вспоминает о своей безымянной факультетской весталочке.

«Только не заведи себе служебный роман... только не служебный роман». И все, как один, были как раз служебные. Он не дождался «или я, или твоя работа», закинул вещи в сумку и, пересекая двор по гипотенузе, вернулся домой. Черноволосая Лера с армянскими корнями, сестра начальника отдела, отобрала его у Али и переселила поближе к работе, так они сняли «однушку» рядом с офисом и занялись налаживанием отношений.

Лера, владевшая немецким и фанатка мобильных решений даже в условиях санузла, не отрывала глаз от своей «ретины». Десять раз в день она сносилась с немецким офисом конторы, а между этими сношениями существовала в соцсетях. Зато на выходных они лайкали друг друга везде и *küssen in allen Orten*.

Вместе с работой Володя потом потеряет эту армянку Леру и, возвращаясь на такси в холостяцкую квартиру, так и не успевшую побывать в категории «Сдается двухкомнатная с видом на тихий парк», будет думать, как же давно он перестал быть самим собой. А пока они кому-то звонят, договариваются о встречах, едут в ближнюю Европу, пока *küssen in allen Orten*, пока у нее невроз и склероз: она конвейером гонит десятки мейлов и во все соцсети мира, — он встречает другую Леру, не армянку, увозит ее в Питер и ведет в ресторан на Петроградке, рискуя, выигрывает ее тело на ночь, — все это происходит вместо того, чтобы лечь на кровать, уткнувшись в подушку лицом, и проспать до весны.

И тут весна закончилась. Володя утратил свою боевую беспечность, словно где-то выронил ее, как однажды гуляющий ветер в метро смахнул закладку из книги, которую Володя присел полистать, ожидая поезд: бежевая сторублевка, вращаясь, понеслась в туннель, а он только смотрит, как его жизнь удаляется, словно воздушный змей, которому обрезали уздцы.

Еще были Тоня, Леся и, кажется, Ира, но на них весны едва хватило, кисть сухо чиркнула по стене. Володя последние месяца два, изображая оптимизм, стал подмешивать свое присутствие в кружки прежних знакомств, где мог бы что-то узнать про свою весталочку эпохи «ницшеанства». Кажется, именно Ире, худой, с ломким волосом и голосом, но зато с шикарными полноразмерными бедрами, он проговорился: «Если бы мы встретились раньше...» — «И что тогда?» — «Я бы еще мог остановиться...» Тем не менее, с ней он проспал до зимы.

В приятельских кругах говорили разное, в том числе про прокуроршу-брошенку, чуть не ставшую Володиной бывшей, с которой они ходили на бал и карнавал, на Патриаршие и в Гостиный двор — покушать шоколадные фигурки с ликером. Благо, дальше фигурок у них не зашло. Теперь она нещадно судит за алименты и любовное тунеядство, в ее кодексе есть такая статья. Володя по-тихому удаляется из круга и ищет дальше.

Почему ему нужны были именно философические выверты любви? С прозрениями, с безымянной глубиной отношений, которую необходимо наполнять и переполнять словами, труднодоступным фуэте приближения к космологически удаляющемуся предмету интимного познания. А ведь у него была своего рода теософская развилка, недоказанная, оброненная где-то там, в момент их упущенного откровения. Если бы он сказал ей нечто большее, настоящее, скажем, то единственное признание, которое с необходимостью ставит лица людей друг перед другом. И неважно, что она все равно отвергнет его, там, на этом перекрестке, ему до сих пор нужен был сам акт признания как невероятной энергетики сублимация акта физиологического напряжения. Ведь Володя в таком вот именно модусе представлял, как должно обосновываться причащение людей друг другу: если любовь есть, то есть сущностно есть, говорил себе Володя, тот еще студент и радикальный философский язычник-ницшеанец, тогда неопровержимо есть и Бог, с неизбежностью доказанный этим актом всеобщего пантеистического счастья. Любовь есть чудо и любовь есть доказательство необратимости любого всемирного чуда, вплоть до божественного присутствия в делах космоса и человека. Любовью творятся те же самые законы, формализованные Ньютоном, только их имена хранились бы под большой немотой, до тех пор, пока их не

секуляризуют и пока не вскроют конверты с их именами. И с этого момента секуляризации, так говорил Володя, с этого момента деградации чуда пошли уже и Аси, и Али, и Разговоровы, армянка Лера и все остальные Иры и Тони, которые были мирскими атаками на горную безмянную высоту, куда он так и не приполз, молясь и задыхаясь.

Такие открытия, которые открытиями-то и кажутся в двадцать-двадцать два, для теперешнего Володи выглядели как сатиры на древнегреческой вазе, румяные и пьяненькие, которые, подбрасывая копытца вверх, проходят вприсядку по окружности вазы. Теперь это «песнь козлов», а когда-то она была дионисийской трагедией. Не мировоззренческий прорыв, который более-менее правдоподобно объясняет устройство вселенной, а терапевтическое самообъяснение в собственной слабости и избегании нормальных человеческих отношений. Вместо того, чтобы произнести слова признания в любви, бессонными ночами он формулирует свой любовный пузырь: «Если любовь есть, есть и Бог, ведь она с неизбежностью доказывает Его существование, поскольку то и другое есть чудо. Чудо... А ведь достаточно единственного чуда, которое и все другие чудеса наградило бы обладанием возможностью». Разве это не извращенная силлогема в духе того, что Ахиллес никогда не догонит черепаху или что стрела зависнет в воздухе, в то время как на самом деле Ахиллес и бежит, и догоняет, и стрела поражает цель, а Аля, Ася, Лера, Ира сожительство с Володей? Силлогизм не удается, хотя еще и не разрушен. Логика событий не просуммирована до конца: Ася + Разговорова + Алина + армянка Лера + ... = безмянная весталочка. Так что ли? Кто еще должен появиться в этом уравнении, чтобы избыть весь алгебраический ряд в ожидании второго пришествия весталочки?

Прошел новогодний корпоратив, где надо было продолжать чувствовать свою принадлежность к благоустройству сайтов компании. Разве он мечтал о шрифтах, иконках, менюшечках и выпадающих списках, чтобы по причине их существования оказаться на корпоративе? А между тем он веб-дизайнер и из шрифтов и баннеров вяжет клиентские сайты. Как паукообразный. Неужели ему, ходившему побок с Заратустрой и стоявшему вместе с канатоходцем над базарной площадью, хотелось спуститься и сесть на свое теперешнее офисное место именно в той самой базарной толпе? Заратустрики, разменявшие ледники гордыни на обыкновенные дни, они прячут глаза



в монитор. Словно ряска, заселили офисы и стараются не вспоминать о канатоходце. Володя везде замечал таких заратустриков, которые, как и он, пристыженные, опускают глаза и продолжают свое удобное потребление.

Потом он шел к знакомым, ради подарков забегал в магазины, фантазировал, стоя в очереди, о бухгалтерше Кристине, в постель которой въедет когда-нибудь на красном феррари, улыбаясь и абсолютно какой-то голо-гламурный. Были бесчисленные звонки, и он путался в голосах, которые поздравлял, путался в поздравлениях и мыслях, общих и уже как бы присвоенных себе: словно брошенные на штурм прихожей женские и мужские пальто, шубы, куртки — выглядят такими же пьяными, как их хозяева. Так, через друзей, друзей друзей, в двадцать два пятнадцать он оказался в районе родной Ленинградки у знакомых в третьем колене.

Хозяева недавно въехали в квартиру, поэтому заодно отмечали и новоселье.

«Знаешь Ивановых?»

«Это каких именно Ивановых?»

У каждого есть свои собственные Ивановы. Володя пытался припомнить, но не получалось. У этих Ивановых пока не было лица и голоса, только относительно близкое к его дому месторасположение. Здесь он встретил Семеновых, Щукиных, Лебедевых и Аванесова, собиравшегося когда-то поступать вместе с ним в аспирантуру. Кажется, поступил. Иванов — Саша, чуть моложе Володи, Иванова — в соседней комнате с ребенком, пятимесячным младенцем. Здесь, в большой гостиной, среди шума гостей, закуски, выпивки, телевизора, стола и стульев разговаривали, пили, закусывали Щукины, Лебедевы, Семеновы, крутился этот маленький, волосатый Аванесов. Володя вдруг вспомнил. Тогда, пять лет назад, Аванесов точно собирался в аспирантуру. Все время дрожал, когда рассказывал, как сложно поступать. «Пипец-пипец», — постоянно повторял он. Когда Володя уже вернулся из армии, Аванесов все так же, дрожа, рассказывал, что поступить-то он поступил, да теперь другая напасть: сдать бы кандидатский минимум да диссертацию написать. А как сдашь, как напишешь, коль работа и жена? Кем работаешь? Менеджер в конторе по продаже труб. А диссер по журналистике? То-то и оно. Вздыхает. Пипец-пипец. Володя, будучи совсем на мели, взялся составить ему библиографию почти за копейки, но, по словам Аванесова, источников набралось «пипец-пипец как мало», поэтому

они сильно тогда стали смотреть друг на друга исподлобья. Аванесов, делая вид, что не помнит ссоры, избегал Володиных взглядов, но свой бутерброд со стола брал и свою фишечку рассказывал:

«Курица не птица, Гоша Куценко — не актер. Посмотрев на его игру, Станиславский заново бы придумал свое “не верю!”» Выглядел он так, как рисуют шаржи: маленькое утрированное тело, на которое насажена большая, размером с тело, голова карикатурного Антонио Бандераса, периода, когда тот был еще длинноволос и носил косичку. Из рукавов огромного пиджака менеджера по трубам торчат кончики пальцев. «Пипец-пипец», — говорит он с округленными глазами о своей работе. Аспирантуру он давно бросил.

Володя заглянул в соседнюю, совсем тихую комнату. Иванова недавно покормила ребенка и сидела, покачивая его на полных коленях. Молодая, красивая женщина, моложе Володи, в очках — больших, даже огромных, сбоку видна их черная хипстерская оправка; розоватая, полноватая щека, синеватый взгляд, такой, тот самый, когда лицо уже отвернулось, а цвет глаз уже навсегда запечатлелся в памяти; приятное, милое лицо с бледностью вокруг рта, словно припудренного. Ренуаровская принцесса в солнечной пылице. Несколько раз стоял он, краснея, в Пушкинском музее, что-то шепча, пока смотрительница наблюдала за его губами и пылавшими ушами. Две девушки, а на самом деле одна, анфас и в профиль, как будто раздвоившись, изображены на картине Ренуара «Девушки в черном». Та самая, его весенняя весталочка, полногрудая, круглолицая, из Парижа девятнадцатого века поступившая на Володин филфак, теперь сидела в этой комнате, и у нее теперь была фамилия. Самая знакомая. «Знаешь Иванову?» — «Иванову-то? Знаю, как не знать». У каждого есть своя Иванова. Теперь такая знакомая Иванова была и у Володи.

Пока по телевизору показывали добровольное сумасшествие телеведущих, рассказывали о крайне неудачном начале нового избирательного срока какого-то латиноамериканского деятеля — дипломатический скандал, крупный пожар, — Володя сидел в полупрострации, оправданной выпитым за день, пытаясь осмыслить, что это она, она, та самая... определившая его жизнь последних пяти лет, а может, и вообще всю оставшуюся жизнь, которую он обречен именно вот таким образом провести с женщинами, что эта-теперь-Иванова, ве-

сталочкой которую он называл, наложила на него заклятие в виде «десяти любовей», сама того не зная. Она прошла взглядом мимо и не узнала его. Да и не могла узнать, потому что, по сути, никогда его и не знала. Как вы можете знать сидящего в зале зрителя, когда их так много, а вы играете свою единственную роль и софиты вас слепят. Она его и не знала. Пять минут их встреч и телефонных звонков на пару страниц, где каждая реплика начинается с тире, — всему этому уже пять лет и вспомнить об этом уже невозможно. Конечно, можно было бы: а помнишь, как я пытался тебя провожать, смешно было, мороз такой жуткий, и я замерз, а у тебя шляпка была вельветовая и рыжая шуба; а помнишь, весной? а кафе? а сирень? Шляпку и шубку она, конечно, вспомнит, а тебя — разве только из вежливости или чтобы поскорее отвязался: да-да, что-то такое, кажется, было.

Он, трезвея, наблюдает за ней, словно наверстывает упущенное за много лет: она подходит к столу, наклоняет голову, наливает шампанское, откусывает кусочек торта, проводит по губам сначала кончиком языка, потом вдогонку пальцем, стирая крем, одновременно кому-то улыбаясь, с кем-то разговаривая и посматривая в телевизор. Интересно, она ведет себя искренне? Она действительно такая всегда? За стеной спит ее ребенок. Это ее квартира. Голос ее мужа слышится из кухни. Внизу, наверное, припаркован ее автомобиль. А Володя ведь, скорее всего, представлял ее по-другому, если, конечно, представлял, там, тогда, в караульной службе, голодными ночами. А какой именно? А как бы она вела себя с ним? Вообще и в частности здесь, если бы он был не гость, отступивший за шторку, а ее муж. За стеной спит *их* ребенок, внизу припаркован *их* автомобиль... Это *их* квартира, за которой стоит оформление ипотеки, нервы и боязнь потерять работу. Наверняка же представлял себе что-то подобное, хоть и не помнит теперь. Но явно не такое себе фантазировал: что она будет с чужим мужем, ребенком, автомоби... Как-то она потерялась во всем этом, подумал Вова. А ведь у нее была свадьба, работа, роды, и ее тело, ничуть теперь не студенческое, потерявшее после своей принадлежности всему этому загадочность, было чужое, не то, о котором он мечтал. Не нищеанское было тело. Совершенно безо всякой живости, без новизны, без свежести, без способности к стремительности, к любовному настроению, просто какое-то домашнее животное, вроде кошки, которое просто способно рожать, только не котят, а детей. «Опоросилась... — подумал Володя как

будто с досады, озадаченно. — Просто обыкновенная женщина. Таких миллион. Выйди и ткни в любую, будет точно такая же. — Он подошел к столу, налил стаканчик водки. Первый, второй. — Не чокаясь, — это Аванесову. — Стоило из-за этого прятаться за шторками и идти в армию?»

«За что пьем?»

«... и простоять в шторках столько лет».

«Пипец, какая же... крепкая... у вас водка!»

«... все эти годы жить в общественном нигде».

«Ну, и чего ждем?»

«... это же банальнейшая тетенька, вся загадочность которой сошла на нет вместе с родами».

«Без закуси?»

«... женщина — отдохновение для воина... Так, кажется, говорил заратустрий... все остальное — глупости».

«Забыли?! Скоро же Новый год!»

«... все в женщине — загадка, говорит он, и все имеет одну разгадку — беременность. Так говорит заратускский...»

«Саш, скоро, наконец, придет этот Дед Мороз?»

«... заратускский».

«За Деда Мороза!»

Володя присел на корточки, опершись спиной о стену, наблюдая веселье непричастными, безмятежными глазами. У стола чокались и пили, и Володя тоже был там, у стола, мысленно чокался и умственно пил одну стопку за другой. Становилось спокойно, быстро, легко, будто он, мальчик-скороход, Маленький Мук, бежит с докладом к визирю, а между тем только что потерял что-то важное, какой-нибудь золотой ключик, и никто об этом никогда не узнает.

И тут проходит некоторое время. Володя уже сидит за столом и мнет вилкой мягкую селедку, когда звонят в дверь и под обширный веселый шум в комнате из толпы гостей появляется настоящий Дед Мороз.

«Ах ты, черт, чертушка...»

— А ну-ка, ребята, вот мешок, на мешке замок, стишок удалой — замок долой, кто стишок доложит, тому дедушка подарочек положит.

Гости смеются, кто-то выкрикивает «Я! Я!», а Володя ставит в центр комнаты стул и, взбираясь на него, оказывается над базарной толпой. Вдалеке — Альпы, по ним перетекают тени облаков, небо там светлое, дальше, а здесь, рядом с ним, оно темное, тяжелое, потому что шпиль,

в который упирается его спина, длинный и уходит почти в потолок. Ветер толкает упругий ярмарочный купол, толпа внизу притихла и ждет его трюка, к которому он готовился, кажется, всю жизнь. По разноцветным головам пробегает что-то вроде водной ряби, и они делаются декоративными камушками на дне ручья. Володю пошатывает, ведь он стоит на километровом шесте, который под ветром сильно отклоняется в стороны. Повело вбок, назад, но шест гибкий, возвращается обратно, Володя посмеивается: главный трюк еще впереди. Вот рядом с ним Дед Мороз-Заратустра, похожий на Иеронима, святого из пустыни. Расхристанный, с красным носом, слезящимися бессонными глазами, с растрепанной бородой и с мешком за спиной. В мешке что-то шевелится. Наверное, человеческие души. Дед Мороз смотрит на Вову и тихо плачет. Аванесов, маленький, как обезьянка в камзоле, держит перед собой подушечку, которую протягивает Вове, на ней дирижерская палочка. Володя только отмахивается. Ему сейчас важно удержаться на канате. Вот он перед ним, подвешенный над толпой и натянутый куда-то в серую тучу. Ему бы хотелось рассказать о свободе, о том, что плевать он хотел на весь ваш вечер, на то, что наступает год желтой земляной колбасы, что есть же вещи посерьезнее женского голода колбасы, что тайна в том, чтобы взять кнут и по-ницшеански всех вас выпороть. Но этим же не модно заниматься в наши дни, нецелесообразно этим увлекаться, говорите вы. Вот и Дед Мороз подтверждает. Тот смотрит с осуждением и кивает. Да разве вам это интересно? Нет идеалов, нет тайн. Это же смешно! Этот ваш недоаспирант, недокандидат Аванесов, недонатянутый канат над пропастью, который постоянно жалуется, притворяется в своем страхе...

Это все Володя пока только готовится произнести. Надо лишь вдохнуть побольше воздуха. Но как это сделать, когда столько вышил... Тяжело, очень... Комната под ним пошатнулась, и он побежал-побежал по канату, чувствуя его упругость и сбалансированную силу, которую он не должен покидать, иначе из своего положения настоящего героя превратится в выскочку. Это он только для виду произносит монолог, а на самом деле идет по канату без страховки.

«Послушайте,— произносит он у себя в голове,— ну почему нам в красоте видится нечто возвышенное, сродни умным, правильным мыслям, как будто это не просто равнобедренный треугольник, а предпоследнее приближение к платоновским мирам? Почему при виде лица с пра-

вильными чертами, гармоничными, которые являются врожденными, только и всего, почему нам хочется плакать и смеяться и откровенничать, как в последний раз, как будто мы уяснили божественную мысль? Нам хочется чистоты, радости беспримесного смысла, как будто мы узрели крайнее философское доказательство, а не обыкновенную смазливую мордашку. Почему лицо какой-нибудь Моны Лизы или девушки с сережкой, вот эти якобы многозначительные взгляды Марии Лопухиной и Венеры Боттичелли — эти гипсовые, напряженные женские мордочки, этот чистейший обман, зачем они кажутся обещанием некоего философского блаженства? Приписываете человеческой самке премудрый вид, а она, может быть, устала, ее клонит в сон, ей завтра на работу или просто приуныла, ей так хочется колбаски. А у поэтов тут же начинает чрево вещать душа о «вечной женственности», о «незнакомке». Но ведь ей хочется быть гламурной мадамой, делать селфи и получать неземные лайки. Если где-нибудь во вселенной ведется учет лайков и как только в инстаграме капает очередной триллионный лайк, то на другом конце галактики просыпается какое-нибудь косматое чудовище, высыпает эти лайки себе в пасть и снова заваливается спать. Не кормите лайками женское тщеславие, это всего лишь чудовище вроде космической черной дыры, это бабские выходки.

Смотришь на меня, Иванова и, конечно, теперь понимаешь, насколько ты была и есть глупа всю свою жизнь, и что твоя миленькая, уютненькая красота — что-то вроде местной достопримечательности. Так некоторые люди, которые недавно начали смотреть религиозный телеканал, уже себя и святыми считают. Детка, очнись... о тебе, может быть, и вспоминать-то будут только в связи со мной...

Эээх, вы... говорите,— он начинает простодушно, наивно философствовать. А он на самом деле философствовать только что бросил, потому что такой невероятной, настоящей, подобной той, которая была в юности, такой напряженной внутренней жизни у него больше никогда не будет...

Детка, очнись... о тебе...»

Тут Вову потихоньку сволакивают со стула, заминают его неловкое выступление, напяливают на него шапку, и он, пошатываясь, идет над комнатой и выходит через окно с бокалом искрящегося звездами шампанского.

«Спасибо всем за инфоповод...»

Был ли это тот самый реализованный «теософский перекресток», к которому Володя вновь вернулся через несколько лет и на котором он произнес свое признание, закрыл наконец-то гештальт, стал самим собой, — неизвестно. Ему хотелось освободиться от давившего его несколько последних лет чувства своей ущербности и невыносимости ее, весталочки, превосходства над ним, превосходства, которое он сам создал, как будто она все это время была изолированным от божества нимбом, который Володя носил в своем воображении и примеривал к остальным женщинам. А, оказывается, нимб был, собственно, воображаемой лампочкой, ярким слепым пятном, полученным от световой любовной вспышки. Стихотворение, которое Володя читал факультетским поэтам, которое напечатали в лирическом альманахе, даже его одно четверостишие, банальное, пустое, стремящееся как можно быстрее выскочить из памяти, словно пузырек воздуха на поверхность, вот что он вспомнил и вот что рассказал, стоя на стуле, вместо длинного внутреннего монолога. Прыжок на месте, а не смертельный пробег по канату. Пустой, неизвестно откуда всплывший стихок, произнесенный ночью перед Дедом Морозом, гостями и Ивановой:

*Десять любовей спустя,  
Я вспоминал о судьбе,  
Образ твой прежний неся  
И возвращая тебе.*

И именно это необходимо было сделать. Банальными словами о банальнейшей из весталок.

Володя идет посреди миллиона шумов, людей, суеты, за пределами которых еще будут в жизни звезды, неизведанные галактики, летящая в пустоту секунда осознания собственного бессилия и приземление в новогоднюю ночь полную миллиарда одиноких снежинок кружатся в льдинке фонаря как его собственное одно в ночь ночество и бездны заглядывающих в тебя окон лиц изгибающихся проспектов в тебя пока ты стоишь с шампанским перед беззвучным телевизором пьешь за наступление очередного вечного возвращения.



ОТ ПУБЛИКАТОРА ПОВЕСТИ ЛЬВА ПРЕМИРОВА<sup>1</sup>

В нашем семейном архиве хранятся два доселе не опубликованных сочинения Льва Михайловича Премирова (1912–1978): авторская рукопись повести «Записки о бывалом и небывалом» и «Современный роман», перепечатанный моей матерью на машинке.

В 1934 году Лев Премиров, студент-живописец, сын прозаика Михайла Львовича Премирова, был арестован по доносу сокурсника и в 1935-м осужден на шесть лет по политической 58-й статье. Затем — новый приговор и в общей сложности 17 лет пребывания в лагерях. После освобождения ему было позволено поселиться в Караганде. Туда же была сослана семья моей матери.

В период хрущевской оттепели мой дед с семьей вернулся в Москву, Лев Премиров в 1964 г. был реабилитирован. В первой половине 1970-х с Премировым переписывался мой отец. Именно тогда Лев Михайлович передал моим родителям с оказией рукописи повести и романа.

Из его дневника: «Всё, что здесь изображаю и описываю в меру своих слабых сил, — святая правда. Это наш родной Освенцим, это наше inferно, наш ад наяву. Не сомневаюсь, что всё это может повториться, но если это будет, то будет еще ужаснее, еще бесстыднее и в более грандиозных масштабах. Ибо человек почти не изменился, и любое воспитание есть лишь тонкий наносный слой почвы над тысячелетними пластами эгоизма, равнодушия и холодной жестокости... И пусть рука моя помимо воли передаст ужас, передаст то невообразимое и неопишное, что скрыто под словами “тюрьма” и “лагерь”».

В повести «Записки о бывалом и небывалом» (1972–1973) — точные детали лагерного быта, но ее нельзя отнести к жанру документальной лагерной прозы. Это антиутопия, вобравшая духовные искания русского интеллигента, который обращается к Пушкину и Достоевскому, осмысливает достижения науки XX века и квазимистический опыт. Отождествляемый с автором герой пытается нащупать «развернутую теорию развития», которая объединила бы пространственно-временные законы с механизмами осознания человеком своего «я», а также с принципами устройства той гипотетической реальности, пропуском в которую служит вдохновение и где возможна материализация вообразимого.

<sup>1</sup>В подготовке текста к публикации принимали участие Ирина Калущина и Дмитрий Воевода.



Перед нами предстает образ будущего избыточного «рая», где «*атомизация масс достигла степени, исключающей образование коллективов и коллективные действия*». Один из аллегорических персонажей повести — Великий Ворон, глава тамошней правящей мафии, — старик с худым аскетическим лицом и ледяными глазами, в драматический момент истории покрывающий Землю радиоактивным пеплом. Герой бросает ему в лицо: «...*Вы окружены атмосферой такого ужаса, который исключает всякую попытку критики ваших действий, о борьбе же с вами никто давно и не думает. В чем же ваша мудрость? Человечество под властью "воронов" дошло до глубочайшего падения, оно превратилось в стадо кретин...* Я начинаю думать, что "мудрейшие" не только не мешают всеобщему растлению, а всячески его поощряют, что цель вашей мафии — как раз и есть это растление». Для Великого Ворона позиция героя — анахронизм: «*Встречали вы людей, жаждавших другой жизни, стремившихся восстановить забытые ценности... философские и научные поиски, политическую борьбу?*» Сюжет повести изобилует неожиданными поворотами, ее социальная философия далеко не тривиальна, а в условности повествования есть что-то воннегутовское. «Чудо? И да, и нет» — суть авторского взгляда на мир. В более легком жанре это был бы китч, но здесь всё слишком нешуточно и оплачено страданием.

«...*Ищущий дух всегда находит то, что ему истинно нужно, но лишь тогда, когда созрел для этого*» — вот единственно возможная, по Премирову, формула прогресса.

Павел ЧЕБОТАРЕВ,  
доктор физ.-мат. наук

Лев Премиров

ЗАПИСКИ О БЫВАЛОМ  
И НЕБЫВАЛОМ<sup>1</sup>

*Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается.*  
Екклесиаст

*Эпоха, когда вновь открыт в недрах тел и словно бы за пределами реальности древний хаос, когда наступает, быть может, гибель души, и само Зло под угрозой, ибо даже смерть становится всего лишь одним из статистических свойств «человеческого материала» и методы дьявола представляются устаревшими.*

Поль Валери

*Всегда в одиночестве, чаще всего безмолвная, наверху высочайшей, последней башни, Надежда глядит по ту сторону тела и разума.*

Поль Валери

*И увидел я новую Землю и новое Небо, ибо прежние Небо и Земля миновали, и моря уже нет... И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.*

Апокалипсис

### ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

Чудодейственное вещество открыл не я. Да и как я мог его открыть, обыкновенный человек, знающий физику и химию в пределах незавершенного институтского курса, никогда до этого не увлекавшийся лабораторной работой!

---

<sup>1</sup>Журнальный вариант.

В страшную голодную зиму 1942 года, в закопченном холодном лагерном бараке, лежа на верхних нарах, ученый академик поведал мне о своем великом открытии и заставил наизусть затвердить сложную формулу. Боясь забыть, я после смерти профессора выколол ее на руке. Она и сейчас видна, эта наколка, хотя знаки сильно поблекли и расплылись за прошедшее тридцатилетие.

Вещество, открытое профессором, не относится к группе так называемых галлюциногенов, действие которых на мозг привлекло в последние годы внимание нейрохирургов и психологов. Галлюциногены очень подходят по химическому составу к веществам, служащим пищей для нервных клеток мозга. В результате сходства нервные клетки путают галлюциногены с этой пищей и легко их усваивают, но так как состав заменителей все же отличен от их обычной пищи, происходят нарушения психики, возникают галлюцинации, представляющие интерес для психиатров и всех, кто изучает нервную деятельность.

При жизни профессор не успел рассказать мне механизм действия своего чудесного вещества (ЧВ, как я его буду называть), и поэтому я построил собственную гипотезу ЧВ.

Дело в том, что, насколько я понял из некоторых журнальных статей, хотя галлюциногены и вызывают у отдельных людей идеи и переживания, сходные с теми, которые присущи сознанию при воздействии на мозг ЧВ, разница между тем и другим огромная.

За счет проникновения в сознание отдельных, разрозненных фрагментов ощущений и представлений, свойственных высшей ступени мозговой деятельности, галлюциногены нарушают нормальную работу нашего обычного мышления, искажают ощущения, вызываемые окружающей действительностью, разрушают связную картину. Таким образом, мозг за счет осознания некоторых высших истин, теряет логическую форму мышления. В общем, галлюциноген повышает активность некоторых участков коры головного мозга за счет подавления других участков; мозг, приобретая в одном, теряет в другом.

Я полагаю, что ЧВ действует по иному принципу. Оно не ослабляет обычную деятельность мозга, не искажает ее и вместе с тем усиливает ту функцию, которая находится у нас в недостаточно развитом состоянии, именно, функцию воображения. Проникая в нервные клетки, ЧВ действует как фермент, усиливающий во много раз эту способность, и вместо обрывков, бессвязных картин, создаваемых галлюциногенами, позволяет нам строить другую реальность, не менее логичную и закономерную, чем

окружающая нас, такую же яркую, хотя часто такую же неожиданную, но так же обусловленную железной необходимостью и закономерностью, как и реальный мир, с его законами природы и с его случайностями.

Давно замечено, что мозг гения способен создавать, исходя из двух-трех простейших предпосылок, сложнейшие построения и гипотезы, не пользуясь экспериментами, и через некоторое время новые опыты и открытия доказывают правильность идей умершего гения, подтверждая этим, что человеческий мозг на своих вершинах способен творить воображаемую реальность, полностью совпадающую с реальностью природы. Поэтому пережитое мной в воображении путешествие в мир будущего имеет для меня не меньшую истинность, чем пережитое в действительности. Я думаю, что мое описание путешествия — одна из возможностей, и ничто не может опровергнуть утверждение, что эта возможность станет реальностью, и апокалипсис осуществится.

Все зависит от того, какие первоначальные предпосылки лягут в основу создаваемой творческим воображением истории. Я думаю, что другой человек, с другим жизненным опытом, с такой же логикой построит резко отличную от моей модель будущего, вероятно, менее драматичную и более светлую, без ужасов и катастроф, и она так же окажется предвидением возможного хода событий, как и моя.

ЧВ лишь усиливает нашу способность прогнозировать будущее и прошлое, оно обостряет наш мозг, и мозг начинает работать с железной логикой и бесстрашной свободой самой вечной природы, сливаясь с ней, с ее неисчерпаемой творческой волей. Правда, ЧВ усиливает наши способности временно, за счет стремительного старения нервной системы и всего организма.

Путешествие в будущее стоило мне дорого. Я вернулся из него седым стариком, не способным уже на новые приключения, и во мне осталось сил лишь на то, чтобы поведать о пережитом. Это быстрое одряхление доказывает, по-моему, реальность впечатлений, ибо сила переживаний была такова, как если бы они были истинными.

Тогда наш разговор с профессором начался с его вопроса:

— Как думаешь, коллега, хорошо бы иметь разрыв-траву, разбивающую все двери и размыкающую стены?

— Еще бы! — ответил я.

— А еще обиднее, когда знаешь, где она находится, причем близко, и не в силах ее взять, — сказал профессор.

Я удивился серьезностью его тона.

- Шутите! Где же она?
- В моей лаборатории, коллега.

После этого профессор рассказал о своем открытии, о действии ЧВ на мозг, о том, что его обладатель может не опасаться ничего. Никакие стены и оковы не в силах его удержать. Крылья мечты, не менее могучей, чем окружающая действительность, унесут его во все времена и все пространства.

У профессора была своя теория о развитии животного и человеческого сознания, он связывал это развитие с развитием представлений о времени и пространстве и считал, что творческое воображение и есть зачаток осознания четвертого измерения, а вовсе не беспочвенная мечтательность, лишь случайно совпадающая с реальностью, как мы привыкли думать. Но сначала о самом профессоре. Пусть его образ оживет снова в памяти, это поможет мне лучше вспомнить его речи и его записки, которые у меня отняли.

1942-й год. Сейчас у нас 1970-й. Голод тогда был везде: и на воле, и в лагере. Мы ходили на работу, на каменный карьер, и никто на работе не умирал, умирали ночью, в бараке. Проснувшись, я часто видел с верхних нар полотнояные носилки и двух «помощников смерти», несущих высохшее, похожее на мумию, легкое, как перышко, тело.

Среди зимы прибыл этап, человек двадцать, и с ними профессор. Я сразу его выделил: он был на голову выше других, не горбился, не бросился с мороза к железной печке, слабо тлевшей посреди барака, а спокойно стал прохаживаться вдоль нар, задумчиво поглядывая вокруг. Вскоре к нему пришла посылка, единственная посылка за всю зиму, никто из нас их давно не получал.

Мы были соседями по нарам, он поделился со мной. Роскошное пиршество! В лагерях своя этика, и я не стеснялся — отрезав толстый ломоть от белой булки, накрывал его таким же толстым ломтем ветчины, а сверху слоем масла. В заключение мы напились настоящим кофе с печеньем. Посылка была солидная, оставшиеся продукты сложили обратно в ящик, и я посоветовал профессору подсунуть его под голову, но и это не помогло, ящик к утру исчез. В тех условиях потеря посылки была трагедией, но профессор остался невозмутим. Я не заметил ни малейшего волнения, гнева или сожаления, и это меня поразило.

— Да вы настоящий философ! На вашем месте я, наверное, сошел бы с ума, — сказал я.

Помолчав, он спокойно спросил:

— Разве это помогло бы?

С этого дня мое уважение к старику неизмеримо выросло. В тот вечер, когда зашел разговор о разрыв-траве, профессор спросил:

— Скажите, слышали вы или читали где-нибудь о четвертом измерении?

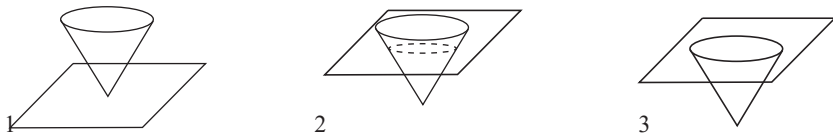
— Читал немного.

— Так вот: ЧВ настолько усиливает наше сознание, что мы начинаем воспринимать окружающее с точки зрения четвертого измерения.

— Как это понять? — спросил я.

— У вас найдется клочок бумаги и карандаш?

Я вытащил из «зачетки» огрызок карандаша и микроскопический самодельный блокнот. Старик что-то в нем начертил и подал мне. Вот что я с трудом рассмотрел при слабом свете:



— Это конус, проходящий через плоскость, — сказал я, наконец.

— Именно. Будь вы двухмерным разумным существом, живущим на этой плоскости, вы воспримете прохождение конуса как изменяющуюся во времени плоскую фигуру, то есть в первый момент как пятнышко, затем как растущий круглый диск, который достигнув предельного размера, вдруг исчезает.

— Но где связь... — сказал я.

— Прямая связь. Вообразив двухмерный мир на плоскости и разумного наблюдателя, живущего на ней, не знающего о третьей координате, о высоте, вообразив, что предметы нашего мира пересекают под разными углами эту плоскость, мы по аналогии можем представить трехмерный мир, как некую сверхплоскость, пересекающуюся потоком вещей из четвертого мира, и сделать соответствующие выводы.

Я начал что-то соображать.

— Понятно! Можно представить сверхконус четвертого измерения, пересекающий наш трехмерный мир, и этот конус покажется нам маленьким, потом начнет расти, и вдруг исчезнет?

— Совершенно верно с поправкой, что мы воспримем проекцию

четырёхмерного конуса на наш мир не в виде плоского диска, а в форме объёмного шара.

Взяв блокнотик, он нарисовал под всеми тремя рисунками ещё три рисунка.



— Вы уже поняли, что постоянная, неизменная геометрическая трёхмерная форма, проходя через плоскости двухмерного мира, предстанет перед тамошним наблюдателем, как изменяющаяся по времени форма, как процесс, протекающий во времени.

Старик сделал паузу.

— И так же точно неизменную и постоянную четырёхмерную форму мы в нашем мире воспримем как непрерывно изменяющуюся во времени трёхмерную форму? — догадался я. — Ну и что же?

— А вот что: человек четырех измерений, пересекая трёхмерное пространство, воспринимается нами как изменяющаяся во времени форма: вначале как зародыш, потом ребенок, юноша, мужчина, старик. В четвертом мире он неизменен, в его форме сосуществуют постоянно все формы, все стадии жизни, от рождения и до смерти.

— Где же эти четырёхмерные люди? — спросил я.

— Мы и есть эти люди, но пока не видим и не ощущаем этого.

— Как? Мы четырёхмерные?

— Не только четырёхмерные, а пяти, возможно, и шестимерные. Окружающая нас Вселенная многомерна, ее трёхмерность — временная иллюзия.

— Фу, черт! — сказал я. — Занятно! И все-таки ваш конус и человеческий организм слишком далеки друг от друга, чтобы подгонять их к одной схеме.

— Лишь с первого взгляда. Не забывайте, что в мире существуют два компонента: пространство—время и масса—энергия, так по крайней мере по Эйнштейну, и несмотря на простоту конуса и сложность человека, между ними нет принципиальной разницы.

— Но раз жизнь человека в четвертом мире, раз там она с ее про-

шлым, настоящим и будущим существует как вечное настоящее, выходит, можно узнать, что с нами было, и можно предсказать будущее? — подумал я вслух.

— Совершенно верно, в четвертом мире минута, когда вы выходили утром из барака на работу, со всеми последующими моментами, существовала, и будет существовать, остается проследить эти моменты в обратном направлении, по-нашему, в обратном времени. Значит, с помощью ЧВ вы могли бы увидеть свое прошлое, и даже будущее?

— Конечно, но двигаясь в направлении будущего с большей скоростью, чем свет.

— Как это возможно?

— Воображение вне времени и пространства, и это воображение, развившись, заслонит от нас несовершенную нынешнюю реальность, оно станет подлинной реальностью для нас, и не только для нас, но и для окружающей природы, ибо из воображения превратится в действительность, то есть объективируется.

— Да, это почище цыганского гадания, главное, все стройно объясняется!

Профессор пошевелился.

— Не смейтесь над цыганским гаданием. Большинство из гадалок обманщицы, но попадаются некоторые, обладающие зачатками четырехмерного зрения.

— Интересно было бы узнать свое будущее! — мечтательно сказал я.

— Если бы я даже его узнал, то не рассказал бы вам.

— Почему? Думаете, испугаюсь?

Старик замолчал.

— Как бы это сформулировать... Видите ли, существует этика, не одобряющая использование преимуществ четверного мира по пустякам, из праздного или эгоистического любопытства, это грозит тяжелыми последствиями.

— Божьим гневом, мезтью судьбы?

Профессор медленно повернулся ко мне.

— Жалкие человеческие представления, подменяющие закон возмездия, единый для всех измерений. Между прочим, этот закон действует и при использовании ЧВ. По окончании воздействия ЧВ на мозг наступает депрессия, несравнимо более тяжелая, чем алкогольное или наркотическое похмелье. В зависимости от силы и длительности



пережитого в этом состоянии, вы можете преждевременно состариться, лет на двадцать, и преждевременно умереть.

— Значит ЧВ — яд?

— Конечно. Но этот яд дает не иллюзорное, а подлинное сверхчеловеческое бытие, вы постигаете связь прошлого с будущим, приобретая власть над временем и материей, какую не даст вам никакая трехмерная наука и техника.

— Скажите, как вы открыли эту штуку? — спросил я.

— Во всяком случае, не путем сознательного поиска. Случайно, как швейцарский биолог открыл ЛСД. Вначале я принял ЧВ за новый вид наркотика.

— Ваш четвертый мир очень похож на Платоновский мир вечных идей, — сказал я.

Профессор отрицательно покачал головой.

— С точки зрения нашего трехмерного сознания, там действительно исчезнет время в нашем понятии, зато появляется свое сверхвремя, опять становящееся пространством, пятой координатой в пятимерном мире.

— Все дело в объеме сознания. Развиваясь, сознание животного вначале удерживает в себе лишь одну координату пространства, что соответствует уровню червя или улитки, затем осознаются две координаты в их взаимосвязи, это свойственно сознанию позвоночного животного, наконец, три координаты одновременно, что свойственно человеку.

— Значит, и без ЧВ человек сможет в дальнейшем ходе развития осознать четыре координаты? — спросил я.

Старик кивнул:

— Конечно.

*Полностью текст можно прочитать  
на сайте журнала «Новая Юность»  
[www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)*



Т а т ь я н а   Д а г о в и ч

МАЛЕНЬКИЕ ВЕРВОЛЬФЫ

Несколько дней спустя они вернулись. Ладно, сказала я им, заходите. Что делать.

Оба вошли, но замялись в прихожей. Я сообразила, что они должны быть голодными, кивнула в сторону кухни. Маленькие вервольфы тут же метнулись на кухню, но я, следуя за ними медленным шагом, в своих слетающих со ступней мохнатых тапочках, в своем толстом халате, вспомнила: «Не туда, не туда! В ванную марш! Сначала — руки...»

Маленькие вервольфы подчинились, упрямо опутив темные, стриженные ежиком головы (прикинула: одному должно быть девять, другому одиннадцать, хотя выглядят почти как близнецы). Глаза старшего зло блеснули исподлобья, но я лишь усмехнулась — мысленно.

На кухне удобнее возиться без них. Закричала, чтобы пробиться сквозь плеск воды: «С мы-ы-ы-лом!» Предложить им разной еды на выбор я не могла, в конце концов, мы ни о чем не договаривались, я была не в курсе, что они вернутся. Но какой-никакой суп в холодильнике нашелся — разлила по мисочкам, подогрела в микроволновке. Нарезала хлеб.

К хлебу маленькие вервольфы не притронулись, зато суп хлебали жадно, сгорбившись над столом, нависая над мисками, чтобы сократить путь ложки, — только белые зубы мелькали. Я стояла, опираясь на столешницу встроенной кухни. Не умею как-то специально говорить с детьми, спросила, как взрослых:

— Что там в лесу?

Младший вообще не обратил внимания на вопрос, а старший с полным ртом проворчал нечто невразумительное, я и не разобрала: «хорошо» или «плохо». Может, так лучше. Взрослые начали бы детально пересказывать, настаивая на преимуществах леса перед городом — бросая многозначительные взгляды и неумелые, оттого грубые намеки. Провела рукой по лбу — волосы лезут в глаза. Собрала пустые миски, зная, что маленькие вервольфы по-прежнему голодны: мои супы с горошком, кукурузой и картофелем, с морковью и луком, но без мяса — они не насытят вервольфа. Мальчики

медленно вышли из кухни, а я задержалась у окна. Шел дождь. Лес чернел вдалеке.

Сполоснула за ними посуду. Происходящее немного нервировало. Мне нужно работать. Когда работаешь дома, никто не хочет понимать, что ты не отдыхаешь, и — нет, у тебя не целый день свободного времени. Никто не принимает всерьез твои мертвые линии — приставленные к шее дедлайны, «ну ты же можешь», «ну что тебе стоит», «ты все равно дома». Нервировало? Бесило до глубины тела — так, что захотелось (однако лишь на секунду), держа маленьких тварей за шиворот, надавать им оплеух.

Нужно попросить, чтобы мне выделили офис. Но тогда — никакого толстого халата, никаких мохнатых тапочек. С семи до пяти. Вся зарплата будет уходить на клятый офис. И холодный туалет в конце коридора.

Просто я не буду заниматься маленькими вервольфами, вот и все. Пусть развлекают себя сами, пусть сидят, пока не кончится дождь, пока не уйдут.

Перешла в кабинет, раздвинула шторы — окно прямо за моим столом. Ливень хлестал и стекал, лес больше не был виден — едва угадывался (если знаешь, что он там). Не выгонять же их в такую погоду. Включила компьютер. Выстраивала линии развития событий. Погрузилась. Звон и стук. Капли размером с горох разбивались о подоконник.

Маленькие вервольфы последовали в кабинет за мной. Поначалу стеснялись, старались оставаться тихими и не отвлекали меня — даже наоборот, сливавшиеся с шумом дождя их ворчание и шепот помогали работать. Потом разыгрались за моей спиной: бились лапами, скалили клыки, опрокидывали друг друга, глухо рычали и тявкали. Кружились, гонялись друг за другом, ловили за хвост.

Я не заметила, как старший, мальчиком, подошел ко мне, и вздрогнула, когда он нерешительно похлопал меня по плечу. Обернулась.

Маленький вервольф стоял опустив голову, наставив на меня свой упрямый ежик, пряча прозрачно-зеленые глаза.

— Бабушка передавала тебе что-то... — проворчал он.

— А?

— Что тебя ждут в лесу. Тебе давно пора...

Снизу, от живота, во мне поднимался гнев. Но я смолчала. Сглотнула.

— Скажи бабушке... что мой дом в городе. Я. Живу. В. Городе. — Добавила спокойнее: — Загляну, когда будет время.

Он кивнул и с облегчением вернулся к брату. Сел на пол. Второй взмахнул хвостом и весело прыгнул толстыми передними лапами ему на плечи. Но старший не хотел снова волком, а так — один в шерсти, другой в коф-

те — игры не получалось, и младший, какое-то время поупрямившись, сдался. Теперь они забавлялись маленькими, бог знает где добытыми машинками, урчали и рычали все громче и, нужно признать, потихоньку начинали мешать мне. Раз уж отвлеклась, я заварила себе чая, намазала тосты джемом — естественно, и маленьких вервольфов пришлось угостить. Они насорили, запачкали ковер. За чаем вернулась к четвертому справа каузальному ответвлению. Волчата, дети — теперь они визжали и подвывали, гонясь друг за другом, каждую секунду меняя природу, на мои замечания сначала сыпали — ненужными мне — оправданиями и взаимными обвинениями («А что я? Это он!»), потом вообще перестали реагировать.

В общем, вышли из-под контроля. Но на самом деле это не моя обязанность — приводить их в чувство. Я пыталась продолжать с четвертым ответвлением, хотя в таком гае дело продвигалось черепашим шагом — постоянно допускала ошибки, возвращалась, исправляла и в итоге не была уверена в схемах и выводах.

Закончилось все тем, что в своем раже маленькие вервольфы опрокинули трубу новостей, она треснула, и новости полетели все сразу — мне в рот, забили хвостами в моем горле. Из зон военных действий, из запертых квартир, из лабораторий, из подвалов, из темных скверов. Я схватила за шею. Из-под бомбардировок, из-под химатак. Вырвать из себя живот.

Едва успев заткнуть трубу мохнатыми тапками, я ринулась в туалет. Меня рвало новостями. Маленькие вервольфы испугались, затихли. Снова застенчивые, робко жались к стене в коридоре. Перешептывались. Прятали хвосты между ног. Меня рвало девять часов подряд. Сначала полная жесь была — выворачивало, и казалось, что все уже вышло, и меня рвет мной самой. Желчь и все такое. Но часа через полтора, как ни странно, полегчало, рвотный рефлекс повторял сам себя, я успевала вдохнуть, выдохнуть и хлебнуть воды между позывами, в общем, освоилась с ситуацией.

Рвота прекратилась ночью. Ливень прошел, было очень тихо. Прополоскав рот и скинув запачкавшийся халат, обессиленная, голяком протаскилась в спальню. Ноги дрожали. Посмотрела в зеркало: до чего я худа без халата — ребра торчат. Впалый живот — еще бы, внутри не осталось ничего живого. Впалые щеки. А ведь в халате была такая объемная, защищенная и настоящая. Серьезная. Но мне больше не плохо, мне стало все равно, на все и всех плевать, и я чувствовала себя в каком-то смысле очищенной и в каком-то смысле мертвой.

Все бы нормально, однако еще один день прошел, а я ничего не сделала. Работа стоит. Дедлайн — смертельная линия — приближается. Надо было

рассчитывать, изменять планы и подгонять их под ситуацию — но я и не пыталась: когда голова так гулко-пуста... Не успею, найду за мертвую линию — меня умертвят (инъекция, веревка?). Но сейчас и это все равно. Кровать, кровать. Одеядло манило, словно рай. Я укуталась, закрылась, защитилась, вцепилась, влилась в подушку. Сон втянул меня, как пылесос перышко, и темнота оказалась мохнатой.

Проснулась я от боли. Скинула их с себя с криком, одного успела ударить — так, что ладонь запекло. Маленькие вервольфы — совсем забыла о них. Конечно, ни мой суп, ни мои тосты с джемом не могут утолить их голода. Включила лампу на тумбочке и увидела, что кровь стекает от локтей к запястьям. Маленькие твари! Они отпрянули, сторбились и смотрели жалобно, со страхом. Моя кровь капала с их клыков.

Возможно ли отказать детям? Ладно. Я молча протянула руки вперед. Маленькие вервольфы радостно оскалились.

Утром опять пошел дождь. Техник, починивший трубу, рекомендовал быть осторожнее и ушел. С чашкой кофе в перебинтованных руках я долго стояла у кухонного окна и смотрела вдаль. Растягивала эту чашку, чтобы формально как можно дольше не заканчивать завтрак и не приступать к работе. Куталась в чистый — из шкафа — толстый халат. Стопы в теплых (гладких, мохнатые выстирала, еще мокрые) тапочках.

Лес, в котором скрылись сытые вервольфы, неподвижно темнел вершинами, пропадал и появлялся за миллиардами капель. Думают, мне не хочется туда? Под сень, под черные ветви, где запах и звук сливаются: мое дыхание, дух хвои, дух зверя, соль, воля, прелая кора, вода... Думают, не каждое утро мне хочется броситься, бросить все — и в дверь или в окно? Думают, моя кровь не чернеет, когда я смотрю в ту сторону? Чашка вздрагивала в такт мыслям.

Пустая. Поставила ее на мойку, сдернула ненужные бинты: на мне заживает как на собаке — я из леса. Только розоватые пятна новой кожи на новой плоти пугают свежестью. Надо идти работать, пока никто не мешает. Мертвая линия, дедлайн. Переступившие линию остаются без работы и без жизни. Но время есть: маленькие вервольфы не вернутся раньше, чем через несколько дней.



В а д и м М у р а т х а н о в

№ 31

•

Первым учителем Кеша Задворского в постижении искусства слова был Александр Абазреев. Личность не слишком известная в столичных литературных кругах, но пользовавшаяся непререкаемым авторитетом среди творчески одаренной молодежи Ахметьевска.

«Бродский чудило, — небрежно ронял Абазреев сквозь косматую бороду, и юные гости, густо облеплявшие столик на тесной кухне, на несколько секунд приоткрывали рты. — Я давно ему говорил, — продолжал он, выдохнув облако папиросного дыма, — хрена ли же ты, старик, со своим талантом...»

Однажды Кеша засиделся у Абазреева и прозевал последний троллейбус. Хозяин предложил переночевать у него. Ночи в ту пору стояли морозные, и Кеша согласился, благодаря чему впервые получил возможность лицезреть Абазреева напившимся. Пошатываясь на скрипучей табуретке, учитель внушал: «Картинка должна возникать при чтении стихов, кар-тин-ка! Всасываете, обалдуи?» После чего махал рукой, отчаявшись донести до начинающих литераторов свою мысль.

Перед отходом ко сну Абазреев обвел поредевших за кухонным столиком собеседников мутным взглядом и уперся им в Кешу. Указав пальцем, плаксиво пожаловался: «Я не могу его ударить. Скажите, ну почему я не могу его ударить?»

Когда хозяин уронил лицо на клеенку и последние гости разбрелись, Кеша неуверенно лег на покосившийся диван, ножкой которого служили несколько томов «Библиотеки всемирной литературы». Заснул не сразу — все пытался представить, в каком направлении могло бы развиваться творчество Бродского, если бы он в свое время последовал советам Абазреева. Встав до рассвета, Кеша осторожно снял с груди тяжелую руку наставника, храпевшего рядом, щелкнул замком и шагнул в темень декабрьского утра. Именно в этот день в нем окончательно созрела мысль о переезде в Москву.



Поступление в столичный физико-технологический институт им. Прянишникова ознаменовало собой новый шаг Задворского на литературном поприще. Когда его однокурсники организовали лито, он, конечно же, не мог остаться в стороне.

Роль председателя объединения взял на себя староста курса Павел Медведев. Он объявил о выпуске альманаха «Призвание». Это издание, по мысли инициатора, призвано было положить конец диктату замшелых авторитетов и навсегда изменить литературную карту России.

«Участвуешь? — подошел Медведев к Кеше. — С тебя пятихатка. А как ты хотел: верстка, дизайн, типографские расходы... В принципе, дело твое. Очень скоро народ начнет строиться в очередь, чтобы в “Призвании” напечататься. Тогда пятихаткой уже не отделаешься».

Ранее Кеша несколько раз показывал Медведеву свои стихи. Тот морщился: «Здесь у тебя... понимаешь... как бы... дискурса нет». Поэтому теперь Кеша испытывал смешанные чувства. С одной стороны, ему было лестно, что председатель лито наконец оценил его творчество. С другой — смущала необходимость платить за публикацию. Не исключено, что Кеша Задворский отказался бы давать стихи в альманах и дебютировал в каком-нибудь другом, более именитом издании, но все решило участие в этом проекте Инги Ледагиной с третьего курса.

Читая доклад или стихи, длинноволосая Инга умела с вдохновенной рассеянной улыбкой смотреть куда-то поверх голов слушателей, как будто то, что она читала, относилось к более достойной и никем, кроме нее, не различаемой аудитории. И Кеша готов был полжизни отдать за то, чтобы взгляд Инги остановился на нем, еще ничем не примечательном, но уже многообещающем поэте.

Есть основания считать, что Инга Ледагина послужила прототипом женских образов в ряде произведений Задворского. Это, в частности, Ирма Безответова в повести «Неразлучная родня» и Инна Деягина в романе «Следующая станция — Юность».

В альманах Инга предложила эссе о четырехстрочном стихотворении Медведева:

Внимание, поезд! Из Владимира.  
Внимание, поезд! Из Владимира.  
Внимание, поезд! Из Владимира.  
Внимание, поезд! На Москву...

«В контексте современных речевых практик, — писала Инга, — представляется нетривиальным, как в данном тексте накладывается модель провинциальной картины мира на актуальный дискурс современного поэтического мышления».

Скидываться на альманах ей не пришлось. «Из всех литературных жанров, — объяснил Медведев другим авторам, — важнейшим для нас является критика».



Знакомство Задворского с заведующим отделом поэзии журнала «Мир слова» Михаилом Велемысловым большинство исследователей относят ко времени, когда будущий классик отечественной литературы и замечательный бытописатель нашего края уже завершал учебу в институте и всерьез подумывал о сотрудничестве с московскими журналами в качестве внештатного автора.

На встрече со студентами в актовом зале главного корпуса Велемыслов читал свои стихи и рассказывал о журнале. Кеша сидел в первом ряду и неотрывно смотрел на выступающего. Задворский представлял, что это он сидит сейчас на месте Велемыслова, читает стихи, отвечает на записки из зала, склоняет седую голову под аплодисменты и подписывает за столиком купленные студентами книги.

Подошла Кешина очередь брать автограф. Велемыслов взглянул на него и вспомнил: «Это же вы, молодой человек, сидели в первом ряду и так внимательно слушали? Мне понравились ваши глаза. Только с такими глазами и надо слушать поэзию. Приходите в редакцию, пообщаемся».

На следующий день окрыленный Кеша уже плутал по извилистым московским переулкам в поисках редакции. Нашел ее во флигеле старинного особняка. Заросший травой фонтан с полуразобранном круглым бассейном во внутреннем дворике словно бы подчеркивал



историческую значимость заведения. Перед самой дверью редакции сердце Задворского забилося, как на первом свидании.

В свете тускло моргавшей лампы дневного света открылся коридор, который через несколько метров превратился в лабиринт. Откуда-то издали доносились голоса. Кеша пошел на них и дважды повернул налево.

Кабинет Велемыслова был обставлен скромно. Главным его украшением служили настенные портреты классиков. «Давно уже подал заявку в секретариат, чтобы повесили Мандельштама, — посетовал хозяин. — На будущий год обещали». Над его креслом висел и сурово смотрел на Кешу лысый черно-белый Серафимович.

На рукопись Задворского Велемыслов бросил один короткий взгляд. «О стихах я сужу по первым нескольким строчкам. Вы, молодой человек, поэт от Бога, в этом нет никаких сомнений. А хотите, я покажу вам автограф Сельвинского?» Тяжело опираясь на палочку, он подошел к огромному шкафу, снизу доверху заполненному книгами, и надолго углубился в поиски, словно забыв о посетителе.

С тех пор Кеша стал регулярно бывать в кабинете Велемыслова. Он узнал массу подробностей из жизни знаменитых прозаиков и поэтов. Услышал множество баек и анекдотов, родившихся в разные годы в стенах ЦДЛ и теперь заботливо хранимых стариковской памятью. Вот только подборка Кеши, в первый же день принятая заведующим к публикации, все не выходила в журнале. Когда Задворский пытался робко напомнить Велемыслову о ее судьбе, тот отшучивался: «Молодой человек, мы же с вами для вечности пишем — куда нам спешить?»

Месяцы тянулись в ожидании. Иногда Кеша ловил себя на странной мысли: вот это и есть литературное бессмертие — старея, но не умирая, ходить с рукописями из редакции в редакцию, пить чай, беседовать о поэзии. Переживать современников и литературные эпохи, не замечая течения времени.

Впоследствии московский период биографии нашего выдающегося земляка нашел отражение в поэме «Навсегдатай». К сожалению, не всеми современниками она была оценена по достоинству, и еще до сих пор по-настоящему не прочитана столичной критикой.

Случай, послуживший толчком к возвращению Кеши на малую родину, произошел в один из декабрьских предпраздничных дней. Должно быть, почувствовав, что терпение начинающего автора вот-

вот иссякнет, Велемыслов в ответ на очередной вопрос о подборке предложил: «Поедемте ко мне, молодой человек. Поговорим о ваших стихах, над ошибками поработаем».

Скрипя свежевыпавшим снегом, они неспешно дошли до ближайшей станции метро. На сходе с эскалатора Велемыслов обернулся к Кеше и подмигнул: «Я здесь часто бегаю в это время. Лавируя между гражданами в час пик, легче сливаться с народом. Не желаете попробовать?» Прежде чем Задворский успел ответить, редактор подхватил палочку наперевес и пустился бежать. Изумленный Кеша не сразу сообразил, что происходит, и потерял драгоценные секунды. Когда он бросился вдогонку, Велемыслова было уже не настичь. Некоторое время сутулая спина еще мелькала в толпе, но вскоре окончательно растворилась среди незнакомых шапок и шуб...



М и х а и л    К н и ж н и к

## ЗАПИСНАЯ КНИГА

*Из четвертого тома*

— Вы можете найти рифму к моей фамилии? — спросил Файнберг. Мы выпивали в кафе «Дружба», было такое замечательное кафе в Ташкенте *на Сквере*. Нас было трое, и разговор шел о поэзии. Среди прочего и о том, что есть такие фамилии, к которым непросто подобрать рифму. Не дожидаясь ответа, он сказал:

— А я нашел! «Фабрик».

Игорю Бяльскому рифма не понравилась, а мне — наоборот, мне тогда нравились рифмы неточные.

В нынешних айфонах есть сервис голосовых команд, называется «Сири». Ты можешь спросить: «Сири, какая сейчас погода в Париже?» — и она ответит, или велишь позвонить кому-то. Как и все голосовые сервисы, этот не очень совершенен, не всегда распознает слова, в ответ несет околесицу, то есть вполне воссоздает образ дамы туповатой и самоуверенной. Я слышал, как выведенный из себя Адам закричал: «Сири, дура, убить тебя мало!»

— Вы нуждаетесь в срочной психиатрической помощи. Вот адреса поблизости от вас... — невозмутимо ответила она.

Еду тут недавно, решил поговорить со старым, еще с институтских времен, другом.

— Позвонить: Жорик Каценович, — прокричал я «Сири», громко, внятно и в именительном падеже.

Она ответила:

— Результаты поиска по запросу «Жорик как все, но ВИЧ»...

Дальше я не слушал.

— —

Сталин с неумолимой периодичностью вылезает из могилы. Я помню подростком, как во время показа фильма «Посол Советского Союза» с Юлией Борисовой в главной роли, шепот-шорох прошел по залу, когда на экране появились кадры хроники со Сталиным. То был год 69–70-й, народ уже успел стосковаться.

Потом это повторялось несколько раз с разной степенью интенсивности.

Сейчас — один из таких витков. И снова возникает мысль: Сталин похоронен, но забальзамирован, поэтому при необходимости его выкапывают, отряхивают, и он опять — как новенький.

— —

Приехал с лекцией профессор из Польши. Сказал, что живет в Майданеке. Я был удивлен и не расспросил его, что это: отдельный город, район Люблина?

Снова сталкиваюсь с тем, что символы трагедий на деле оказываются абсолютно реальными заштатными городками, в которых и поныне живут люди. Герника, Майданек, Дахау, Катынь.

— —

Моя планида закрутила еще один замысловатый завиток, или, как говорят на иврите, замкнула окружность.

Недолгая парижская командировка проходила в больнице им. Анри Мондора.

Больница на окраине Парижа, огромная, коек на тысячу. «Рабочая лошадка», не сияющая, кое-где обшарпанная, но аппаратура вся новая и действует. Тому, чьим именем она названа, посвящено немного: бюст небольшой и табличка с пояснением.

В моей хирургической юности имя Мондора было легендарным. Считалось высшим пилотажем обзавестись двухтомником «Неотложная диагностика. Живот». Тот, хотя и выдержал девять переизданий на русском в 30-х годах, к концу 70-х был абсолютным раритетом. А там страниц двадцать было в начале посвящено только тому, где

и как должен сидеть врач, осматривающий пациента и как он должен готовить руки. Надо сказать, что отголосок этих двадцати страниц обнаруживаю у себя и сегодня. Спокойная повествовательная манера, обороты вроде этого: «Но самые обыкновенные случаи наиболее поучительны. Поищем между ними» — просто очаровывали.

Перелет из Ташкента в Иерусалим со мной совершили два десятка медицинских книг. За прошедшие двадцать лет в доме задержались всего три: «Очерки гнойной хирургии» Войно-Ясенецкого, «Этюды желудочной хирургии» Юдина и вот, Мондор. Вернувшись из Парижа, я перечитал несколько страниц. Устарело все, конечно, но достойно уважения. И опять же — стиль. Стиль остался.

Во французской «вики» я вычитал, что он был членом четырех французских академий, включая академию Малларме, и дожил до 1962 года. То есть целый год мы с Мондором жили на этом свете одновременно.

В больнице же мне сказали, что Мондор здесь никогда не работал, что он был больше писателем и хирургическим деятелем, чем действующим хирургом. И еще, что за границей он гораздо более известен, чем на родине.

--

В свое время меня удивили приспособления Господа, создававшего птиц именно для полета: полые кости, короткий и быстродействующий кишечник. Последнее многие не раз испытали на себе.

Зачем я вспомнил про это? Просто подумалось про быстрый птичий метаболизм нынешнего сознания.

Совсем недавно внезапно умер нестарым яркий и талантливый человек. Я был совсем чуть-чуть знаком с ним. Пока я переваривал эту ошеломительную для меня новость, лента запестрела готовыми текстами, иногда немалого объема, они прославляли и проклинали: покойный был человеком неоднозначным. Предполагать, что у кого-то имелись заготовки некрологов, не приходится, смерть была неожиданной и явно преждевременной (и, к слову, я до сих пор сомневаюсь, что естественной). К вечеру лента была полна до краев. Некоторое количество высказываний появилось на следующее утро, но к вечеру стало угасать. Небольшую вспышку интереса вызвали похороны. И все — тишина. Птичка схватила свою добычу, переварила и полетела дальше.

— —

*Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.*

А.П. Чехов «Студент»

В конце февраля 1902 года Ольга Леонардовна навестила Чехова в Ялте, пробыла там пять дней и вернулась в Москву. В апреле у нее случился выкидыш. Дональд Рейфилд в своей книге, сопоставив даты, высказывает осторожное сомнение в том, что беременность была от Чехова. Ольга Книппер придерживалась не самых строгих правил, известно о ее связи с Немировичем-Данченко. Даже на похоронах Чехова она шла, опираясь на руку Немировича. Вот где была настоящая пошлость, а не в несчастном вагоне для устриц.

Выкидыш и сопровождающие его гинекологические процедуры осложнились эндометритом, воспалением придатков и тазовым перитонитом. Лечил Ольгу известный московский гинеколог Максим Штраух.

О принятых тогда методах лечения промолчу. Сто лет назад ведь всего, а звучит как каменный век, какое-то неимоверное варварство. Инъекции мышьяка. Только-только делались робкие попытки оперировать внематочную беременность, до этого женщины просто умирали от кровотечения.

Штраух лечил Книппер долго и вылечил. Она выздоровела, но забеременеть уже не смогла. Желаемого ребеночка Чехов так и не дождался.

Доктор Штраух был на четыре года старше доктора Чехова, в 1902 году ему исполнилось 46. За два года до этого у него родился сын, названный в честь отца.

Умер он раньше Чехова, не дожив до пятидесяти, от рака печени. Но и Чехову оставалось совсем немного: чуть не упасть на сцене во время премьеры «Вишневого сада», выказать желание ехать в Манчжурию военным врачом и корреспондентом, но вместо этого доехать лишь до Баденвейлера.

Сын известного московского гинеколога стал актером, играл у Мейерхольда, в Малом, в театре им Маяковского. Был народным СССР,

лауреатом Ленинской и трех Сталинских. В течение почти тридцати лет он был главным исполнителем роли Ленина в кино, из них лет двадцать — со смерти Бориса Щукина и до XX съезда — единственным, каноническим. Это в 60-х отряд экранных Ильичей был оживлен молодыми вольнодумцами в границах дозволенного.

В преклонные годы Штраух сделал большой зигзаг: оставил жену, народную артистку РСФСР Юдифь Глизер и женился (или не женился) на молодой Кате Градовой. Разница в возрасте у них составляла не какие-то стыдливые 25–30, а полноценные, весомые полвека.

Покоиться Штраух предпочел со старой женой на Новодевичьем. Екатерина Градова стала женой советской суперзвезды Андрея Миронова, родила ему дочку, тоже ставшую известной актрисой, и сыграла по-настоящему культовую роль. Радистка Кэт — вторая после Анки-пулеметчицы киногероиня анекдотов, то есть фольклорный персонаж. Непрерывная цепь, говорите? Ну-ну...

--

Рассказал Феликс Хармац.

Сговорился с приятельницей поехать на вечер «Иерусалимского журнала». Утром на телефоне мелькает сообщение от нее, видна только первая строчка: «Сегодня ночью скоропостижно скончался...» Я еду по трассе, движение напряженное, ментов — куча (*У нас в Израиле за использование телефона наказывают очень жестоко. Руку не отрубает пока, но такие штрафы дают, что иной раз думаешь, что, может быть, лучше руку.* — М.К.). Еду, психую, никак не могу посмотреть. Наконец сворачиваю в какой-то проулок, открываю. «Сегодня ночью скоропостижно скончался мой телефон, поэтому звони по номеру...»

Я позвонил и сказал:

— Запомни, предложения нужно начинать с подлежащего!

--

В юном и вполне гормонально приподнятом возрасте я тем не менее считал, что глазеть на слишком вызывающее декольте не следует, нужно отводить глаза, как от человека с винным пятном на пол-лица или на не добежавшего до туалета старика, или женщину с ребенком-

макроцефалом на руках. То есть — взглядом в упор не ставить человека в неловкое положение.

Наждачные годы славно поработали над той юной деликатностью, и сейчас я считаю, что смотреть в декольте не только можно, но и нужно, что именно для этого оно и надето (или не надето). Говорить ничего нельзя, руки нужно контролировать, но вот глазеть, зырнуть, пялиться — сколько угодно.

— —

В пору выбора и поисков жилья в той деревне под Иерусалимом, где мы сейчас и живем, наткнулись на объявление о продаже виллы, цена была весьма привлекательная, или, как сейчас говорят, аттрактивная.

При ближайшем рассмотрении вилла оказалась небольшой двухэтажной квартирой, и цена ее теперь выглядела явно завышенной.

— Зачем ты написала «вилла»? — спросили мы экзальтированную хозяйку, когда та устала описывать достоинства своей недвижимости.

— Для меня она как вилла, — ответила хозяйка.

Я вспоминаю о ней каждый раз, когда мне пытаются всучить подделку под видом оригинала, ложь под видом правды, войну под видом борьбы за мир. Тогда я произношу чаще про себя, но иногда и вслух не совсем понятную окружающим фразу:

— Для меня она как вилла.

— —

Еще подростком, еще читателем журнала «Пионер», прочитал про Магеллана и оставил зарубку на всю жизнь.

Приняв участие в войне между двумя дикими племенами на стороне одного из вождей, Магеллан был убит.

Для меня это стало символом бессмысленной смерти. Нельзя воевать на чужой войне, нельзя гибнуть за то, что тебе не важно.





Алексей Колесников

В ГОСТИ К ХВОРОВУ

Таким странным был этот бегун в шортах с триколором. Казалось, что в пространство хмурого летнего утра втесался призрак, который несетя теперь сквозь неясность затянувшего парк тумана. Коротенькие белые ножки мечтали сбросить с себя вышедшие из моды белые кроссовки, а красная футболка, утопающая в ложбинке солнечного сплетенья, уже порядочно намокла и пропиталась едким потом. У бегунов на короткие дистанции такой безапелляционно вонючий пот, что неловко уловив его, хочется согнуться в унизительную позу и вытошнить легкими вобранный воздух.

Хворов сдержал приступ тошноты, убедив себя, что вонь человеческого тела ему померещилась. Невозможно уловить запах людского тлена, находясь на балконе третьего этажа шестиэтажного дома. Померещилось, да и все. Нарушение работы рецепторов, вызванное бессонной ночью. Информация, проникающая в организм через органы зрения, заблудилась спяну и метнулась в кабинет обоняния. Никто ее, дуру пьяную, там не ждал. Пошла! Вон отсюда! Стучаться надо!

Хворов проследил за удаляющейся фигурой бегуна: тот окончательно утонул в тумане и исчез, проведя символическую черту между рассветом и тьмой.

«Вот так, Анатолий Иванович, вот так. Рассвет, стало быть... Рассвет. Лег бы ты спать, чего себя мучить-то?» — размышлял Хворов, ковыряя ногтем мизинца ссадину на локте. Ему не хотелось спать. Где-то в центре его организма не унималась выпивка. Ей было тесно в Хворове. Скучно без кислорода, стоило только вдохнуть поглубже и...

Раздался резкий, противный, клокочущий звук. Кто-то ломился в дверь. Хворов шагнул в просторную комнату, оставив балконную дверь открытой. Босые ноги ощутили радость от свидания с ковром.

— Кто? — коротко спросил Хворов.

— Смерть, — донеслось из-за двери.

Хворов посмотрел на время: половина восьмого.

— Почему так рано?

— Не устраивай сцен. Я на то и смерть, чтобы удивлять.

— Удивляет жизнь, — ответил Хворов, отпирая деревянную с облезшей краской дверь.

— Ну, я войду, что ли? Убрано у тебя? — спросила Смерть, ковыряя босой грязной ногой плетеный половик.

— Уберут скоро.

— И чего ты только не съехал отсюда? Скворечник, а не квартирка. Я вот вчера к одному мужчинке деловому приходила, так он меня принимал в роскошном кабинете. И, знаешь, все у него там шик да блеск: красное дерево, да такое добротное, что хоть оставайся и живи.

— Оставалась бы, — грустно усмехнувшись, ответил Хворов.

Смерть посмотрела на Хворова и жалобно оскалилась:

— Ну, чего мы надулись? Надулись мы чего? Не рад мне!? Не рад! Ах ты, мой бедный, боишься, наверное? Жалко нам себя, да?

— Нет, — непринужденно ответил Хворов, натягивая пахнущий стиркой свитер.

Смерть схватила Хворова за руку и предостерегла:

— Не надо. Не надо свитер. Так будь! Вон какой в маечке хороший.

Хворов посмотрел на свое отражение в старинном зеркале и не нашел свой вид привлекательным: майка с надписью «Love» и вытертые до кипенного цвета джинсы. Разве что босой.

— Сразу начнем или поговорим? — толкая Хворова в бок, спросила Смерть.

Хворову стало как-то весело. Ему нравился задорный тон Смерти, однако, как только она, шаркая босыми ногами, вошла, он ощутил непонятную тесноту, такую, какая бывает во сне.

— Давай поговорим. Тебе сколько лет?

— У! — надулась Смерть. — Ну какое твое дело? Тоже мне, мужчина...

— Кстати, — перебил ее Хворов, — ты мужчина или женщина?

— Поздно думать о таких вещах, дорогуша! — грозно ответила Смерть, однако видно было, что она подсмеивается над человеком. Суровость ее была наигранной, шутливой.

Вообще Смерть вела себя так, будто она незнакомая, дурно воспитанная тетя, которой доверили малыша с грустными голубыми глазами. Хворов был терпеливым и очень смелым человеком. Его не раздражали ужимки и колкости Смерти, а ее глуповатая улыбка на мертвом, холодном лице не пугала.

— Не боишься меня, да, мой хороший? — спросила Смерть, усаживаясь боком к кухонному столу.

Хворов покивал.

— Это правильно, чего меня бояться? — Смерть почесала голую лодыжку длинной рукой. — Нужно бояться того, что будет после того, как я от тебя уйду.

— А что будет?

— А то! Я тебе не отвечу! Считаю, для того и пришла, чтобы ты спросил, а я бы не сказала. Вот так вот!

— Но... — начал Хворов, но Смерть его перебила:

— Ты должен был решить, что будет после того, как я уйду, до моего прихода, а теперь уже поздно, милый мой.

Хворов зажег спичку, подошел к плите, открыл газ и поднес спичку. Дрожащей рукой поставил старый чайник на горящий цветок.

Смерть одобрительно кивнула, будто только этого и ждала.

— А чего ты одета в серое? Мне когда во сне сказали вчера, что ты придешь, то я представил тебя старухой в черных одеждах.

— Да что ты, — махнула рукой Смерть. — Чего только не представляют: и черепа, и гадюку в кувшине, и мужика с копытами, а все чушь одна. Видишь, не очень-то я и старуха, и собой почти хороша. Ах да, а в сером я оттого, что я не зло, я только этап.

Смерть замолчала так резко, будто испугалась, что проговорится. Не придумав, как себя вести, она глупо, как испорченный ребенок, улыбнулась и покачала головой, не сводя глаз с Хворова.

Хворов, смущаясь, как перед женщиной в бане, потрогал свое лицо руками.

— Я могу что-то для тебя сделать? — спросил Хворов, неожиданно даже для самого себя.

Смерть от удивления подняла свои белые густые брови и хлопнула ладошками по худым коленкам:

— Вот тебе раз! Нашелся помощник! Да, сделай: сбегай в соседний дом и ребеночка там забери, а то он в агонии уже лишний час ждет, пока мы тут лясы точим.

Хворов вздрогнул и отвернулся.

Смерть будто осознала свою бестактность и оборвала речь. Зашептала что-то свое, тихое и волнующее.

Они помолчали, а потом Смерть сказала:

— Тебе нужно... это?

— Что это?

— Ну, это.— Смерть показала глазами на угол кухни.

Хворов не понял сначала, а потом опомнился:

— А можно!?

— Да,— ласково ответила Смерть.

Хворов оживился, зашагал по комнате, присел на стул, встал и опять прошелся.

— Так, может, сначала чаю? — спросил он наконец.

Смерть отрицательно покачала головой:

— Чайник останется на плите. Кстати, надень свисток.

Хворов понял, но не испугался. Выполнил указание.

— Идти? Или мне прямо при тебе?

— С ума, что ли, сошел? Иди в другую комнату. Я подойду, когда закончишь.

Хворов кивнул, как писатель, что ставит восклицательный знак на печатной машинке, и вышел из кухни.

Он вернулся в ту комнату, где был выход на балкон. В ней было свежо и солнечно.

Хворов услышал нарастающий свист чайника и сообразил, что нужно спешить.

Подняв глаза и уставившись в пустой с паутиной угол, ровным, смиренным и вкрадчивым голосом он начал: «Отче наш... »



Александр Колбовский

## ПАЛАТА № 19

Четырехместная палата хирургического отделения — энциклопедия русской жизни. То есть, конечно, за четыре дня она не успевает накопить большой массив энциклопедической информации, но вот, думаю, месяц там полежать — и никакой социологии не надо. Выписывают из хирургии быстро, при плановых операциях больше трех-четырёх дней не держат, так что количество больных, проходящих через обычную палату обычной больницы за месяц, — человек сорок. А если еще прибавить родственников, друзей, возлюбленных сиделок — в моем случае всего за четыре дня их у нас было двое... А если еще прибавить медицинских работников... Больница, как вокзал, — располагает к откровенности.

\* \* \*

Про отца Серафима мне сразу сказали: «Вон там, в углу — православный батюшка. Очень хороший». Когда я в первый день попал в палату, он лежал такой весь несчастный, перевязанный, прошитый-перешитый и обездвиженный, под капельницами. Сосед обращался к нему по имени — Евгений. Пару дней я даже не понимал, как его называть. Может, ослышался, и он все-таки не Евгений. Оказалось, да, Евгений. Но и отец Серафим. Приход в Нижегородской области, неподалеку от Дивеево, Сарова. В тот же первый вечер ему сняли швы, разрешили немножко поесть. И он ожил и постепенно, буквально в течение пары часов, превратился в отца Серафима. Расчесал специальной расческой с вмонтированным зеркальцем длинные волосы и седеющую бороду, надел чистую рубашечку. Поел супчика.

У него была сложная операция: гнойный абсцесс на фоне панкреатита и сильнейшего диабета. Все время говорил, что теперь придется менять жизнь, поскольку после каждого приема пищи надо замерять уровень сахара в крови. Как следствие, жесточайшая диета — нельзя ничего мучного, сладкого, содержащего крахмал. Даже за эти четыре дня сахар у него «скакал» как бешеный в зависимости от того, что отец Серафим скушал в нашей больничной столовой.

Вообще, думаю, ему нелегко пришлось. Операция была очень тяжелая, разрез и шов большие. Но в уныние он не впадал и сохранял не просто оптимизм — какую-то завидную форму жизнелюбия и восторга от жизни. Всякой жизни, даже унылой, больничной.

Время от времени он уединялся со своим телефоном, часами что-то там смотрел и улыбался. Оказалось, любит всякие смешные видеоролики — танцующих кошечек, собачек.

У нас с ним наладились прогулки по длинному больничному коридору. И мне, и ему велено врачами ходить, чтобы быстрее наладилось внутреннее кровообращение. Мы и ходили. Как-то отец Серафим предложил измерить шагами длину коридора, я сказал, что у меня в телефоне есть шагомер, и мы усердно мерили количество шагов, потом умножали получившуюся цифру на длину шага.

В холле, у дежурного поста, был такой «общественный центр» нашей Первой хирургии. Что-то вроде красного уголка. Кроме диванов, неработающего телевизора, там еще стояли напольные весы и небольшой аквариум с рыбками. Вот этот аквариум отец Серафим полюбил нежно. Включил видеокамеру на своем телефоне и снял трехминутное видеонаблюдение за жизнью рыбок. Прямо фильм у него получился видовой — как будто и вправду погружаешься в воду, к рыбкам. Он довольно улыбался, по несколько раз пересматривая собственный фильм. Ну, и на весы мы с ним, конечно же, встали. Следом робко подошли две старушки, которым тоже хотелось взвеситься, но они то ли стеснялись, то ли не знали, на какую кнопку нажать, чтобы включить электронные весы. «Налетай, не ленись!» — громко и радостно объявил отец Серафим. Обслужил старушек и был очень доволен собой.

53 года ему. Мало что знаю о дочерковой жизни. Хотя он рассказывал о деревне, где вырос, о том, как пас колхозное стадо, как испугался однажды большого рогатого быка. Но о молодости, о том, как пришел в церковь, не довелось поговорить. Знал цитаты из советских фильмов, помнил мультики нашего детства. Хотя современная литература, не говоря уж о кино, были ему чужды. Чего нельзя сказать о телевидении: как-то поздно вечером батюшка говорил по телефону со своей матушкой, а когда я спросил, не поздно ли, ответил, что она еще будет смотреть Соловьева.

Почти сразу выяснилось, что отец Серафим принадлежит к тому типу церковного люда, который можно назвать духовниками. В больничной палате он часами говорил по телефону, терпеливо выслушивал какие-то рассказы, возможно, даже исповеди своих прихожан. Он прекрасно

разбирается в священных текстах и легко умеет применить их. На все случаи жизни приводит библейские примеры. Причем говорит языком абсолютно современным. Языком, на котором говорят герои сериалов, используя и просторечия, и поговорки, и крылатые цитаты из старого кино. Выяснилось это, когда уже в первый вечер, после того, как батюшка встал на ноги, к нему стали приходиться гости. Для каждого он был духовным отцом. Прямо в палате тихонечко что-то ему рассказывали, он спокойно и уверенно их наставлял. Каждого, точнее, каждую (в основном-то приходили молодые женщины от тридцати до сорока) называл «солнышко». С первого вечера ему беспрестанно звонили все эти Ксении и Натальи, Ирины и Татьяны, и он часами щебетал со своими «солнышками», советуя, как поступить, как помолиться, что приготовить в праздничный день прощенного воскресенья. Собственно, все вечера в нашей палате прошли под убаюкивающий голос отца Серафима.

Все слова он уютно укладывал в своей речи, будто ласкал. Все, кто ему звонил и приходил, были «солнышки». Больница у него была «больничка». Понятное дело — маслице, кашка, сахарок, супчик, чаёк. Каким-то чужим до болезни словам он придавал свой смысл.

Выписывались мы с отцом Серафимом в один день. Матушка Наталия явилась за ним раньше, чем приехали за мной. Сразу стало понятно, кто в доме главный. Когда отец Серафим попытался рассказать ей про будущую диету, про то, что ничего ему теперь нельзя, матушка ехидно посмеивалась, намекая на прошлое чревоугодие и тягу к питию.

Мне очень интересно, как он будет жить дальше. Сейчас он напуган, каждые четыре часа меряет уровень сахара в крови, находит в себе силы отказаться от всего вкусного, но не полезного. Вплоть до того, что всякий раз просил меня посмотреть в интернете, из чего, например, делают перловку, манку — диабетикам манка категорически противопоказана. Но пройдет месяц, другой, и предполагаю, что мой отец Серафим уже не будет отказывать себе в сахарке, маслице, да и водочка появится на столе.

Спустя неделю я приехал в больницу снимать швы. В двадцатиградусный мороз по дорожке больничного парка бодренько шел навстречу отец Серафим — ему тоже было назначено в этот день показаться врачу. Коротко поговорили, а на прощание он сказал: «То, что я тебя встретил, хороший знак».

Ну, наверно, и то, что я его встретил, тоже хороший знак.

\* \* \*

Странное чувство испытывает человек, когда его везут на каталке в операционную. Особенно, когда везут головой вперед. Верх и низ, пол и потолок, право и лево, части света, представление об устройстве мира — все кружится, сливается, переворачивается. Прошлое отдаляется прямо-таки физически, а будущее — это только спина и попа сестры в голубом халате. Рассмотреть эту спину и эту попу можно, если сильно задрать голову кверху. Лицом она поворачивается, только когда каталка заезжает в лифт. Лифт вроде и не лифт, а коробка, куда тебя упаковывают. И двери, двери, бесконечные двери, открывающиеся внутрь, прямо в тебя, и выпускающие всякий раз в какую-то новую реальность. Последняя дверь — в операционную. Картина мира полностью меняется.

Но самое интересное — потолок. Кажется, каталка стремительно несется по тоннелю — как в метро, только светлomu. И едет не по полу, а по потолку, куда по какой-то странной технологии вмонтированы светильники.

Наверно, есть какой-то метафизический смысл в том, что картина мира перед операцией опрокидывается и теряет пространственные, а потом, вместе с наркозом, и временные ориентиры.

\* \* \*

Никак не мог предположить, что в операционной работает радио. Как-то в прежние времена, то ли не было его, то ли не обратил тогда внимания. А сейчас играло. Радио «Монте-Карло». В лежачем положении не очень легко отыскать источник звука. Обшарил взглядом зону, доступную глазу, и никакого радио не увидел. Скорее всего музыка шла из хирургического компьютера, который показывал все мои данные — пульс, давление. Комп подключен к интернету, вот кто-то и включил радио. Моя операция в этот день была первой, анестезиологи, реаниматологи, санитары — все только приходили на работу. Здоровались, по-моему, даже кофе пили где-то в соседних комнатах. Времени было достаточно, чтобы, лежа под тонкой простыней в холодной операционной, послушать музыку. И, собственно, последней песенкой, которую сыграло доброе «Монте-Карло», прежде чем я вырубился наркозным сном, было «Нарру New Year» группы «АББА». Если не вслушиваться в английский текст, не самая, надо сказать, плохая колыбельная перед полостной операцией.



\* \* \*

Соседа напротив привезли поздним вечером, почти ночью. Мы с отцом Серафимом только-только возрадовались, что сегодняшняя ночь пройдет спокойно, потому что остались в четырехместной палате вдвоем. Не тут-то было. Санитары привезли деда, который громко кричал, а когда его переключивали с каталки на кровать, громовым голосом напомнил все существующие в русском языке ругательства. Он был возбужден, испуган, растерян.

Уже потом, когда спустя пару часов пришла его дочка, мы узнали, что наш дед с командирским басом — полковник-десантник. С густыми бровями, очень похож на Брежнева. В 88 лет живет один и отказывается переезжать к дочке и внукам. И вот — упал в собственном туалете, ударился об унитаз, сломал то ли три, то ли четыре ребра, а на него еще и свалился шкаф. Самое страшное: военные врачи почему-то не разглядели этих переломов, и спустя пару недель началось обострение, гемоторакс. К нам его привезли из реанимации, где, как я понял, ему откачали полтора литра крови из легких и, в общем, вытащили с того света. Но положение оставалось сложным, жидкость в легких быстро накапливалась, температура держалась высокая. И он был абсолютно беспомощен. Абсолютно! На следующее утро ему хотя бы стали надевать памперсы, а поначалу... В общем, это был ад. И для больного деда-полковника, и для нас, его соседей. И еще он не лежал молча — все время издавал какие-то звуки: стонал, ругался, кричал на всех, кто к нему подходил. Два слуховых аппарата — на каждое ухо, — но он все равно почти ничего не слышал, и всё, что ему говорили, приходилось повторять дважды или трижды. Временами казалось, он в бреду. На самом деле, ему просто было очень больно и, наверно, унижительно от беспомощности.

Деда привезли из реанимации без всего — без телефона, слухового аппарата. И конечно, он поначалу нервничал, что дочка не сможет его найти. Дочка пришла через пару часов вместе с его вещами. И оказалось, что она — классная. Маленького роста, бойкая, говорливая, симпатичная, похожая на артистку Лядову, только постарше Лядовой лет на десять. Врачам нашим говорила, что она — их коллега. Тоже хирург. Только стоматолог. У нее действительно было «хирургическое» отношение к боли, крови и всему кроваво-гною-грязному. Не боясь испачкаться, делала все сама. Сидела в нашей палате с утра до ночи, с короткими перерывами, когда она убегала, а потом приходила с сумками, полными памперсов (в отделении они заканчивались), еды, бутылочками компота и воды.

Но на ночь она остаться не могла. А вот как раз второй ночью наш дед едва не отдал концы. Что там точно случилось, не знаю, но где-то в полночь, когда мы только-только заснули, зажегся яркий свет, и все дежурные хирурги, сестры засуетились у его постели. И — до утра. В какой-то момент врач сунул ему в руку бумажку и заставил подписать согласие на переливание крови. Принесли пакеты с кровью — переливали прямо в палате. Делали какие-то уколы, ставили капельницы. Под утро дед, в отличие от нас, его соседей, заснул. А потом, когда пришла дочь, стало понятно, что ему второй раз за несколько дней спасли жизнь.

Этот день был выходным, и с утра до вечера к деду приходили родственники — дочь с мальчиком-школьником, внуком, потом взрослый внук со своей девушкой. Тоже врач. Интересно со стороны наблюдать отношения в чужой семье. Здесь, похоже, все очень любили друг друга. Молодые не отбывали номер, не исполняли повинность — они обо-жали деда с его чудовищным командирским характером.

В этот же день наняли ему сиделку, так что наша палата из четырехместной превратилась в пятиместную. На ночь сиделке притащили трехместную скамью из коридора, и она тоже спала в палате. А наутро дед ожил. Температура упала, он повеселел. Сиделка-киргизка Гуля вроде и по-русски говорила не очень, но как-то сумела его разговори-ть, так что он обрывочно, кряхтя и постанывая, рассказал — и ей, и нам, — что побывал на всех континентах кроме Австралии, видел цветущую мирную Сирию, Кубу, был в Ливии. «А сейчас вон что? Каддафи убили?» — возмущался он, как будто Каддафи убили в соседней палате.

Дед был тяжелым соседом. Всякий раз, когда он оглушительно громко матерился, мы с отцом Серафимом переглядывались и, как заговорщики, махали друг другу руками. Но в какой-то момент, когда не было рядом ни дочери, ни сиделки, а деду надо было помочь — что-то подать, что-то найти, я подошел к нему, и оказалось: кроме команд и требований он может и просить, и благодарить. И судя по всему, он вообще хороший дед своим внукам. И просто хороший дед. Хоть и очень грозный.

\* \* \*

В соседней палате лежал мальчик лет пятнадцати-шестнадцати. Полный, совсем не суперменского вида. Ходил несколько дней

с болтающимся на шлангах дренажом. И вот к нему приезжала девочка-ровесница. Сидела, несмотря на больничные правила, с утра до позднего вечера, тем более, были выходные, врачей в отделении немного. И они — целовались. То в коридоре, то — между обедом и ужином — в темной столовой. Я даже лиц их не помню, потому что они все время были вместе и все время — в поцелуе.

\* \* \*

Соседи в палате хирургического отделения меняются с немыслимой скоростью. Можно, наверно, накрутить что-то про метафору жизни, но неохота. Просто за полдня, а то и за пару часов лица этих совершенно чужих людей успевают отложиться в памяти, а чей-то случайный взгляд не стирается и даже во сне снится. Как запомнилось лицо человека неопределенного возраста, который лежал напротив меня первые два часа, когда я только-только поступил в Первую хирургию, худой, как покойник, обескровленный, с отрешенным лицом — лежал под капельницей. Огромная банка с белой жидкостью — видимо, какой-то питательный раствор. Периодически он засыпал. Или просто отлетал в другую реальность.

Я не сразу понял: говорить он не может. Уже потом жена прочитала нам выписку с диагнозом: инфаркт мозга и что-то еще более страшное. Причем болезнь была стремительная. Всего за месяц до этого он чувствовал себя неважно, но был вполне себе человеком. Потом какая-то ураганная простуда, осложнения — и он перестал говорить. Но на лице у Жени (так его звали) отражалось все, что он чувствовал и о чем думал. Ни один актер в мире такого не сыграет. Жена разговаривала с ним очень спокойно, а он нервничал, пытался выдрать вставленную капельницу, отдергивал руку, когда к нему прикасалась жена. Его в этот день выписывали, он очень хотел домой, и ему не терпелось скорее уйти из больницы. Но сказать это он не мог.

Потом принесли документы, жена с сыном долго поднимали и одевали его. И вдруг лицо у него как-то оттаяло, разгладилось. На прощание я махнул ему рукой, и он улыбнулся. И улыбка была какая-то виноватая, беззащитная. Вот время прошло, и лицо этого Жени я не очень помню, а улыбка перед глазами, словно и сейчас он мне улыбается.



*М и х а и л   Б а р у*

## ИЗ ВСЕХ ОЖИДАНИЙ НА СВЕТЕ

В апреле, даже в Москве, небо которой состоит из мириад светящихся лампочек, окон и букв рекламы, бывают такие синие-синие вечера, когда только одного и хочется — мечтать. Забредешь в какой-нибудь маленький, вроде деепричастного оборота, переулок, зайдешь в крошечную забегаловку на три или пять столиков, заберешься в самый угол, и хмурый, уставший за день официант принесет тебе постное меню и в виде большого одолжения скажет, что можно заказать этот овощной салат, но с мясом и за те же деньги. Закажешь сухого красного вина и, не дожидаясь пока его принесут, закроешь глаза и станешь думать о том, что до зарплаты еще целая неделя, что дешевле было бы купить вина в магазине и пить его дома, закусывая вчерашними котлетками, о том, что раньше в мечтах видел себя капитаном королевских мушкетеров, осаждающих Ла-Рошель и спасающим прекрасных гугенотов от бесчинств гвардейцев кардинала, или пианистом, играющим на сцене большого зала консерватории изумительную нечеловеческую музыку перед сидящими в первом ряду партера красивыми и тонко чувствующими девушками, у которых глаза блещут от сладких слез, которые они в умиление проливают и которые так любят слизывать по весне мужчины, или знаменитым поэтом, получающим из прекрасных рук прекрасных тонко чувствующих девушек, уцелевших при осаде Ла-Рошели и еще не успевших осушить сладкие слезы умиления, которые они проливали на фортепианном концерте, Нобелевскую премию по литературе, или капитаном быстрого фрегата только что взявшего на abordаж пиратскую шхуну с полным трюмом прекрасных, тонко чувствующих невольниц, с глазами, полными сладких слез благодарности, уцелевших при осаде Ла-Рошели, на фортепианном концерте, уже приготовившихся вручить мне Нобелевскую премию за спасение погибающих прекрасных девушек на водах... а теперь мечтаешь только о крыльях, на которых можно улететь отсюда к теплому морю, на берег маленькой извили-

стой речушки с удочкой, в садовую беседку с гамаком и самоваром, в отставку с сохранением полного пансиона и мундира, или, на худой конец, просто к чертовой матери. Тут приносят твое сухое красное, ты его выпиваешь, расплываешься и идешь домой закусывать вчерашними холодными котлетами.

\* \* \*

Идешь по весенней Москве, смотришь на детей, играющих в классики, на детей, гоняющих мяч, на детей, катающихся на велосипедах, на детей, уткнувшихся в телефоны, и вдруг вспоминаешь, что лет сто не видел детей, пускающих кораблики. Уж как мы их пускали по лужам, по ручьям, по залитым талой водой канавам... Из тетрадных листов, из щепок, из спичечных коробков под парусом на мачте из разогнутой скрепки или гвоздика... Ни один кораблик не плыл до поворота ручья или до другого берега лужи — все они, обгоняя друг друга, толкаясь бортами и теряя бумажные паруса плыли в дальние страны, и мы бежали за ними, боясь отстать, отодвигая красными от ледяной воды руками мешающий мусор, ветки и камни. Вроде и лужи остались те же, и тот же в них мусор, и вода не стала суше, и дети не разучились бегать, а кораблики пускать почему-то перестали. Оно, конечно, ничего страшного — подумаешь, перестали пускать кораблики. Было бы о чем жалеть. Зато теперь... да все, что угодно теперь зато. Нынешнее детство с нашим и не сравнить, но... корабликов жалко. Точно вымер где-то в Австралии какой-нибудь сумчатый зяблик или живородящий ухогорлонос. Ты, может, и видел их только на картинках, и здесь у нас они не водятся потому, что не могут жить нигде, кроме тропиков, и все равно должны были вымереть потому, что опустынивание или заболачивание... а все равно жалко.

\* \* \*

Дождь еще не кончился, но солнце уже выглянуло, и шустрые солнечные зайчики забегали по лужам, заскакали по голым мокрым и блестящим веткам чубушника и заиграли внутри больших дождевых капель. В то самое мгновение, как капли собираются упасть... зайчики перескакивают в другие.

Старая, с пожелтевшими страницами книга из тех, что оседают в конце концов в разошедшихся и скрипучих дачных книжных шкафах, лежит раскрытая на столе, и весеннее полное сил солнце нагревает

ее до того, что расстояния между буквами в словах увеличиваются. С края страницы даже свешиваются два слова «солдатская шинель» и «шинель» залезает крайними буквами в блюдо с кизилковым вареньем, стоящее возле чайной чашки...

Кстати, о расстояниях между буквами. Еще Тургенев в восемьсот шестьдесят восьмом году и, через три года независимо от него, Достоевский открыли, что при нагревании написанные или напечатанные на бумаге слова расширяются и могут даже расползтись в совершенно разные стороны, если бумага гладкая, мелованная. На самом деле это открыл еще Гоголь, когда жег рукопись второго тома «Мертвых душ», но никому не успел об этом рассказать. При увеличении температуры на два градуса расстояние между словами и буквами увеличивается на букву, а при увеличении на десять градусов прибавляется слово. Как правило, ничего не означающее. Поначалу этот эффект называли правилом Тургенева-Достоевского, но потом, когда Тургенев в письме к Панаеву обмолвился, что слова в романах у Достоевского и без всякого нагревания расплзаются по бумаге, как нализовавшиеся собственного спирта муравьи... а Достоевский публично, на страницах «Русского вестника» написал, что в «Отцах и детях» в большинстве предложений даже при комнатной температуре каждое второе слово ничего не означает... а в ответ Тургенев вместе с Некрасовым... еще и в рифму... и тогда Достоевский в «Бесах»... а Тургенев в «Современнике»... и тут Герцен, которого никто и не думал просить, в «Колоколе»... и даже после смерти Достоевского... не говоря о Ленине, который, не предупредив Энгельса, влез в его переписку с Каутским, и... В общем, все умерли.

Снова пошел дождь... Солнце спряталось, солнечные зайчики, игравшие в каплях, упали вместе с ними и разбились вдребезги на триллионы бесцветных фотонов, а слова в книге съежились, и «солдатская шинель» с мягким знаком, испачканным в кизилловом варенье, заняла свое старое место на странице.

\* \* \*

Ветер сырой, но теплый. Листьев еще нет, но почки полопались даже на мачте телевизионной антенны. Возле калитки повизгивает пила — там пилят штакетник и прибивают его к калитке, еще в марте изгрызенной собакой в отместку за то, что ее не пустили гулять. Пилят и отгоняют собаку, сующую нос в коробку с гвоздями и под руку. За забором колют дрова, привезенные лесником еще полтора

месяца назад. Наконец-то они оттаяли. Колют и отгоняют собаку, лезущую под колун и от полноты чувств кусающую березовые чурки. В огороде вскапывают грядки под редиску, свеклу, лук-севок и отгоняют собаку, уже успевшую сожрать три маленьких луковички и норовящую покопаться во взошедшем озимом чесноке. В дальнем углу сада, пыхтя от усердия и размазывая по пухлым грязным щекам злые слезы, никак не могут забить утащенный из коробки у калитки большой гвоздь в скамейку. Собаку при этом не отгоняют. Ей даже говорят: «Сама бы попробовала» — и протягивают молоток. В скворечнике, прибитом к шесту на крыше бани, идет ремонт — заселившаяся пара дроздов уговаривает приглашенного дятла продолжить еще одно отверстие в стене и не бояться собаки, скачущей и лающей под стеной. Во двор выносят рассаду моркови. Обычно ее семена просто бросают в землю, но в этом году вырастили в золотых пластмассовых ячейках из-под бабаевских шоколадных конфет «Вдохновение». Знающие люди говорят, что из рассады, выращенной в таких ячейках, морковь получается слаще раза в два, чем обычная. Рассада похожа на обрывки тонких зеленых ниток с узелками микроскопических листиков. Садятся перед грядкой на корточки, берут чайную ложку, зачем-то вытирают ее носовым платком и аккуратно, начиная с крайней ячейки... но не успевают отогнать собаку.

\* \* \*

Хуже всего в середине весны, когда снег почти растает, потому как надеешься, что в качестве компенсации за бесконечную зиму, за сильные морозы, сугробы по пояс, за пережитую эпидемию гриппа, за кашель и насморк, покажутся из-под слежавшегося грязного снега какие-нибудь диковинные цветы вроде орхидей или лотосов, запоют райские птицы и лопата в огороде стукнет о крышку сундука с сокровищами и бочонком ямайского рома, которые зарыли пираты триста лет назад. Ну, пусть не каждый год сундук и бочонок, но хотя бы бочонок через два на третий после особенно морозных и снежных зим. Так нет же! Ничего не вытаскивает кроме пустых пивных бутылок, окурков, собачьего дерьма и каких-нибудь старых обид, про которые ты думал, что давно их забыл, а им ничего не сделалось — только чернее стали. Хоть бы микроб какой их разлагал, но нет такого микроба — еще не родился. Хуже самой пластмассовой пластмассы эти обиды. Вместо орхидей и лотосов вырастет сныть, крапива и мать-и-мачеха. Вместо

райских птиц загалдят обычные грачи, а лопата вместо сундука с сокровищами стукнет о старые грабли, забытые осенью на грядке. Конечно, если немного подождать, то зацветут яблони, запоют соловьи, появятся своя редиска, укроп, за подкладкой старой куртки обнаружатся забытые пятьсот рублей и ямайский ром... пусть не бочонок, а бутылка «Зубровки»... И жизнь наладится в том смысле, что перестанешь мечтать о ерунде вроде райских птиц и орхидей с лотосами. По крайней мере до следующей весны. Вот только старые обиды...

\* \* \*

Выйдешь утром в сад, сядешь на нагретую солнцем скамейку, разрешишь божьей коровке и маленькому зеленому жучку по себе ползать, прикроешь глаза и станешь ждать, когда зацветет яблоня, слушать, как у соседей хлопает на ветру постиранное белье, как гудит шмель, как звонко щебечет какая-то желтогрудая птичка, как на другом конце деревни дерет горло петух, тарахтит трактор и кто-то кричит «поймаю — уши оторву вместе с ногами», смотреть на то, как качают головами красные тюльпаны и желтые нарциссы, на зеленые серебристо-замшевые листочки, еще свернутые в трубочки, и думать о том, что изо всех ожиданий на свете... изо всех неясных, изо всех робких, из таких туманных, что в них можно заблудиться, из таких сладких, что от них все слипается внутри, из таких томительных, от которых все вытягивается в тонкую ниточку и вот-вот порвется, из лихорадочных, от которых сохнет во рту, запекаются губы и не помогают никакие жаропонижающие, из радостных, из таких больших, которые не помещаются в голове, из мучительных, из напрасных, из таких пустых, что в них нечем дышать, из равнодушных, из безнадежных... или ничего не думать, а просто ждать, когда зацветет яблоня.







**Игорь Иртенъев.** Немало веселого.

*Стихотворения*

**Алексей Дьячков.** Какие сны. *Стихотворения*

**Андрей Тавров.** Из записок Гамлета. *Цикл стихотворений*

**Елена Жамбалова.** В Нахаловке растут дома.

*Стихотворения*

**Андрей Чемоданов.** Кеды свободы.

*Стихотворения*

**Феликс Чечик.** Поводок. *Стихотворения*

**Максим Матковский.** Веселый хоррор.

*Стихотворения*

Изорь Иргенев

НЕМАЛО ВЕСЕЛОГО

•

Куда безмозглый вихрь событий  
Влечет тебя, безвольный росс?  
Лишь в зыбкой области наитий  
Лежит ответ на тот вопрос.

Конечный пункт не именую,  
Вселенским ужасом объят,  
Но зрю сквозь толщу временную,  
Как прахи с косами стоят,

Как вскачь по каменистым тропам,  
Неся народам глад и мор,  
Четыре всадника галопом  
Несутся к нам во весь опор.

И тверди нет, чтоб опереться  
И час последний недалек.  
...Но это — если присмотреться.  
А так-то в целом нормалек.

•

На улице Желябова  
В былые времена  
Была-жила, жила-была  
Красавица одна.

Во всякий час надушена,  
Насурьмлена всегда,  
Чем сильно грела души нам  
В бесцветные года.

Богиня белотелая,  
Прекрасна как заря,  
Таких уже не делают  
Давно у нас, а зря.

Процесс изготовления  
Не сложен, говорят,  
Да видно населению  
Прискучил сей обряд.

Я в плане дистрибуции  
Проблем не вижу тут,  
Да их же в той же Турции  
С руками оторвут.

И дело-то нехитрое —  
Всей мебели — кровать,  
Да время все не выкроют,  
Им только б водку жрать.

...На улице Желябова  
Красавица жила,  
Была-жила, жила-была,  
А тут вдруг померла.

Красавицы надушенной  
На свете больше нет,  
Но на Большой Конюшенной  
В окне не гаснет свет.

•

Собрав в кулак терпение,  
Еще я жду хорошего.  
Еще не все камни  
Ко мне в окошко брошены.

Еще не все фекалии  
Мне вылиты на голову,  
Еще сулят реалии  
Немало мне веселого.

Все повернется к лучшему  
На девяносто градусов,  
И со счастливым случаем  
Обнимемся мы радостно.

И пусть весь мир провалится  
С концами в преисподнюю  
Не мне о том печалиться  
Под елкой новогодней.

•

Вчера по радио я слышал,  
Что вышел вроде бы указ,  
А, может, даже и не вышел,  
Но обсуждается как раз,

Что тем, кто родину не любит  
И даром хлеб народный жрет,  
Тем скоро голову отрубят,  
Чтоб место знали наперед,

Зароют в землю их сырую,  
Могилу хлоркой обольют.  
...А тем, кто любит, тем вторую,  
Как полагается, пришьют.



Как отмечал неоднократно  
По разным поводам и без —  
Умчалась юность безвозвратно —  
Неоценимый дар небес.

Не по наследству, не по праву,  
Не в изнурительной борьбе —  
Она досталась на халяву  
Сама буквально по себе.

Вчера была — сегодня нету,  
Раз — исчезла в никуда,  
Ее за чистую монету  
Не принимал я никогда,

И где она теперь пасется,  
В каких неведомых лугах,  
Молва об том не разнесется  
В демократических кругах.



Я в Бога не шибко-то верю,  
А выбери дискурс иной,  
Какие б высокие двери  
Открылись в тот миг предо мной.

Какие б отверзались глубины  
Как вширь бы попер оком,  
Какие б взревели турбины  
В мозгу просветленном моем.

Неверье — слепая химера,  
Нас в пропасть толкает она,  
А вера есть высшая мера  
Вещей без покрывки и дна.

Мне обе модели по сердцу,  
Неважно — слабей ли сильней —  
Добавить способные перцу  
В похлебку сиротскую дней.

Алексей Дьячков

## КАКИЕ СНВІ

### НА ВЕРНИСАЖЕ

В рамке склон, охотник, зайки.  
Отражение хозяйки.  
Каравай, бутылъ с водой.  
Питер Брейгель Дух Святой.

Свет резвится, нет погоды.  
Дети ждут отца с охоты,  
Машут матушке в окне,  
Развлекаясь на катке.

Редкий ствол, подлесок страшный,  
Нарисованные сажей  
Мощи вечера — точь-в-точь,  
С мясом выплеснутый борщ.

Слякоть охры, синь замазки,  
Дальше ткань мешка без краски,  
Крест к кресту — в узлах погост,  
Серый грунт впитался в холст.

### СЕРЕДИНА ЯНВАРЯ

Ни вымпела, ни книжки ДОСААФа,  
Детсадовские горе и досада,  
Усталость от болезни лучевой,  
И Саваофа свет — и ничего...

Глаголица померкла от ошибок,  
Участок и кусты запорошило,  
Набросаны обрывки начерно —  
И столик, и скамейку замело.

И хор затих, и прочие запчасти,  
Но пыль шуршит, пока не началась и  
Не загудела песня — не унять,  
Чтоб, смолкнув, снова пыли голос дать.

### УТРО

Храним тепло под одеялами,  
Глубины — подо льдом реки. —  
Таким должно быть идеальное,  
Или каким-нибудь другим.  
Чтоб сталинку учил величеству  
Сугроб замерзшего куста,  
Чтоб гипсом в туфе вулканическом  
Вдруг заполнялась пустота.

Тьма ночи прирастает кельями,  
Густой рассадой — огород.  
Обои в детской переклеили,  
На дачу вывезли комод.  
Забрали двор не огороженный,  
И лающей собаки страх,  
Картонную иконку с Боженькой,  
Где Он младенец на руках.

### ГРИШКИН

Пол бетонный, дверь, стены четыре,  
Старый зэк, живущий на цифире,  
Извести, кристаллах купороса,  
Гулком коридоре на допросы.



В узком, захлавленном кабинете  
Следака — окно, в котором ветер  
Тополя листву усердно гладит.  
Стоит жить картинки этой ради —

Каждый раз загадывать желанье,  
Маяться-томиться в ожиданье  
Вызова, базар держать, как старец,  
На слепящий тополь жадно пялясь.

Вот и все, все глупости по пьяни.  
Дерево — одно воспоминанье,  
Счастье, от которого не деться  
Никуда, как от любви из детства.

## НА ПАМЯТЬ

Другой — почти, что этот — свет,  
Листва искрится, выгорая.  
Меня еще в помине нет,  
Есть фото — мама молодая.

У погреба на склоне дня  
Она сучает на скамейке —  
Взгляд из-под челки подняла  
На объектив трофейной лейки.

Там заросла тропа травой,  
И можно угадать во взгляде  
Склон за фотографом — с рекой,  
С причалом хлипким для объятий.

Гудок пронзительный того  
Гляди заглушит птичье пенье,  
И встанет небо высоко,  
Чтоб кануть с облаком в забвенья. —

Здесь жизнь другая, свет другой,  
Дождливо, хмурая погода.  
Мост выгибается дугой,  
И нет на речке парохода.



Мать одна воспитывает сына.  
На работе нервы и рутина,  
Зависть баб, начальница без мозга.  
Дома раздражительность подростка.

Долго ничего не происходит...  
Любит, одевает по погоде.  
Что еще? — не плачет, что без мужа.  
Тянет, у других бывает хуже.

Балует себя какао чашкой,  
Булкой, сигаретною затяжкой.  
В выходные стирка и уборка.  
Нудные беседы, все без толка.

Мальчик вырос, привыкает к телу  
Своему, по делу и без дела  
Комплексует — слишком много знает,  
Чтоб себя не выдать — уступает.

Ночью оба вспоминают отпуск,  
Лето, из усадьбы бывшей корпус,  
Сад заросший топчут постояльцы,  
До отбоя на веранде танцы.

Помнит он песчаный берег плеса,  
От бретельки нежный след белесый —  
Девочку на пляже с модной стрижкой.  
Помнит мама глупую интрижку.

Жаль, что не становится моложе, —  
Думает о маме мальчик... Может  
Быть, когда-нибудь еще поедем —  
Следующим летом, вряд ли этим.

## АНЮТА

Кормление птиц — какие нежности  
На солнце посреди двора.  
Сама старуха еле держится,  
Жизнь в теле теплится едва.

Трясутся ветки с первой зеленью,  
И пальцы, хлебушек кроша.  
Когда ее подводит зрение,  
Дрожит, заходится душа.

В воде цветной, в осколках наледи  
Свет отражается земной.  
На небесах нет места памяти,  
И детство не возьмешь с собой.

Но птичий хоровод над крошевом,  
Цвет голубиный — голубой  
С такою нежностью продолжатся,  
Что не захочется домой.

Свет тот над ней и этот сжались,  
Ведь если есть и ад, и рай —  
Замри, воскресни, но, пожалуйста, —  
Не умирай, не умирай.

## КАКИЕ СНЫ

Вынашивала, думала о доченьке,  
Рожала в их строительном вагончике,  
Который знала каждая собака,  
Поскольку стоек запах доширака.

По вечерам спешил домой со смены он,  
Где впихивал с такими же нацменами —  
Узбеками в бушлатах, рыжих касках —  
На монолите, арматурной вязке.

В углу, у печки, на дубовой лавочке  
Явился мальчик под моргучей лампочкой  
В снегах чужбины молчаливой, серой,  
Под чавканье овцы, жующей сено.

Держалась жизнь за тельце малокровное,  
За жар, за стол с тарелками-приборами  
Из пластика, за постер на бумаге —  
Ушли в себя улыбчивые маги.

О катаклизмах, потрясениях с жертвами  
Шуршит кино дешевое, планшетное.  
На мир муку просеивает сито.  
Еще не скоро замелькают титры.

## НА ДАЧЕ

И хор, и детский голос рядом,  
Изнанка сада не пуста —  
Вот силуэты дуэлянтов  
Из сна.

Свет поднимается все выше,  
И небо выгибает гладь.

Ладонь собака жадно лижет.  
Гулять.

В окне сквозняк кольшет шторой,  
Тень протянулась — столик, стул.  
Проснулся в той же позе, что и  
Заснул.

### ТАМАРА

Остались пересылка, полоса  
Заката, птиц осеннее круженье,  
И женщина в пальтушке, в чьи глаза  
Глядел тогда за миг до пробужденья.

Остались лужи заводи речной,  
Петля на холм бегущей пыльной трассы,  
Этапа хор, и голос — ничего  
Незначащие три-четыре фразы.

В словах, что прозвучали у стены,  
Смогли так отразиться опыт страшный —  
Короткой жизни счастье, мрак тюрьмы,  
И боль, и приговор, и все, что дальше, —

Что пошатнулась подо мной земля,  
И морось зыбки выпала на лужи.  
Что долго я не мог придти в себя,  
Беспомощно ворочаясь, проснувшись.

Так и лежал один, разбитый весь,  
Не понимая — где, когда... И кто я?  
Зачем, чего хочу? — Остаться здесь  
Или вернуться в прошлое чужое?

Андрей Тавров

## ИЗ ЗАПИСОК ГАМЛЕТА

**12 МАРТА**

Судьба, ей-богу, формируется в переменном узле напряжений, возникшем от столкновения человеческой воли (что ж там в ней, этой воле, действует? — планеты? данное при рождении имя? наследственность? песни няньки? — и т. д., и т. п., и еще сто и одна причина), столкнувшейся с усилием воли сверхприродной, также живущей в человеке, ему на радость ли, на беду ль. У нее нет причин, она просто мягко наличествует. Картинку этих воль можно уподобить сцепке сил, ведущих яхту по курсу: ветер — противодействие руки, лежащей на руле — работа паруса — волны. Невидимый, но сошедшейся в узел параллелограмм силовых векторов. Сумма стянута в рулевом. И чем сильнее напряжение, ведущее к сверхъестественной воле, а не к человеческой, чаще всего сиюминутной, однодневной потребности — тем чище судьба. Может же курс парусника сиять и светиться, если не в солнце, то хотя бы как след фосфоресцирующих, хоть и гниющих, бактерий.

**20 МАРТА**

Подумать только, паруса приходят с моря  
не принося с собой ни одного силлогизма,  
ветер дует, вороша книгу, как стог сена  
с любовниками, цветами, целебными травами  
и не произносит слов, но стог становится говорящим  
без помощи речи. Я скоро обойдусь воробьем за пазухой  
и парой эмблем как они есть —  
лев например на красном поле или зимородок на горе.  
Ей-богу, я буду ходить не ногами и словами,  
а как ходят слепцы — на ощупь, пальцами,

без всяких объяснений отличая льва от сороки,  
а благородные уста от лживых.  
А теперь главное: куда смотрит иголка?  
Не в зависимости от того, кто смотрит на нее —  
орел или какая-нибудь устрица, а сама по себе.  
Куда смотрит она своим на две стороны ушком?  
Разгадка вернет честь поруганной деве,  
распрямит плечи бедняку, вернет иноходь коню,  
смысл словам, правдивость чиновникам,  
выправит ход светил на орбитах.  
Куда она смотрит?  
Иголка ушком смотрит сама в себя  
и видит все сразу.

## 22 МАРТА

Корабль что в Англию сейчас плывет  
гудя оснасткой схожей с паутиной  
в туманном лунном свете — не корабль  
а тысяча и тысяча судов

чьи паруса почти что совпадают  
двоясь как мимика когда  
в лице играет приглушенный свет  
сумбурных противоречивых мыслей

И магнетизм таинственный планет  
и сорт деревьев что пошли на мачты  
и их дриады что внутри заснули  
наследственная память рулевого  
и бабочка летящая вдали  
уйдя в глубь судна порождают флот.

●

Подумать только что швеи игла  
когда-то воткнутая в парусину  
сшивая парус расщепила суть  
на деву и прыжок дельфина

на каплю крови розового пальца  
и черный ход пучины под луной  
Из слишком многого мы состоим  
и цельный облик наш — дурной фантом.

бьюсь об заклад у вещи нет итога  
ни в функции ни форме и ни в смысле  
так что же говорить о человеке  
под кожей одного теснятся толпы  
убийц владык купцов живых и мертвых  
текущих в нем как в небе млечный путь

●

Так что есть человек что есть ты сам  
где суть всех эти связей — в мысли  
иль в сердце как об этом говорят  
молитвенники в кельях и берлогах

куда плыву я этой суммой звезд  
или я тот чего хочу сегодня  
а завтра тот кто стонет по вчера  
кому же дрозд поет в тумане сосен

кто деву и целует и дрожит  
от чувств глубоких как святой колодец  
и кто она когда мне отвечает  
на поцелуй прерывистым дыханьем  
кто мы зачем мы здесь куда плывем  
будь все оно неладно к черту к черту



•  
давай вот так: на дне таится камень  
среди тихих звезд плывет кувшинкой ангел  
пастух пасет костер рождает пламень  
свеча горит ведет окружность циркуль

и вновь начнем: вот белый камень вот  
он белый камень он тяжел и прост  
он бел в нем нет ни мыслей ни пустот  
он камень на земле на ветке дрозд...

...он между плеч свистит в свою свирель  
он белый камень делу голова  
корабль играл но скоро сел на мель  
его за Мэй просватала сова  
свисти мой дрозд заместо головы  
пучком руки зажав пучок травы

## 10 АПРЕЛЯ

...но если есть события подготовленные, как, к слову, розовое лицо девы перед встречей с возлюбленным подготовлено воображением и предчувствием встречи, а также памятью о том, каким она видела его прежде и как он хорош, то согласно логике и интуиции, и даже интуиции больше, чем логике, должны существовать также и события неподготовленные. События ничем не предопределенные. Скажем, есть дождь, который предуготован явлениями атмосферного характера. Но ведь тогда должен быть и дождь, который ничем не обусловлен, не предуготован, дождь ниоткуда, дождь нипочему, который можно было бы назвать невысказанным.

Некто утверждал, что никто не видел единорога по той причине, что он не мыслим в указанном смысле слова, а невысказанные вещи у нас не хватает машинальности замечать. Они вне затверженного порядка и поэтому для большинства невидимы. Глаз ленивец, мысль автоматична. Чтобы увидеть невысказанный дождь или животное с бивнем во лбу, надо быть с ними в одном времени и в одном бодр-

ствовании. Можно сказать, что для этого надо быть с ними на той самой волне внимания, на которой они суть. И человек на это способен, потому что он способен войти в природу любого существа — вот в чем его несомненная, хоть и бросающая ему вызов, особенность. И тогда можно увидеть, что, например, немислимый дождь идет вместе с обычным. Более того, несмотря на их различие, они выглядят как один и тот же дождь. То же самое можно сказать про деву, про скалу, черепаху, вообще, кажется, про любую вещь на свете.

Поговорю сегодня на эту тему с Г., благо, что с ним есть возможность говорить не только о подвязках и духах, или о сортах вина, поданного вчера к обеду. Поговорю с Горацио тем самым — немислимым. Думаю, кроме меня, немислимого, никто не понимает, что за история происходит в замке и с какими актерами. История такова, что все видят коров вместо единорога.

## 17 АПРЕЛЯ

Не люблю я делящейся речи, в отличие от музыки, думал я вчера, и тут я понял, что слова вовсе не делятся с точки зрения этого необуловленного мира, о котором шла речь. Это в мире божьем, но людьми сотворенном, они скачут, как одержимые, и квохчут, как куры ввиду петуха, а если взглянуть поглубже, то они происходят, меняются, осушают воды, как Моисей, не сдвигаясь со своего воздушного гнезда. Вот оно что! Слово меняется, но никуда не бежит, и меняется оно не во времени, а в своем собственном пространстве, попадающем в зону других пульсирующих, как и оно, пространств. Не надо, ради всех святых, рассказывать басни, где подлежащее обязательно должно быть подкреплено сказуемым. «Он ее любит» — боже, что за убожество! И еще сорок тысяч слов, чтобы они, пинаясь и расталкивая друг друга, гнались к финишу, в котором, выясняется, как именно он ее любит, или почему ему пришлось отдать свою болтливую жизнь за свою болтливую любовь. Но нет. Слово по природе своей не принадлежит времени и его беготне. Оно похоже на камень на дне прозрачного ручья — все время движется, не сдвигаясь с места. Или еще больше оно похоже на водоросли, которые омывает — только не время — превращение. Превращение и голос иных пространств колеблет их, как иногда колеблет деву и самого влюбленного странное

течение иных вод, и тогда они танцуют свой тихий и непреодолимый танец, словно в водах этого потока они обрели другое дыхание и другую плоть.

•

Чудовище, что целых сорок лет  
ловили в непролазных дебрях,  
все ж поймано, его ведут на свет,  
и тень решетки скачет, будто зебра.

Зверь, как медведь, лохмат, во вшах и язвах,  
смердит, как нужник, прячет гнойный лик  
и, как химера, состоит из разных  
пород и тел, в один вмещаась миг.

Толпа беснуется — сжечь заживо отродье!  
Рви на куски! Зверь открывает рот,  
и музыки хрустальной половодье  
из гнойных губ струится и плывет,  
как сердцу — глубь, как деве — ореол,  
как старцу — мир и древу жизни — ствол.

## 18 АПРЕЛЯ

Риторика появляется там, где остывает земля. Чрезмерное умствование и отказ от глагола природы, вообще от глагола — возникают там, где небо разжижено.

•

Понаблюдайте за скачкой коней. Ей богу, это уже не физические движения, это рисунок бессловесной мысли, куда более выразительной и емкой, чем мысль словесная. Ибо мышление без слов не знает фиксаций и не плодит щелей в разуме, в которые, как в щели забора, струится дис-

кретный сквознячок готового знания. Бессловесная мысль — не твой ли дар, Афина, вышедшая из обиталища мыслей, черепа Зевса, не словом или идеей, а целиком и во всеоружии, гремя щитом и сияя шлемом.

## 21 ИЮЛЯ

Пространство плача лодка с парусами  
и мускулы болят от черного весла  
и будто бы родились снова  
волна и даль и время и лицо  
зашедшие в пространство глубже смерти  
превозмогающие суть самих себя  
рожденные трудами песни-роженицы  
в которой человек и птица  
нетленны как Орфей зашедший плачем в ад  
и вышедший и горестным и легким

есть звук что выпрямляет миру позвонки  
и смертных он роднит с богами ибо  
зрят плачем выжженные очи  
ту область яви, что бессмертным не дается  
но внятна Антигоне и Эдипу  
траве людской познавшей кто она  
всем тем кто сжег дотла глазницы  
и белыми дорогами идут

## 22 ИЮЛЯ

крокодилов есть... нетленная, ей богу, пицца...

## 1 АВГУСТА

...ну посмотри же, посмотри же внимательно! Смотри, как смотрят деревья, как смотрят камни или стены. Кто сказал, что они не видят, раз у них нет глаз. А наши — на что? Разве деревья, цветы, какая-ни-

будь ледащая птичка, большоголовый зимородок — не видят нашими глазами? Но только очищенными до птички и стены. Очищенными остановкой, очищенными от ложного потока ложных мыслей. Ибо чаще всего мы видим своими путанными мыслями, а не глазами, сотворенными богом. Стена, птичка... Вот чистыми-то нашими глазами они себя только и могут увидеть, они тогда и нас могут увидеть, а мы можем не только — их, но и в кои-то веки других людей и себя тоже. Разве хоть раз в жизни нам не пела птица, увидевшая нас нашими же глазами с помощью своей явленности в этот поток жизни, который она с нами разделила. Разве не смотрела на нас фиалка. Разве не смотрела на нас хоть раз в жизни дева, как фиалка?

## 7 АВГУСТА

Софокл пишет: «Я думаю, мы все — живые люди — лишь призраки, одни пустые тени». Ведь не ради красного словца сказано, ведь возможно это думал про себя и сам автор. А, скорее всего, он делится одной из своих глубочайших мыслей, вернее, ощущением, уточненным и подкрепленным мыслью. Но если это так, то что тогда давало ему силы жить? Ведь сознание, что ты тень, призрак, как бы ни возносили тебя над этим положением святые мистерии Элевсина, делает жизнь невозможной. Значит, надо либо все время забывать положение вещей (да и, кстати, что тут сложного? — все знают, например, что умрут, но это не делает их жизнь невозможной или безумной, потому что это знание не в силах прервать всеобщий сон забвения — бульон для призраков, вино для сновидческих фантомов), либо найти ответ на вопрос: как мне, призраку, прикажете жить, чтобы я смог расстаться со своей призрачностью? Греки повнимательней нас относились к словам — что сказано, то есть *дело*. Какая же мощь таилась в этих детях Аполлона и Диониса! Что-то было в них такое, что перекрывало утверждение о призрачности, не смотря на всю его трагическую и безысходную правду. Что? Пропой мне птичка, провой собака, прокукарекай петушок на заборе.



Елена Шамбалова

В НАХАЛОВКЕ РАСТУТ ДОМА

•

когда ты бессмертен зачем тебе пить ты и так везде  
лежишь на земле и говоришь звезде  
звезда ты зрачок моего щенка  
она говорит да а ты его щека  
потом ты поднимаешься и идешь к реке  
и кто-то гладит тебя по щеке  
и только камни на дне  
не о щенке и не обо мне

•

Ни красоты ни красивости  
в нахаловке растут дома  
вокруг пива сибери ибо здесь  
земля готова быть цухом сама  
сразу на тебе ладошку под ухо  
улыбаешься и падаешь  
вернее спать спать спать  
сизые травы нюхать  
маму звать  
ни красоты ни красивости  
руки для милостыни  
ноги чтобы ими сучить  
ну не мне вас учить  
за землю хватать-хватать  
господи покачай кровать  
стоя падать легко  
страшнее когда лежа

глаза прозрачные как мамино молоко  
и грязь над бровью  
там где родинка у нее же

●

всем хорошо, и храпящим, и не уснувшим.  
те отдыхают, эти куют смирение.  
те подышают, эти жуют варенье,  
поочередно тянутся с боковушек  
ноги с кругляшками пальцев мне прямо в душу,  
маленькие новорожденные железнодорожные.  
пальчики ваших кривых человеческих ножек —  
розовые бегемотики под одеялком.  
ляльки хорошие.  
всех почему-то жалко.  
жалко-жалко.

●

он братом, как птенца на рукавице —  
сквозь все свое,  
больницы мимо с надписью «больница»,  
и чаши со змеей,  
за поворотом в трубочку акации  
свистел дурак.  
он наклонялся, чтобы наклоняться,  
и жил, чтоб так.  
на палисады, на простые рамы  
шел ветер, воя.  
и двухэтажки падали дарами  
на лобовое,  
был розовый сквозь желтый и зеленый,  
как кожа, как сукровица стен.  
я прожила когда-нибудь, влюбленной  
не в тех совсем.

лежать ничком, и нытиком за нычкой  
тянуть ладоши...  
но клювик мой, но эта рукавичка,  
о боже, боже.

## ПЕСНИ

1

Потянул с горы дымок,  
Ты его на локоть.  
Будет ужин нам, сынок,  
Станет мамка цокать.  
А всего-то и делов —  
Рыбу кликать свистом.  
Наш серебряный улов  
Станет золотистым.  
Пусть вечерние огни  
Скроет занавеска.  
«Люди добрые они,  
Только выпить не с кем».

2

Под белой горой не горюй укрой  
Пойдем дрова пойдем воду пойдем укроп  
Лук редьку  
Один Гришка второй Петька  
Агу агу мы стояли на берегу  
И смотрели на берег другой  
Через Селенгу  
Селенгой  
Дым, дым, дымы.  
Ай да мы.



3

Пой еще песен  
 Среди берез и сосен  
 А то плесень  
 В голову  
 А то уносит  
 голого  
 Земля ногу  
 Впитывает понемногу.  
 Но небо гомонит, гомонит.  
 Сын у меня снит.

•

про это чудо покрасневших век,  
 пока читал он, говорили, то есть  
 одна я говорила —  
 посмотри, он так читает и краснеют веки.  
 наверно, сквозь него проходят реки,  
 и люди длинно кашляют махоркой  
 наверно, сквозь него идут калеки,  
 урюмый ряд, и им бросают корку  
 одну на всех. и все на одного  
 мальчишку мы сейчас, а сквозь него  
 он сам не знает, а проходят оси,  
 и может тонкий темноглазый Осип  
 под этим веком, небом бормоча,  
 сюда приходят с длинного луча  
 из тонкой прорези шестиугольной крыши.  
 читает мальчик, и закат над нами,  
 и мы молчим своими головами.  
 мы наконец-то ничего не слышим.

А н д р е й Ч е м о д а н о в

К Е Д В I С В О Б О Д В I

•

жизнь прошмыгнула как будтомышь  
знаете если честно  
я из нее вспоминаю лишь  
банку от майонеза  
бабушка в банку сажала лук  
обыкновенный репчатый  
и говорила андюша look  
скоро он будет стрельчатый  
пялился мальчик во все глаза  
в банку на подоконнике  
не отвлекали его из а-  
бэвэгэдейки комики  
был он угрюм хотя очень мал  
с банкой играл в смотрелки  
чтобы увидеть как лук давал  
бледные чудо-стрелки  
лука уж нет да и бабки нет  
стрелки на циферблате  
свой незатейливый пируэт  
пляшут как на зарплате  
тикало время ушла жена  
та что была законной  
мальчик по-прежнему у окна  
смотрит на подоконник

●  
на втором этаже перед бездною  
я сижу у себя в конуре  
наблюдая как светят небесные  
непонятные точки тире  
это звезды сошедши с орбиты  
пишут мне из вселенских краев  
что на блюдцах ко мне айболиты  
прилетят и я буду здоров  
но назавтра отвечу вам честно я  
на втором этаже как в норе  
это глупые и бесполезные  
и невнятные точки тире

●  
мы стоявшие у турникета  
и аскавшие пяточки  
износили свободы кеды  
откололи свои значки  
быстро выросли а не умерли  
наплодили систем и схем  
люди прибыли люди убыли  
кто никем был тот стал кто кем  
из веселого наглого шкета  
вырос грустный седой нахал  
я ходил вчера к турникету  
мне не дали и я б не дал

●  
держи меня не отпускай меня  
поймай меня на шутке на улыбке  
в твоей ладони гладкий камень я  
в твоей душе я шепот я ошибка

держи меня как камень перед тем  
как он поскачет по воде по глади  
я самая дурацкая из тем  
о ней не пишут девочки в тетради  
шепни что я другой я ведь иной  
ты точно знаешь полететь куда мне  
прыг-скок прыг-скок по глади водяной  
а не на дно как остальные камни



не ловите в храме покемонов  
лепреконов в храме не ловите  
душам православного омона  
вы моральных травм не наносите  
то и се и это незаконно  
ты для них и жид и п\*\*\*рас  
на руси не ловят покемонов  
это покемоны ловят нас



допустим день рожденья бродского  
его постят кому ни лень  
а вот у васьки нищебродскова  
вполне простой рабочий день  
великолепный фрезеровщик  
он друг станка детали маг  
всегда готовый к сверхурочным  
а так же выпить не дурак  
закусывая папиросу  
он отдыхая от труда  
читает кафку и спинозу  
и одобряет иногда  
порой заслушавшись сальери  
попыхивая табаком

сидит над данте алигъери  
 о вечном думая тайком  
 а нам лишь бродского постить бы  
 когда напомним календарь  
 не поняли и не постигли  
 что типа каждый божья тварь

●

нас как будто вырвали из комикса  
 мы карикатурные ублюдки  
 но давайте что ли познакомимся  
 все равно в одной же тонем лодке  
 были мы прекрасны и несчастливы  
 жили мы уродливо но стильно и  
 разорвите сердце мне на части вы  
 только без душевного насилия  
 не того пожалуй матом крыли мы  
 а теперь на выход и с вещами  
 а когда-то мы дышали крыльями  
 мы когда-то крыльями дышали

●

если выдержу зиму то ради москвы  
 ради нашей любви и весеннего здрасте  
 я бычок уроню между листьев травы  
 и сверну к магазину и вот оно счастье  
 в этом солнце заложеном за воротник  
 той на пузе завязанной синей ковбойки  
 будет что-то от песни про «есть только миг»  
 заугольной шеснацатигранной попойки  
 в этом будет арбатский классический шик  
 умирая ничью не забрызгать рубашку  
 перед смертью я вспомню точильщика вжик  
 и как матери звали детей на степашку

как хрустела земля в перочинном ноже  
как плясали карбидные черти в бутылке  
как ходили поссать меж гнилых гаражей  
а не красные стены кремля и бутылки

•

на позор семье родне на горе  
с глупым ощущением победы  
даже и с фамилией григорьев  
все равно пошел бы я в поэты  
дело наше далеко не в фио  
думаю не в пятом пункте даже  
главное все сложится красиво  
слово как само где надо ляжет

Феликс Чечик

ПОВОДОК

•

Жизнь продолжается... Ну, что ж,  
давай продолжим — я не против:  
продолжим боль, продолжим дрожь  
и ужас наших подворотен.  
Ведь нам с тобой не привыкать  
к тому, что мы не человеки;  
давай отложим жизнь опять  
ненадолго тире навеки.  
И обезвоженным дождем,  
как над владивостоком-брестом,  
обнявшись навсегда, пройдем  
по главной улице с оркестром.

•

моим друзьям и одноклассникам  
жило от счастья вдалеке  
на металлическом коротком  
и бесконечном поводке  
освободившись наконец-то  
и сделав прошлому рукой  
они заторопились в детство  
как будто в детстве есть покой

•

1

Портретом Набокова  
дырку прикроешь в стене,  
чтоб око за око  
и ворон упали в цене.

И певчая птица,  
которой названия нет,  
навек растворится  
за стенкой дырявой, где свет.

2

*... вон, участок, в таком-то ряду.*

*Ю. Г.*

На кладбище таком-то,  
на участке таком и ряду,  
нет, не рвется, где звонко,  
но пустыню имеют в виду.  
Гонка по вертикали  
там, где звезд золотые плевки:  
на попутках с тюками  
и на челленджерах челноки.  
С утюгами, с постельным,  
как саван — последним бельем,  
конопляным, предельным,  
Донбасским, поросшим быллем.  
На таком-то кладбище,  
где просеивает решето, —  
без любви и без пищи  
не останется больше никто.  
На такой-то планете, —  
и, по-видимому, навсегда,  
разорвавшая сети,  
пустынная светит звезда.

●

Поставят на уши весь двор:  
два «Рислинга» и три «Кагора».  
Кто — Кьеркегор? Я — Кьеркегор?  
За Кьеркегора!  
Не на чужие — на свои, —  
не вымокли, но отсырели.  
За метафизику любви  
и физику в кустах сирени!



Потом на танцы. А потом  
лежать в траве девятым валом  
и звездный лицезреть понтон  
и муравьям светить фингалом.  
А утром снова на завод;  
и снова этим опечален —  
в автобусе сблюет, вот-вот,  
метафизический датчанин.



переводную картинку  
времени переведи  
и под ночную сурдинку  
сердце забьется в груди  
летним лете́йским ли водам  
вынесет свой приговор  
сурдо ночным переводом  
пламенный глохнет мотор



По шерсти глядя кошку  
и за ухом собаку,  
присядем на дорожку  
и улыбнемся мраку.  
Традиция такая —  
присесть, хоть на мгновенье,  
чтоб, сердцу потакая,  
любовь текла по вене.  
Пока еще есть время  
(на доньшке, почти что)  
и не прогнуло бремя  
и в летнем небе чисто,  
и никого, и кроме  
нас — нет на белом свете  
и только плачут в доме  
животные, как дети, —  
уже не понарошку  
ночь обживаем эту...

Присядем на дорожку  
и улыбнемся свету.



С тех пор, как минимум, лет сто  
прошло, а, может быть, и двести:  
мой плащ с твоим полупальто  
на вешалке висели вместе.  
Мой кожаный и нежный плащ  
с твоим полупальто в горошек;  
не плачь, что время, как палач  
казнит и не щадит хороших.  
В Москве, как в цирке шапито,  
разгуливали по морозу.  
Где плащ и где полупальто,  
которые не знали сносу?  
Их нет, как нет и нас с тобой.  
И веры нет и нет надежды.  
Лишь неба полог голубой —  
все, что осталось из одежды.  
Но плащ висит в прихожей вновь  
с полупальто в обнимку снова,  
как бесконечная любовь  
на фоне неба голубого.



Младенец пахнет: лесом, полем,  
сиренью, мартовской рекой,  
прибоем, звоном колоколен,  
не нарушающим покой.  
Он — всюду, — от него не деться,  
состарившемуся тебе.  
И запах счастья и младенца  
у снегопада в декабре.

Максим Матковский

ВЕСЕЛЫЙ ХОРРОР

•

спустя много лет после войны,  
русские полюбили Гитлера,  
вешали его портреты дома,  
перечитывали его книгу, пересматривали его выступления,  
немцы же полюбили Сталина,  
немецкие мужчины отращивали усы, как у Сталина,  
немецкие женщины называли своих детей —

Сталин или Сталина.

а китайцы, как были коммунистами, так и остались,  
мумию Ленина продали китайцам за пять миллиардов долларов,  
и перевезли из Москвы в Шанхай,  
построили для Ленина новый мавзолей-небоскреб  
и воскресили Ленина — вот чего достигли китайцы:  
заходишь в мавзолей, а Ленин там на лифте катается туда-сюда,  
туда-сюда,  
или сидит сам в кинотеатре,  
или обедает на крыше в самом дорогом ресторане,  
за миллион долларов можно пообедать с Лениным,  
и расспросить его обо всем, говорит он пока плохо,  
но дает понять, что ему все это нравится.

•

с чего ты взял, что людоед — это плохой человек?  
послушай, жертва пропаганды.  
людоед — это человек с убеждениями,  
он религиозный, полезный член общества,  
прививает своим детям любовь к родине, родному языку,  
он уважает стариков, работает на благо государства,  
а по выходным со всей семьей ходит в церковь,

иногда ест человечину, что же здесь такого,  
неужели тебе жалко для человека,  
который борется за твое будущее, хотя бы один палец,  
хотя бы двух пальцев?!  
у тебя же их целых двадцать.

●

где-то прямо сейчас лежит в кровати  
одинокая красивая женщина,  
она мечтает лишь о тебе,  
о твоей лысине, полноте, седине, пивном животе,  
мечтает о том, как ты на нее залезешь,  
покатаешь на своем старом ланосе и познакомишь  
со своими ворчливыми родителями,  
а потом вы поженитесь — ты и она на фотографии.  
у вас будут дети, и вы будете счастливы —  
вот об этом мечтает одинокая красивая женщина по ночам,  
жаль, что ты уже спишь.

●

он играл в хоккей с мячом за «Волгу»:  
перспективный игрок — так все говорили.  
после игры возвращался к себе в номер и ошибся дверью.  
в комнате сидели десять человек с приклеенными  
ко лбам бумажками.  
у одного было написано — Терминатор, у другого — Гитлер,  
а еще в углу сидела женщина в очках с толстыми линзами,  
она была Сатаной.  
он никогда такого не видел.  
— Какого хрена здесь происходит? — спросил он.  
— Мы детские писатели, — ответила Сатана.  
Терминатор и Гитлер молчали.  
потом он вернулся к себе в номер и до утра не мог уснуть,  
на следующий день играл плохо и вообще решил бросить.  
И мяч, и клюшку.

●  
когда протекло колено под мойкой,  
когда в дом залезли воры,  
когда жена изменила,  
он сказал: я напишу про это прекрасные стихи.  
он сел писать про это стихи,  
но стихи были плохими,  
а из всего, что случилось —  
можно было исправить только колено под мойкой,  
что он и сделал,  
колено больше не текло,  
и он решил про это тоже написать стих.

●  
сама не знала, почему так любит гулять по кладбищам,  
ее называли то ли готессой, сатанисткой, то ли придурошной.  
меж могил бродила и слушала, что мертвецы шепчут там,  
конечно, мужика найти не могла, попадались лишь  
пьяницы-поэты, говнари-музыканты и толстяки бородатые.

а потом мертвецы восстали и захватили мир,  
живые стали не то что бы рабами их, но не совсем свободными.  
ее же взяли работать переводчицей с мертвого на живой,  
переводила для самого президента первой мертвой республики.  
познакомилась с богатым, красивым мертвецом,  
волосы у него были цвета медного купороса — как он любил ее.  
все подружки ее, вышедшие за никчемных живых — завидовали.

●  
на даче ее похитили пришельцы,  
как же она сопротивлялась! бегала по лесу,  
собрала ружье, отстреливалась.  
они ей предложили: стать гробом, курицей  
или моей девушкой.  
она выбрала гроб,

— [НО] —

но инопланетяне сказали: нет,  
она хотела стать курицей,  
но инопланетяне сказали: НЕТ!  
тогда она стала моей девушкой.  
нет хуже мучения, нет ничего хуже,  
чем быть моей девушкой,  
лучше бы курицей или гробом,  
каждый день она спрашивала: за что мне все это?  
я отвечал: не знаю,  
люди со звезд,  
у них свои правила,  
я здесь ни при чем.





Русская экспедиция



Глеб Шульпяков. Письма из Заволочья. Эссе

Глеб Шубиных

## ПИСЬМА ИЗ ЗАВОЛОЧЬЯ

От Вологды до Великого Устюга полтысячи километров, и большую часть пути дорога идет в безлюдной глуши, нет даже вышек связи. Чаща расступается, чтобы пропустить широкую реку, поразительную в своих высоких, как в Сибири, берегах. Снова лес, лес. Через два часа хорошая дорога кончается, скорость падает до велосипедной. Это единственная дорога, которая связывает город с внешним миром.

Устюг и есть такой город-остров — памятник зыбкости культурного и рыночного величия, которые в контексте большой истории никогда не имели решающего значения. Идеальная почва для меланхолии, но она здесь отсутствует — когда до большой земли *так* далеко, чувствуешь не уныние, а прилив энергии. Не то что притяжение Москвы — Вологды с Архангельском здесь почти не чувствуется.

Мое путешествие в Устюг началось в Германии, причем самым неожиданным образом. Однажды в Берлине моя добрая приятельница повела меня в музей экспрессионизма. Услышав русскую речь, с нами заговорила средних лет смотрительница. Она была из иммигрантов и первые годы провела в Любеке, где, оказывается, родился и вырос будущий русский святой Прокопий Устюжский. То есть он был немцем, этот святой, и звали его сначала Якоб. Потом она стала говорить о картинах. Ее претензии к немецким художникам были экзистенциального свойства, она считала, что людей в принципе нельзя изображать уродами, «для человека это оскорбительно».

История с музеем будет иметь продолжение, пока же в Устюге полночь, здесь тихо и темно, как в деревне. Слышно тьякканье собаки и пахнет дымом. Однако утром под окнами такой шум, словно это Садовое кольцо. Машины снуют с невероятной озабоченностью, и все они едут за реку, где поля засажены чем-то желтым. После обеда дорога пустеет. Видно, работы в городе мало и делают они ее быстро, чтобы заняться — но чем? Ни театров, ни клубов в Устюге нет,



ближайший книжный магазин в Вологде, а единственный кинотеатр и тот закрывают.

Сухона и Юг, на слиянии которых стоит Устюг, образуют Малую Северную Двину. Ниже в нее впадет Вычегда, Малая становится Большой и катит к Архангельску в море. Устюг — от Юга (устье Юга), здесь был перекресток главных транспортных потоков допетровской Московии. Вниз по Двине шли в Белое море: Дания, Голландия, Англия. Или волоками в Новгород, это города ганзейского союза. А вверх по Югу или Сухоне (ударение на первый слог), либо в Шексну и на Вологду, либо через Каму в Казань, то есть Волгу, на Восток. Из бассейна в бассейн (из Двинского в Камский, например) корабли тащили волоком, страну «за волоками» называли Заволочьем, а жителей *чудью заволоцкой*. Кто «сидел» на волоках, на входе в Заволочье, то есть имел с чуди пушнину. Меха, которые мы видим на портретах османских султанов, отсюда и на персидских тоже. Что ввозили? «Ювелирку», бумагу, пряности, вино. Третью голландского экспорта составлял металл, из которого чеканились московские деньги. Оружие, сукно (в особенности шерстяные ткани). А вывозили лен, сало, мед, пеньку, кожи, меха и черную икру с Каспийского моря. Валютой был *талер*, ефимок по-нашему, Карл V чеканил его в местечке Иоахимсталер, откуда и пошло русское название (Иоахим-Ефим-*ефимок*), и это тот самый талер, который потом станет долларом. Торговля шла на восток, и волокни перемещались, и сказочно мерцающее *заволочье* отодвигалось тоже. Русь и весь, югра и коми, и славяне, бежавшие от монголо-татарского разорения, здесь смешались. На улицах Устюга и сегодня поражает количество светловолосых людей.

К 1917 году в Устюге было около полусотни церквей и храмов, и довольно большая часть уцелела, что само по себе невероятно (значит, расстояние все же имеет значение). Храмовый центр города называется «соборное дворище», которое язык норовит переименовать в «сборище», поскольку церкви стоят одна к другой, как сдвинутая посуда. Это самый впечатляющий архитектурный ансамбль XVII века, который мне приходилось когда-либо видеть. Любоваться им лучше всего с противоположного берега Сухоны. Тогда этот вид заставляет забыть о себе и времени. Большая редкость, чтобы в рамку одного пейзажа не влезло какое-нибудь советское или современное

убожество. А здесь такое ощущение, что попал в фотографию Прокудина-Горского.

Из-под фундамента главного храма города — Прокопия Праведного — на улицу смотрит большой бурый камень, где по легенде сиживал сам юродивый, хотя любимая его «точка обзора» находилась не здесь, а при слиянии Юга и Сухоны, где первоначально находился будущий Устюг, тогда еще Глядень. Но из-за подвижности речного русла его перенесли на новое, нынешнее место. Прокопий, тогда еще Якоб, родился в первой половине XIII века и был сыном немецкого купца. Он пришел в Устюг из Новгорода, где в одну из торговых поездок, out of the blue — ушел от купцов-товарищей из фактории, роздал отцово богатство на монастырь и нищим, принял православие и заключился в Хутынском монастыре (куда в основном и пошли его деньги). Житие датирует это событие серединой XIII века. Со слов опять же летописных, Якоба якобы поразила полнота религиозной жизни Новгорода, красота церковной архитектуры, колокольные звоны и все прочее, что невозможно перечислить, ибо недостоверно и недоказуемо. Что было причиной на самом деле? Этого мы никогда не узнаем. Возможно, да. Возможно, нет. Однако имя одного человека нужно назвать обязательно, и это Франциск Ассизский; великий нестяжатель и странник, чья проповедь именно в то время проникла не в одну душу. И вот немец Якоб словно буквально следует примеру безумного итальянца. Тот тоже вел отцово дело в чужих землях, пока не бросил — а Якоб бросил, когда его отец умер, погиб на войне. Дальше оба судьбу выбирали сами, Франциск отшельничал и странствовал по Италии, а Якоб остался в Новгороде. Но в монастырь на заключился (как уговаривали старцы), а пошел «буйствовать» (юродствовать то есть). Молитве и уединению предпочел активную проповедь — что было опять же в точности по Франциску Ассизскому. Правда, в Новгороде осесть Прокопию не удалось, Христа ради юродивых там и без него хватало, и он ушел искать другую аудиторию. Отправился в свободное плавание.

Устюжское барокко невозможно ни с чем спутать, пятиглавые храмы возносят купола как паруса на мачтах. Они плывут над лесом. Картуши на фасадах часто сравнивают с рулонами морской карты, а сами храмы с двухпалубниками, хотя какие парусники у русских купцов в XVII веке? Какие карты? Барки, звезды. В этой архитекту-

ре больше стремления за горизонт, за мечтой о богатстве и славе, о новой хорошей жизни. До выхода Петра на Балтику Устюг слыл богатейшим городом Севера, и движителями его прогресса были — купцы. Просвещенные в странствиях, они изукрашивали храмы «по виденному» в Москве и Европе, тем более что строгих правил тогда не было, а только рамки традиции (пятиглавье, крестово-купольная, шатровая). И чтобы перещегоолять соседа, разумеется. Скажу кстати, что подобный всплеск новой архитектуры в России случился только в эпоху модерна, и снова локомотивом выступило европейски просвещенное, путешествующее купечество. Морозовы, Рябушинские — модерн в Москве это их заказы, их вкусы.

Самым ярким (хотя, может, и не самым крупным) храмом Устюга я бы назвал Вознесенский. Соорудил эту церковь купец Никифор Ревякин в воспоминание о московском храме Рождества Богородицы в Путинках, только у Ревякина вышло повыше и погуще с узорочьем. Этот купец входил в Гостиную сотню (тогдашний «список Форбса») и часто бывал в Москве. В одном из приделов церкви сохранился допетровский иконостас «на тяблах» — это когда тянули от стены к стене балки, а между ними как на полках расставляли иконы.

Почему Прокопий выбрал Устюг, а не Архангельск или Тотьму? Неизвестно. Может, город на большой реке напоминал ему родной Любек, а может, здесь его наконец перестали гнать. Ходил он, как и Франциск Ассизский, в одном платье, хотя что хорошо в Италии, трудно представить на русском севере — житие изобилует рассказами о чудесной «морозостойкости» юродивого (которая, впрочем, совершенно не трогала скупые сердца северян). А три кочерги, которые он всегда таскал с собой — то ли три реки символизировали, то ли Святую Троицу, неизвестно. Предание сообщает только, что кочергами этими он любил постукивать под окнами живших семейно, хотя чаще сидел над рекой в одиночестве, встречал и провожал барки. Или бродил по городу, призывая жителей к покаянию. Но никто его не слушал, никто не воспринимал всерьез. Да и говорил он — на каком языке? А гнали в основном из-за запаха, от которого «даже собаки шли от него». Он и был как собака. Понять, чего лает, невозможно, а прибить — жалко. И только задним числом понимаешь, чего эта собака надрывалась.

Антикварным лавкам русской провинции я мог бы сложить оду. Кашин, Егорьевск, Галич, Нерехта, Волочек, Углич, Касимов, Кострома... Все разные и всё в них зависит от того, кто торгует. Есть закусочки размером с тамбур, где каждый предмет с любовью подобран и сам просится в руки. А бывает — целый магазин, а смотреть не на что. В Устюге тоже есть антикварный, и ничего, кроме монет (судя по витринам), здешних жителей не интересуется. Икон мало, сундуков, самоваров, бутылей мало, да всего мало; голые стены в советских вымпелах. Однако именно здесь я нашел то, что нигде раньше не попадалось. Ерунда, мелочь — заглушки для воздуховода, здесь они подпирали дверь; сразу не заметишь. Известно, что в антикварных нужно торговаться, но устюгский продавец сказал «нет» так спокойно, даже равнодушно, что я не удержался и спросил: почему? Это вещь редкая, ответил он.

«В один день блаженный стал усердно ходить по городу и призывать людей к покаянию. Ибо настало последнее время и грядет суд Божий, говорил он на площадях и рынках, и потемнеет небо, и обрушится на головы нечестивых град камней огненных. Люди же смеялись над ним. Он тогда удалился в храм Успения Богородицы и молился там. На третий день молитвы случилось по сказанному, потемнело небо, из черной тучи стали падать огненные камни и пожгли лес, и нивы, и деревню. Из людей же никто не пострадал».

Есть точная дата этого метеоритного дождя — 25 июня 1290 года. Место, где он «просыпался» и где сторела деревня, с того времени и до самого последнего времени было местом паломничества, стояла даже часовенка. На главной иконе, которая хранится в ревякинской церкви Вознесения, Прокопий изображен под черной тучей, из которой языками вылетают огненные звезды. А вторым его чудом было пророчество о судьбе Стефана Пермского. Вот, повторяю, и все, что известно. Но. Важно ведь не *как* или *что* было (или было придумано), а то, как это «было/не было» реализует себя во времени. Потенциал истории. В 20-х годах XX века Любек стал одним из центров русской жизни в эмиграции. При кирхе Святой Екатерины образовался православный приход, церковь стала, само собой, Прокопьевской, она и сейчас действует. А в самой кирхе (по легенде) когда-то крестили Якоба. Одна из древних икон с изображением юродивого, вывезенная в революцию, находится здесь. Можно сказать, Прокопий вернулся

в родной город, такая вот неожиданная рокировка. Хотя почему неожиданная? Эмигранты; без дома; шли из города в город; начинали жизнь с чистого листа. Это история и вообще не о чудесах или пророчествах, она о смене участи. Бог, история, фатум — можно ли человеку без вмешательства извне переменить в себе всерьез хоть что-то? Легче реки повернуть вспять, чем стать другим хотя бы на миллиметр (человек от сигареты-то отказаться не может). Бросить все и уйти от мира, уйти в мир? Как и чем «накапливается» подобное решение? Именно поэтому каждый раз мы с таким вниманием всматриваемся в судьбу людей, которым эта перемена, этот побег — удался. Франциск Ассизский, Прокопий Устюжский, множество святых и подвижников. Да что ходить далеко — Лев Толстой. Чудо ведь не в том, что человек все бросил. А в том, что произошло в его душе, чтобы он сделал выбор. Возможен ли вообще для человека нашего времени свой путь? Возможны ли сегодня юридические, я хочу сказать?

\* \* \*

...Все это были картины времен Веймарской республики. Грубые гоголевские лица, грубые позы и жесты. «Дегенеративное искусство», персонажи из «Королька» Набокова. Как вдруг происходит вот что. Немолодая, невысокая, в мешковатом синем костюме — смотрительница. Стоит за створкой двери (я еще подумал: так в «Бесах» стоял Кириллов перед выстрелом, наверное).

— Вы как хотите, а я на это смотреть не могу.

Это она говорит на чистом русском.

— Простите?

— Наверное, это особенность взгляда художника, — говорит моя спутница. — Такими они нас видят.

— Каким человека видишь, таким он и будет, — она.

В дверях появляется смотритель-немец.

Та переходит в другой зал.

Знаками подзывает.

— Человек по природе злой или добрый?

Это она спрашивает, когда мы подходим.

— Добрый, — говорю я.

— Искусство должно возвышать или нет?

Мы переглядываемся.

— Да.

— Где ж *здесь* возвышение?

Она показывает рацией.

— Мне как человеку унизительно это видеть. Мне...

Снова появляется немец.

— Приятно было пообщаться.

Это говорит моя спутница.

— Долго мне здесь не продержаться. — Это говорит она.

Ее уверенность поразительна.

— Почему ж?

— Из прошлого музея меня через четыре дня выгнали.

На прощание я даже не знаю, что пожелать ей.

Откуда она?

Откуда вообще такие берутся?

— Из Прокопьевска.

Это она говорит перегнувшись через перила, когда мы уже выходим из музея.

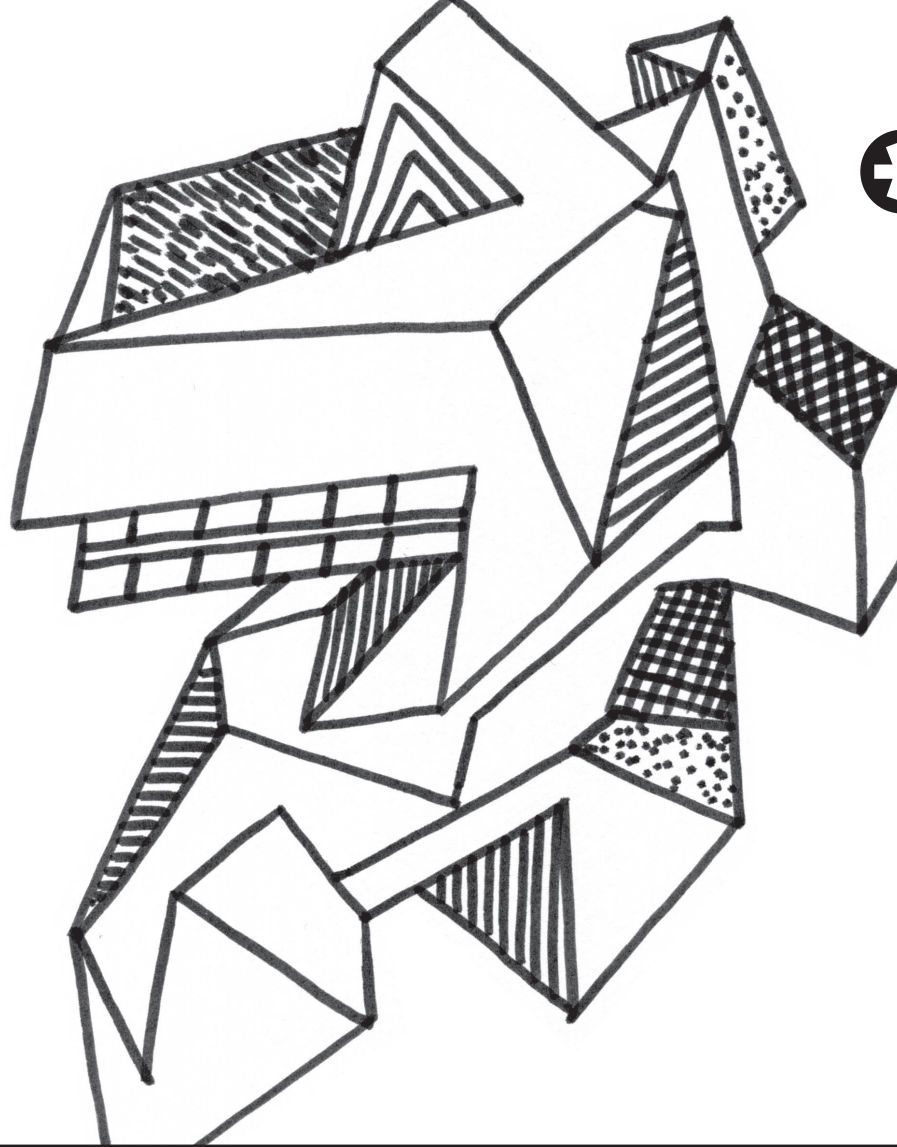
— Кемерово знаете?

Сперва я не придаю этому значения, но когда мы садимся в парке на лавку, все ж набираю название в интернете.

Ну, разумеется!

Так вот и складывается книга путешествий.





**Жорж Дюваль.** Воспоминания о терроре.  
*К 229-й годовщине взятия Бастилии.*

*Предисловие и перевод с французского Елены  
Морозовой*

## ВОСПОМИНАНИЯ О ТЕРРОРЕ

## К 229-й годовщине взятия Бастилии

Жорж-Луи-Жак Лабии (1772–1853), более известный как Жорж Дюваль, — драматург, современник Французской революции, он написал две книги воспоминаний: «Воспоминания о Терроре» (1841–1842) и «Воспоминания о Термидоре» (1843). «Я описываю события так, словно они произошли сегодня, как будто они вновь разворачиваются перед моим взором, а потому не опускаю ни малейших деталей, — пишет Дюваль в предисловии. — И я был рад, что видел все собственными глазами, а потом мог сам судить о том, насколько их искажают по неведению или по расчету».

Но Дюваль — не беспристрастный свидетель, он ярый противник революции, и рассказ о многих, ставших хрестоматийными, событиях тех дней в его устах звучит однозначно отрицательно. Дюваль много внимания уделяет деталям, за которыми зачастую теряется историческое значение происходящего. Но именно из впечатлений очевидцев складывается живая история повседневности, которая, откликаясь на великие потрясения эпохи, идет своим чередом.

Ниже с небольшими сокращениями приводится рассказ Дюваля об одном из самых «пронырливых» (по словам Жоржа Ленотра) участников штурма Бастилии 14 июля 1789 года — об аббате де Ла Рейни де Ла Брюйер, и воспоминания самого Дюваля о праздновании первой годовщины падения Бастилии.

14 июля, на рассвете, аббат де Ла Рейни вместе с парикмахером Сире и сапожником Шаландоном, формировали отряд будущих участников штурма Бастилии. Между часом и двумя часами пополудни, после того, как купеческого прево Флесселя растерзали на Гревской площади, но стрелять еще не начали, я встретил аббата во главе полка, шагавшего по улице Нонандьер. Де Ла Рейни был в сутане с надетой поверх перевязью, на которой болталась сабля, в руках он держал ружье. Я не удержался и спросил аббата, куда он идет.



— На войну! За славой!

— В сутане?

— Почему бы и нет? Проповедник Феардан шел в процессиях Лиги с мушкетом под мышкой и в кирасе под рясой! Впрочем, я также иду заботиться о раненых как добрый самаритянин и отпускать грехи умирающим. А вы с нами?

— Благодарю. У меня дела в ином месте.

И сей служитель Господа отправился штурмовать Бастилию. Надо сказать, де Ла Рейни показал себя далеко не трусом: он одним из первых ворвался в древнюю крепость, сорвал с груди ее коменданта де Лонэ крест Святого Людовика и гордо украсил им свою сутану. Щеголя наградой, добытой на поле боя, он присоединился к тем, кто, схватив за шиворот несчастного коменданта, потащил его к ратуше, на ступенях которой его потом и убили. Не утверждаю, что аббат де Ла Рейни находился среди убийц коменданта Бастилии, но он вполне был на это способен. Если бы аббат дожил до тех дней, когда Лафайет назначал пенсии участникам штурма Бастилии, я бы привлек особое внимание маркиза к этому ветерану свободы за его многочисленные героизма, совершенные в тот достопамятный день. Об одном из наиболее выдающихся его подвигов я и намерен вам поведать.

На протяжении десяти минут аббат де Ла Рейни наблюдал, как расправлялись с офицерами бастильского гарнизона. Неожиданно он вспомнил, что в тюремной часовне хранилась дорогая церковная утварь, и направился обратно в крепость. В поисках входа в часовню он встретил старого капеллана, который пытался спастись от избытка патриотических чувств захватчиков крепости. Наш аббат сообщил ему, что является служителем церкви, и предложил объединить усилия для спасения священных реликвий, дабы те не подверглись осквернению со стороны нечестивой черни. Капеллан доверчиво проводил его в часовню. Отыскав драгоценную утварь, де Ла Рейни положил в каждый карман по чаше, засунул в поясной кошель диски, спрятал под сутаной две дароносицы и на глазах у изумленного капеллана направился к подъемному мосту, унося с собой дорогостоящие реликвии. Впрочем, аббат обещал капеллану, что доставит всю утварь в ризницу церкви Сен-Жан-ан-Грев.

По дороге планы аббата изменились; он решил, что утварь будет в большей безопасности в комнате девицы легкого поведения, проживающей на узенькой улочке Сен-Бон; у нее де Ла Рейни иногда

отдыхал от бремени священнослужителя. К несчастью, щепетильные граждане сообщили об этом судье по уголовным делам, и тот 8 августа приказал арестовать аббата прямо в доме его любовницы, где нашли большую часть вышеуказанной утвари. Де Ла Рейни и девуцу арестовали и посадили в тюрьму Шатле. Суд, должен был вынести арестованным приговор; но непрерывно заседавшее в ратуше собрание выборщиков решило вырвать их из когтей судьи и потребовало их освобождения. Партия только тогда бросает на произвол судьбы таких людей, как аббат, когда больше не нуждается в их услугах. Зная, что на аббата де Ла Рейни они всегда могут рассчитывать, выборщики вырвали аббата и его любовницу из рук правосудия. Они утверждали, что де Ла Рейни украл крест Святого Людовика у господина де Лонэ и религиозную утварь из Бастилии исключительно из политических убеждений, а за такой поступок судить его нельзя. Этот довод показался судьям настолько серьезным, что и аббата, и девуцу полностью оправдали, и они вышли из тюрьмы чистые, как ясный день.

У этого деяния аббата есть и смешная сторона. Два дорогих церковных сосуда продали еврею с улицы Бобур; не знаю, сколько он за них заплатил, обошлись они ему недешево. Решив половину вырученной суммы отдать в качестве патриотического дара Национальному собранию, аббат де Ла Рейни велел это сделать своей любовнице. Та согласилась, присоединив к деньгам ожерелье из поддельного жемчуга и сопроводив дар письмом, написанным под диктовку аббата: «Господа, сердце мое создано для любви; занимаясь любовью, мне удалось кое-что скопить. Я приношу свои накопления в дар отечеству. И да последуют моему примеру все мои товарки!» В августе 1789, когда развращенность нравов еще не возвели в ранг закона, а разрушение общественных устоев только начиналось, Национальное собрание приказало внести в протокол своего заседания упоминание о даре сей добродетельной гражданки.

\* \* \*

Сегодня я намереваюсь представить вам события, предшествовавшие празднованию Дня Федерации, а также за ним последовавшие. Празднество 14 июля отличалось ярким мишурным блеском, а потому я хочу отделить в этом торжестве главное от второстепенного. Картина, нарисованная мною, значительно отличается от той, которой шар-

латаны от революции вот уже полвека предлагают вам восхищаться; достоинство моего полотна заключается в его подлинности.

Например, вас убедили, что все без исключения население столицы стремилось помогать двенадцати тысячам рабочих, трудившимся над возведением посреди Марсова поля алтаря отечества и сооружавшим насыпи, где предстояло разместить трибуны для многих тысяч зрителей. Что все, молодые и старики, богачи и бедняки, объединенные трогательными узами братства, перелопачивали землю наперегонки друг с другом. Что все эти совершенно разные люди усердно трудились, а в минуты отдыха танцевали под незатейливые звуки нескольких оркестров, расположившихся там же, на открытом воздухе, и пели патриотические песни, простодушно выражавшие народную радость. Что герцогини, маркизы и графини впрягались вместе с рыбными торговками в груженные землей тележки и дружно тянули их, обмениваясь веселыми шутками. Вам говорили, что судейские, чиновники и кюре, за которыми следовали их патриотически настроенные прихожане, соревновались, кто подвезет больше земли для возведения алтаря отечества. Вас убедили, что куртизанка и мать семейства вместе грузили камни на тележку, которую затем толкал епископ, монах или аббат. Все это столько раз написано и напечатано, что вам оставалось только поверить, что в дни подготовки к празднеству на Марсовом поле наблюдали волшебное зрелище, воспроизводившее сцены из времен золотого века. Но не думайте, что все происходило именно так, ибо эти слащавые рассказы в большинстве своем лживы, как и сама революция, в которой все, что не являлось преступлением, оказывалось ложью и сулило лишь разочарование.

Лицемерно заявление, что копать землю приходили даже епископы: в то время еще не было конституционных<sup>1</sup> епископов. Неправда, что на стройке трудились монахи: декретом Национального собрания от тринадцатого февраля религиозные ордена упразднили, поэтому ни один монах не дерзнул прийти на работы на Марсово поле в облачении своего ордена. А если несколько рабочих и явились в монашеских рясах, то это была шутка. Я сам не видел ни одного настоящего монаха. Однако несколько аббатов там все же отметились. Ими оказались несчастные семинаристы, силой приведенные гражданами своих дистриктов; смущенные и запуганные, эти юнцы с тонзурой терпели

---

<sup>1</sup> Во время революции духовных лиц обязали приносить присягу на верность конституции, но закон об этом был принят только в ноябре 1790 г.

непристойные шуточки девиц легкого поведения, чей громкий смех приводил молоденьких аббатов в замешательство. На стройку явилась и целая ватага пронырливых школяров, вычитавших в революционном Евангелии от Лафайета, что восстание является святой обязанностью гражданина. Желая оказать помощь героям взятия Бастилии и 5 октября<sup>1</sup>, выломали двери и бежали из своих коллежей. После всего вышесказанного И не стану отрицать, что в числе работавших на Марсовом поле, оказалось несколько почтенных граждан, равно как и баронов, графов и маркизов, а также сколько-то баронесс, маркиз и графинь. Но как они туда попали, я сейчас расскажу.

Организаторы, хотели показать поколению нынешнему и убедить поколения грядущие, что все классы парижского населения добровольно принимали участие в этих работах. И вот что они делали, чтобы подстегнуть рвение тех, кто с большим удовольствием остался бы дома, нежели равнял кучи земли напротив Военной школы. С раннего утра вооруженные лопатами и мотыгами оборванцы бегали по улицам и с криками «На Марсово поле! Все идем на Марсово поле!» колотили в двери роскошных особняков и приличного вида домов и по-хорошему или силой уводили их мирных обитателей пополнять когорты людей доброй воли, разравнивавших землю и сооружавших трибуны. Когда разбуженные аристократы прибывали на место, их осыпали насмешками и заставляли возить самые нагруженные тележки. По завершении трудового дня изнуренных, а вовсе не исполненных энтузиазма дворян и буржуа провожали громкими патриотическими песнями, в чем я убедился лично. Мелодии этих песен отличались приятностью, чего нельзя сказать о словах. Позволю себе привести несколько куплетов, чтобы вы представили, какие чувства испытывали при этом подневольные строители алтаря отечества. Прежде всего, это знаменитые куплеты *Ça ira* («Дело пойдет на лад»):

*«Ah, ça ira, ça ira, ça ira,  
На фонари аристократов,  
Ah, ça ira, ça ira, ça ira,  
Их перевешать всех пора».*

А также зажигательная Карманьола:

---

<sup>1</sup> 5 октября 1789 года толпа разгневанных женщин явилась в Версаль и вынудила короля вместе с семьей и двором перебраться в Париж.

*Мадам Вето могла грозить  
Нас всех в Париже перебить,  
Но дело сорвалось у ней  
Все из-за наших пушкарей.  
Отпляшем Карманьолу. Славьте гром!<sup>1</sup>*

Но особенно часто распевали куплеты на мотив песенки *Vive Henri IV*, и сами видите, с каким злорадством эти куплеты выбирали:

*Аристократы,  
Вам всем крышка,  
От демократов  
Вы пинок получите под зад.  
Аристократы,  
Вас всех перевешают.*

Эти песни, выражавшие народную радость, звучали на Марсовом поле вместе с другими, им подобными и столь же патриотическими. А так как пели главным образом граждане, готовые исполнить то, о чем говорилось в рефренах, сами понимаете, с каким удовольствием слушали их те, для кого они предназначались. Такое подбадривание не прибавляло рвения трудившимся дворянам, и тогда в один из дней на стройку явилась делегация корпорации мясников. Во главе ее шли трое; один нес красный флаг с вышитой белыми нитками надписью: «Трепещите, аристократы, идут мясники!» Двое других несли пики с насаженными на них окровавленными бычьими сердцами. В роли знаменосца выступал знаменитый мясник Лежандр<sup>2</sup>.

Пока продолжается подготовка к празднику 14 июля 1790 года, попробуем определить, что сулит нам будущее, и поговорим о подвиге, годовщину которого намеревались столь пышно отмечать. Бастилию защищала горстка инвалидов с дюжиной пушек, половина которых пришла в негодность; крепость взяли в результате штурма. Но хочу спросить: почему мятежники решили осаждать Бастилию? Я бы их

<sup>1</sup> Перевод В. Рождественского.

<sup>2</sup> Лежандр Луи (1752-1797) — якобинец, депутат Конвента, член Комитета общественной безопасности.

понял, если бы они направила свой гнев на Бисетр<sup>1</sup>: среди участников штурма находились и те, кто успел побывать в этой тюрьме, и те, кто опасался туда попасть. Но Бастилия! Какое отношение мятежники имели к государственной тюрьме, предназначенной для придворных и говорливых философов? Я готов показать тем, кто полагает преступления революции единичными, что уже с первых дней работы Конституанты эта революция дала множество доказательств своей дурной натуры, ибо уже в младенчестве она вместо молока питалась кровью, а в колыбели играла трупами.

В тот же день чернь Ле Мана направила в замок Жюине, где укрылся господин де Монтессон, брат депутата от дворянства. Его тестя, господина Кюро, в чем-то обвиняли; впрочем, для того, чтобы вас настигла справедливая месть народа, причин и не требовалось. Толпа ворвалась в замок, нашла обоих несчастных, отрезала им нос и уши, а затем и голову.

12 августа в Кане толпа озверелых горожан ворвалась в казармы Бурбонского полка и схватила майора Бельзенса — потому, что Марат в своей газете назвал майора контрреволюционером. Майора выволокли на церковную паперть и расстреляли. Труп Бельзенса расчленили на части, а один человек унес кусок домой, где зажарил его и съел. Я не придумываю, я всего лишь рассказчик, и я поведу вас на Марсово поле, где мы примем участие в общественных увеселениях. Богатого негодяя заподозрили в укрывательстве зерна. Мэр, намереваясь спасти его, отвел его в тюрьму: напрасная уловка! Народ устремился к тюрьме, вломился в камеру негодяя, вытащил его на улицу и разорвал на части. 10 октября некий Лапланш прибыл в городок Варез и заявил крестьянам, что по новым законам им не надо больше платить подати своим сеньорам. Судьи из Сен-Жан-д'Анжели приказали арестовать смутьяна; судебный исполнитель отправился в Варез и арестовал Лапланша. Возмущенные крестьяне попытались освободить арестованного; началась потасовка, стоившая жизни пятнадцати или двадцати крестьянам. Забил набат, зазвучали призывы к восстанию, и толпа захватила мэра — за то, что тот позволил арестовать Лапланша. Мэра связали и повели в Сен-Жан-д'Анжели, где толпа потребовала освободить Лапланша. Власти согласились — при условии, что крестьяне отпустят мэра Вареза. Крестьяне дали согласие на обмен; но как только Лапланш вышел из тюрьмы, мэра тотчас убили.

---

<sup>1</sup> Парижская тюрьма, куда заключали всех «нежелательных элементов» общества: убийц, мошенников, бродяг, нищих, умалишенных, сифилитиков.

Париж тоже не давал забыть о себе. Во время пустякового спора между лейтенантом жандармерии и офицером национальной гвардии лейтенант оскорбительно высказался о национальной гвардии, и его немедленно застрелили. Врач Бове был убит за то, что неодобрительно отозвался о днях 5 и 6 октября.

Все эти злодеяния случились в 1789 году, их не так уж мало, а в 1790-м будет столько же, если не больше. В конце января 81-летний советник парламента, обвиненный в укрывательстве зерна, был растерзан народом, а его труп подвергся недостойным надругательствам. В Марселе коменданта форта Сен-Жан постигла не менее жестокая участь.

Но, возможно, вы скажете, что это отдельные преступления и число их не велико. Не стану возражать, а лишь постараюсь показать вам более полную картину творившихся бесчинств. С факелом в одной руке и с кинжалом в другой мятежники несут смерть и опустошение, поджигают и грабят замки, убивая всех, кто в них живет. Чернь склонна к беспорядкам, но нигде она не действует так неустрашимо, как во Франции, руководимой негодяями, использующими революцию для своих честолюбивых замыслов и ставшими сообщниками ее преступлений. Не прошло и трех месяцев со дня открытия Генеральных Штатов, как в одной только провинции Дофине сожгли тридцать шесть замков, чьи владельцы были убиты или бежали. В Лионе толпа осадила особняк откупщиков и хотела поджечь его, а когда на защиту встали солдаты, их немедленно разоружили, а многих убили и сбросили их тела в Рону. Настоящие сражения с регулярными частями стоили жизни 1200 человек. В Орлеане 600 вооруженных работников остановили телеги с зерном, предназначенным для продажи на городском рынке и разграбили их. Когда же национальная гвардия попыталась отбить зерно, завязался бой: в результате 80 человек лишились жизни. В Божоле за десять дней сожгли 67 замков; в Нормандии разграбили 150 замков. Когда дворянин де Барра попытался защитить свой дом, его разорвали в клочья, а голову водрузили на ограду его же собственного замка.

Чем же занималось Национальное собрание в то время, когда в стране разыгрывались описанные мною сцены? А вот чем. Когда честные люди приходили к депутатам и сообщали о новых злодеяниях, их оскорбляли, а мятежники, подчинившие себе Собрание, угрожали им. Для зачинщиков преступлений Собрание не находило слов ни возмущения, ни порицания. Напротив, его члены единодушно апло-

дировали справедливой мести народа, и эти аплодисменты служили сигналом для новых беззаконий. Громче всех аплодировал Мирабо: «В конце-то концов, что с того? Это первый шаг суверенного народа, сделанный им, чтобы добыть себе хлеб», — восклицал он. А когда от Собрания требовали отомстить за смерть майора Бельзенса и многих других, Мирабо отвечал: «Народу иногда позволено осуществлять правосудие. Он лишь исполняет свой долг, собственноручно наказывая тех, на кого ему указывает глас общества». А герой американской войны маркиз де Лафайет заявил, что «так как прежний порядок являлся рабством, то свобода может установиться только через хаос». При законодателях, исповедующих подобные максимы, хаос воцарится быстро и надолго.

Вот какова обстановка во Франции с 5 мая 1789 года и до 14 июля 1790 года; вот первые плоды революции, сулившей нам золотой век; вот тот счастливый порядок, который Федерацию призвали освятить!

Даже солнце не пожелало освещать августейшую церемонию, и дождь пролился водопадом, остужая энтузиазм зрителей.

Ужасная погода не помешала жителям Парижа с пяти утра собираться на Марсовом поле, дабы занять места на зрительских трибунах. Возможно, людей влекли сюда не только патриотические чувства, но и любопытство. В ожидании прибытия отрядов национальной гвардии и Людовика XVI, я изучал лозунги, развешанные на триумфальной арке.

Первый лозунг меня поразил:

*«Мы не боимся вас, ничтожные тираны,  
Вы угнетали нас, но нам теперь вы не страшны».*

Прочитав его, я подумал, что гнет этих ничтожных тиранов был более благодатным, нежели правление патриотов, отрезавших головы и вешавших неугодных им людей на фонарях.

Ниже я прочел:

«Только король свободного народа может стать подлинно могущественным королем».

Принимая во внимание зависимое положение Людовика XVI, лозунг звучал глупо.

Наконец первый артиллерийский залп известил о прибытии отрядов национальной гвардии из всех департаментов. Едва я занял место на скамье, как на поле торжественно вступили федераты; их



шествие завершилось к часу пополудни. Затем под зонтиками прошли депутаты Национального собрания и заняли места в галерее. Отряды национальной гвардии, выстроившиеся посреди поля Федерации, могли являть собой зрелище воистину величественное, если бы не сильный дождь, из-за которого солдаты, заляпанные грязью до пояса и промокшие до костей, напоминали тритонов, сопровождающих колесницу Амфитриты.

К полудню вместе с семьей прибыл Людовик XVI и занял место на троне посреди галереи. На втором троне, также обтянутом бархатом, уже сидел председатель Собрания. Таким образом, между ними соблюли полное равенство. Говорят, во всех концах Марсова поля звучали восторженные возгласы: «Да здравствует нация!» Но в той стороне, где был я, горланили только одно: «Долой зонтики!» Ибо мешали любоваться шествием. Если хотите послушать крики «Да здравствует нация!», подождите еще четыре года и пойдите на площадь Революции, где каждую отсеченную гильотиной голову будут встречать радостными криками «Да здравствует нация!» Но, повторяю, в день Федерации на Марсовом поле я этих криков слышал очень мало.

Второй артиллерийский залп возвестил о начале мессы на открытом воздухе, которую служил епископ Отенский Талейран. Но сей нечестивый фарс никто не принял всерьез.

Третий залп возвестил, что служба окончена: *Ite, missa est...* Началось приведение к гражданской присяге, текст которой вывесили на триумфальной арке, чтобы его могли видеть со стороны Марсова поля:

«Клянемся в верности нации, закону и королю, клянемся поддерживать конституцию, провозглашенную Национальным собранием и утвержденную королем.

Клянемся защищать людей и их собственность, способствовать честной торговле зерном и сбору налогов и всеми силами крепить нерушимые узы братства».

Впервые народ заставили присягать конституции, которую только предстояло выработать, однако народ покорно принес присягу на доверии. Так что сами представляете, сколь фальшивой была эта церемония!

После того, как национальные гвардейцы Парижа и провинций принесли присягу, настала очередь Его Величества присягать конституции. Король встал и громко зачитал текст присяги. Лафайет, стоя подле Людовика, показывал монарха народу Парижа, подобно тому,

как Понтий Пилат показывал Христа иерусалимской черни. Казалось, он говорил: вот человек, которому мы оставили только терновый венец и тростниковый скипетр: Ессе homo! Вот человек, у которого на глазах мы хладнокровно убивали его верных слуг. Человек, которого мы пленили и доставили в добрый город Париж, где, желая посмеяться над ним, вручили ему ключи от городских ворот. Человек, которого мы взяли под стражу в его собственном дворце и подвергли его унижениям. Ессе homo! Вот человек, которого сегодня мы заставили выйти из темницы, чтобы он присутствовал при триумфе наших извращенных доктрин и освятил своим присутствием годовщину того дня, когда взбунтовавшийся народ и солдаты, изменившие присяге, обрушили старое здание монархии на изуродованные тела ее верных защитников. Вот человек: Ессе homo!

Когда Людовик XVI принес присягу, поклявшись в верности конституции, Талейран подал знак, и хор запел Те Деум, чтобы возблагодарить Господа за счастье и спокойствие, которым Франция теперь обязана революции. Хор умолк, торжества завершились, и все, солдаты и горожане, поспешили к своим очагам сушиться, ибо промокли до нитки.

Глядя, с какой сердечностью парижане и столичные национальные гвардейцы принимали федератов из провинций, можно было подумать, что любовь к отечеству, наконец, объединила всех французов. Всем грезились возвращение золотого века. Но золотой век не входил в планы восстановителей свободы, рассматривавших революцию как свою собственность, и сурово подавленные мятежи во многих городах страны посеяли среди нас страх, рассеяли надежды на счастье и единство.

На протяжении всех дней, что продолжались празднества, Елисейские поля, Гревская площадь и место, где стояла Бастилия, утопали в грязи. Дождь лил как из ведра, а солнце показалось во всей своей красе только спустя день после завершения затянувшихся торжеств. Посему чернь бесстыдно заявляла, что Господь стал аристократом. Если бы представилась возможность, она бы и его вздернула на фонарь!

*Предисловие и перевод с французского  
Елены МОРОЗОВОЙ*



**Уистен Хью Оден.** Рука красильщика.  
Поэт и город. *Эссе.*  
*Перевод с английского Анны Курт*  
Американская поэзия. *Эссе.*  
*Перевод с английского Федора Васильева*

**In memoriam** Памяти Виталия Науменко  
**Санджар Янышев.** Поэтика курьеза. *Эссе*  
**Виталий Науменко.** Книга многих штук

## ОТ РЕДАКЦИИ

Предлагаем вашему вниманию два эссе из книги Уистена Хью Одена «Рука красильщика». Этот сборник впервые был опубликован в 1962 году, поэт составил его из крупных очерков и литературных заметок разных лет. Книга продолжила замечательную традицию английской литературы, в которой поэт — не только создатель стихотворных текстов, но еще и мыслитель, рассуждающий на тему ремесла, природы поэзии и творчества.

Впервые на русском книга выйдет осенью этого года в «Издательстве Ольги Морозовой».

У и с т е н    Х ю    О д е н

## РУКА КРАСИЛЬЩИКА

### ПОЭТ И ГОРОД

*...Если вы считаете себя всем, то будьте хотя бы кем-то или позвольте себе такую привилегию, как сомнения...*

Уильям Эмпсон

*О том, как человеку найти честный заработок, написано мало или почти ничего, достойного запоминания. Ни Новый Завет, ни бедный Ричард ничего не говорят нам о решении этой проблемы. Судя по литературе, трудно себе представить, что этот вопрос когда-либо тревожил чьи-то одинокие думы.*

Генри Торо

Поразительно, как много людей обоего пола на вопрос, что они хотят делать в жизни, не дают разумного ответа вроде: «Хочу быть адвокатом, хозяином гостиницы, фермером» или романтического: «Хочу быть исследователем-первопроходцем, гонщиком, миссионером,

президентом Соединенных Штатов». Великое множество юношей и девушек, как ни странно, заявляют: «Хочу быть писателем», — имея в виду «литературное творчество». Даже если они говорят: «Хочу быть журналистом», — то лишь потому, что в этой профессии, они, как им кажется, будут творить; даже если на самом деле они хотят зарабатывать деньги, они выберут прибыльную околотитулярную деятельность вроде рекламы.

Большинство людей, желающих стать писателями, не имеет ярко выраженного литературного таланта. Само по себе это не удивительно; яркий талант встречается не слишком часто. Удивительно то, что столь высокий процент людей без всяких талантов видит для себя в сочинительстве решение проблемы. Можно было бы ожидать, что некоторые обнаружат у себя талант к медицине, или инженерному делу, или еще чему-нибудь. Отнюдь нет. В наше время, если молодой человек не одарен особыми талантами, он с высокой долей вероятности вообразит, что хочет писать. (Конечно, множество людей без всякого актерского таланта мечтают стать кинозвездами, но они, по крайней мере, наделены от природы привлекательной внешностью и фигурой).

Принимая и защищая общественный институт рабства, греки были жестокосерднее нас, но обладали более трезвым умом; они знали, что труд — сам по себе рабство и никто не может гордиться тем, что он труженик. Человек может гордиться тем, что он рабочий, то есть производит долговечные предметы, но в нашем обществе процесс производства настолько рационализирован в целях скорости, экономии и увеличения объемов, что роль заводского рабочего стала совсем незначительной и потеряла для него всякую ценность: практически все рабочие превратились в подсобных или разнорабочих. Поэтому совершенно естественно, что искусство, которое нельзя рационализировать таким же образом (художник все еще лично отвечает за то, что делает), прельщает тех, кто, не имея явного таланта, не без основания боится, что они пожизненно приговорены к бессмысленному труду. «Прелесть» связана не с природой искусства, а с образом жизни художника: в наше время он, как никто другой, сам себе хозяин. Большинство людей мечтают о подобной независимости, что может привести к фантастической надежде, будто способность к художественному творчеству есть у всех, будто почти все люди могут

творить не с помощью особого таланта, а просто в силу собственной человеческой сущности.

До недавнего времени люди гордились тем, что не должны зарабатывать на хлеб, и стыдились того, что вынуждены это делать. А сегодня кто осмелится в паспорте, в графе «Занятие», назвать себя «джентльменом», даже если у него есть средства к существованию и нет работы? Сегодня вопрос «Чем вы занимаетесь?» означает «Чем вы зарабатываете на жизнь?» В паспорте я назван «писателем»; в отношениях с властями меня это не смущает, потому что иммиграционная и таможенная службы знают, что отдельные писатели зарабатывают огромные деньги. Но если незнакомец в поезде спросит меня о профессии, я никогда не отвечу «писатель» из страха, что последует вопрос: «Что вы пишете?» Ответить «стихи» — значит смутить нас обоих, поскольку мы оба знаем, что никто не может заработать на жизнь стихами. (Иногда я говорю, что изучаю историю средневековья. Это лучший ответ, потому что он притупляет любопытство.)

Отдельные писатели и даже поэты становятся известными общественными деятелями, но у писателя как такового нет общественного статуса, как у врачей и адвокатов — не важно, известных или неизвестных.

На то есть две причины. Во-первых, так называемые изящные искусства перестали быть общественно полезными. После изобретения книгопечатания и распространения грамотности стихи перестали быть средством запоминания, с помощью которого знание и культура передавались из поколения в поколение, как после изобретения фотоаппарата чертежник и художник перестали быть нужными для создания графических документов; их ремесло превратилось в «чистое» искусство, то есть неутилитарное занятие. Во-вторых, в обществе, где господствует этика труда (в капиталистической Америке ее власть, возможно, сильнее, чем в коммунистической России), труд, не приносящий пользы, уже не считается священным (в отличие от большинства античных культур), потому что для труженика досуг не священен, досуг — это передышка в работе, время для отдыха и радостей потребления. Подобное общество с подозрением относится к труду, не приносящему пользу, если вообще интересуется им, — художники не трудятся, значит, они бездельники и дармоеды, в лучшем случае занимаются пустяками, т.е. поэзия и живопись — безобидные хобби.

Пожалуй, наш век может не стыдиться достижений в области чистого искусства — поэзии, живописи, музыки, и он превзошел все былые эпохи в производстве чисто утилитарных и функциональных изделий — самолетов, дамб, хирургических инструментов. Но когда он пытается соединить чистое искусство с утилитарным, производить нечто функциональное и одновременно прекрасное, ничего не выходит. Ни одна эпоха не создала ничего более безобразного, чем средний современный автомобиль, абажур или здание, будь то частный дом или общественное учреждение. Что может быть ужаснее современного делового центра? Всем своим видом он словно хочет сказать служащим, занятым в нем рабским трудом: «В наш век человеческое тело сложнее, чем необходимо для работы: будь оно проще, вы были бы счастливей».

Сегодня в процветающих странах благодаря высокому доходу на душу населения, небольшим домам и недостатку прислуги существует искусство, в котором мы, вероятно, превзошли все другие общества в истории, — искусство кулинарии. (Рабочий человек считает его священным). Если население земного шара будет расти с той же скоростью, это культурное великолепие продлится недолго, и, возможно, будущие историки будут с ностальгией смотреть в прошлое, считая 1950–1970 гг. золотым веком кулинарии. Трудно себе представить высокую кухню (*haute cuisine*), основанную на водорослях и химически обработанной траве.

Поэт, художник или музыкант должен смириться с тем, что искусство делится на утилитарное и чистое, а если он этого не принимает, то рискует впасть в заблуждение.

Если бы Толстой, работая над книгой «Что такое искусство?», ограничился утверждением: «Когда утилитарное и чистое отделены друг от друга, искусства нет», — с ним можно было бы не согласиться, но трудно опровергнуть. Однако он не готов был утверждать, что если Шекспир и он сам — не истинные художники, то современного искусства вовсе не существует. Он просто пытался убедить себя в том, что одной пользы, возможно, духовной, но все же пользы без всякого идеала, достаточно для создания художественных произведений, и это вынуждало его быть нечестным и восхвалять произведения, которые с эстетической точки зрения были достойны презрения. Понятие ангажированного и пропагандистского искусства — продолжение этой ереси, и, когда в нее

впадают поэты, боюсь, причина не в их общественном сознании, а скорее, в тщеславии; они ностальгически относятся к прошлому, когда у поэтов было высокое общественное положение. Противоположная ересь — наделять чистое, неутилитарное искусство магической пользой, отчего поэт начинает мнить себя богом, создающим собственный субъективный мир из ничего, а видимый материальный мир для него превращается в ничто. Малларме, собиравшийся написать священную книгу новой всемирной религии, и Рильке с его идеей: «Песня — это бытие» (*Gesang ist Dasein*) — ересиархи этого типа. Оба были гениями, и, хотя мы можем и должны восхищаться ими, их творчество, в конечном итоге, кажется фальшивым и оторванным от жизни. Эрик Хеллер сказал о Рильке: «В великой европейской поэзии переживания не интерпретируют, а служат откликом на объясняемый мир; в зрелой поэзии Рильке переживания выступают субъектом интерпретации, а затем отзываются на собственную интерпретацию».

Во всех обществах учебные заведения ограничиваются лишь теми видами деятельности и стереотипами поведения, которые данное общество считает важными. В средние века в Уэльсе, где поэты играли важную роль в обществе, молодого человека, обладавшего поэтическими способностями, как молодого дантиста в нашей цивилизации, долго готовили и возводили в ранг поэта, только когда он соответствовал высоким профессиональным стандартам.

В нашей культуре будущий поэт должен заниматься самообразованием; если у него есть возможность, он поступит в привилегированную школу и университет, но такие заведения могут способствовать его поэтическому образованию лишь случайно, а не целенаправленно. В результате огромная часть современной поэзии, даже лучшие образцы, обнаруживает недостаток вкуса, прихотливость и эгоизм, столь часто присущие самоучкам.

Зрелый художник, живущий в мегаполисе, может прекрасно в нем освоиться, но для будущего художника (если только его родители не слишком бедны) большой город опасен: слишком рано на него сваливается все самое лучшее в искусстве. Эта ситуация напоминает связь мужчины с умной и красивой женщиной двадцатью годами старше него; слишком часто он обречен быть «милым другом».

Мечтая о колледже для поэтов, я набросал для него следующую программу:



1) Кроме английского языка, студенты должны изучать, по крайней мере, один древний язык — греческий или иврит — и два современных языка.

2) Тысячи поэтических строк на этих языках нужно заучивать наизусть.

3) В библиотеке не должно быть никакой литературной критики; единственное упражнение в этом жанре, которое требуется от студентов, — сочинение пародий.

4) Все студенты должны прослушать курсы просодии, риторики и сравнительной филологии, и каждый студент должен выбрать для самостоятельного изучения три предмета из следующего перечня: математика, естественная история, геология, метеорология, археология, мифология, литургия, кулинария.

5) Каждый студент должен ухаживать за домашним животным и обрабатывать садовый участок.

Поэт должен не только заниматься самообразованием, но и думать о том, как он будет зарабатывать на жизнь. В идеале его работа не должна быть связана с использованием слов. Когда-то детей, которые готовились стать раввинами, обучали ремеслу. Если бы родители знали, что их ребенок собирается стать поэтом, лучшее, что они могли бы для него сделать, — отдать его в ремесленный цех. К сожалению, они не могут этого предугадать, и, кроме как в редких случаях, единственная нелитературная работа, к которой способен будущий поэт к двадцати одному году, — неквалифицированный ручной труд. Чтобы заработать себе на жизнь, среднему поэту приходится заниматься либо переводами, либо преподаванием, писать рецензии или тексты для рекламы, при этом всё, кроме переводов, наносит прямой ущерб его поэзии, и даже переводческая деятельность не дает ему возможности посвятить себя литературе.

Четыре элемента современного мировоззрения (Weltanschauung) сильно усложнили призвание художника:

1) *Утрата веры в вечность материального мира.* Мысль о том, чтобы стать художником и создавать вещи, которые переживут его, никогда бы не пришла в голову человеку, если бы у него перед глазами не было материального мира — земли, океанов, неба, солнца, луны, звезд и т.д., которые в отличие от преходящей человеческой жизни казались вечными и неизменными.

Теперь физика, геология и биология заменили вечную вселенную представлением о природе как о процессе, в котором ничто не тожде-

ственно тому, чем оно было или будет. Сегодня христианин и атеист в равной мере охвачены эсхатологическими настроениями. Современному художнику, не имеющему перед глазами вечной модели для подражания, трудно поверить в то, что он способен создать произведение, которое переживет его. Кроме того, появилось искушение, которого не было у его предшественников: оставить тщетные поиски совершенства и ограничиться набросками и импровизациями.

2) *Утрата веры в значительность и реальность чувственного восприятия.* Это неверие неуклонно росло, начиная с Лютера, отрицавшего всякую связь между субъективной «верой» и объективными «делами», и Декарта с его учением о первичных и вторичных качествах. До недавнего времени мир, воспринимаемый чувствами, считался одним из священных подобий; данные чувственного восприятия были внешним и видимым знаком сокровенного и невидимого, однако и то, и другое считалось реальным и ценным. Современная наука разрушила веру в наивные данные наших чувств; мы не можем знать, говорит она нам, что на самом деле представляет собой материальный мир, мы можем лишь утверждать, какие субъективные понятия соответствуют конкретным целям, которые мы ставим.

Все это разрушает традиционные представления об искусстве как о подражании (*mimesis*), поскольку больше нет природы «вне нас», которой нужно подражать — правдиво или фальшиво; художник может быть верен лишь субъективным ощущениям и чувствам. Перемена в отношении уже видна в замечании Блейка о том, что некоторые люди видят солнце как круглый золотой диск размерами в гинею, а он видит в нем облатку, кричащую «Свят, свят, свят». Важно то, что Блейк, как и последователи Ньютона, которых он ненавидел, отделяет материальное от духовного, но, в отличие от них, смотрит на материальный мир как на прибежище Сатаны и не придает значения тому, что видит его глаз.

3) *Утрата веры в норму человеческой природы, которая всегда нуждается в одном и том же рукотворном мире, где человек чувствует себя дома.* До промышленной революции образ жизни менялся так медленно, что любой человек, думая о своих правнуках, воображал, что их жизнь будет мало отличаться от его жизни, что у них будут те же потребности и удовольствия. Благодаря технике, все быстрее меняющей нашу жизнь, мы не можем себе представить, какой она будет даже через двадцать лет.

До недавнего времени люди мало знали и не интересовались культурами, далеко отстоящими от них во времени и пространстве; под человеческой природой они подразумевали поведение, принятое в их собственной культуре. Антропология и археология опровергли это узкое представление: мы знаем, что человеческая природа столь пластична, что может быть способна на разные типы поведения, которые в животном царстве демонстрировали бы разные виды.

Поэтому у художника, когда он что-то делает, нет никакой уверенности в том, что даже следующее поколение найдет его творение восхитительным или понятным.

Он не может не желать быстрого успеха, хотя успех опасен для его цельности.

Далее, благодаря тому, что нам доступно искусство всех веков и культур, смысл понятия «традиция» полностью изменился. Традиция перестала означать стиль, передающийся из поколения в поколение; сейчас это понятие означает, что все прошлое осознается как настоящее и в то же время как структурное целое, части которого связаны понятиями «до» и «после». Самобытность больше не означает небольших изменений в стиле ближайших предшественников; она означает способность найти в любом произведении, созданном в любое время и в любом месте, ключ к обретению своего подлинного голоса. Бремя выбора и отбора всей своей тяжестью ложится на плечи каждого конкретного поэта.

4) *Исчезновение публичного пространства как сферы личных поступков, в которых раскрывается человек.* У греков частная жизнь была царством необходимости, направленной на поддержание существования, а общественная жизнь — царством свободы, где человек мог раскрыться перед другими людьми. Сегодня значение слов «частный и общественный» поменялось местами; общественная жизнь — это безличная необходимость, место, где человек выполняет свою общественную функцию, а в частной жизни он волен быть собой.

Вследствие этого литература и другие виды искусства утратили традиционного главного героя — человека дела, действующего в пространстве *публичного*.

С появлением машины исчезла непосредственная связь между намерениями и делами человека. Если св. Георгий лицом к лицу встречает дракона и пронзает копьем его сердце, он вправе сказать: «Я поразил дракона», — но, если одержимый тем же желанием по-

разить чудовище, он бросает на дракона бомбу с высоты в шесть километров, он всего лишь нажимает на рычаг, а убийство совершает бомба, а не св. Георгий.

Если по приказу фараона десять тысяч его подданных в течение пяти лет осушают болота, значит, верные ему люди должны проследить за тем, чтобы его приказы были выполнены; если его армия восстанет, он бессилён. Но если фараон знает, что сотня людей, управляющих бульдозерами, может осушить болота за полгода, положение меняется. Ему по-прежнему нужна власть, чтобы убедить сотню людей управлять бульдозерами, но не более того: остальную работу выполняют машины, которые ничего не знают о верности фараону или о страхе, и, если его враг Навуходоносор их захватит, они будут столь же исправно заполнять каналы. Можно представить себе мир, в котором подобную работу будет выполнять горстка людей, сидящих за компьютерами.

В наше время чрезвычайно трудно писать стихи об общественных деятелях, поскольку добро или зло, которое они творят, зависит не столько от их характера и намерений, сколько от имеющейся у них безличной силы.

Любой английский или американский поэт согласится с тем, что Уинстон Черчилль — более крупный общественный деятель, чем Карл II, и вместе с тем он знает, что не мог бы написать хорошее стихотворение о Черчилле, тогда как Драйден с лёгкостью сочинил прекрасные стихи о Карле. Чтобы написать хорошее стихотворение о Черчилле, поэт должен его близко знать, и его стихи будут о человеке, а не о премьер-министре. Все попытки написать о людях или событиях, не затрагивающих поэта лично, какими бы значительными они ни были, отныне обречены на неудачу. Йейтс написал великие стихи о волнениях в Ирландии, потому что лично знал большинство своих персонажей и места, где происходили описываемые события, были хорошо ему знакомы с детства.

Сегодня настоящие люди дела, преобразователи мира — не политики и государственные деятели, а ученые. К сожалению, поэзия не может их прославить, потому что их свершения связаны с неодушевленными объектами, а не с людьми, то есть они безмолвны.

Когда я оказываюсь в компании ученых, я чувствую себя, как потрепанный дьякон, случайно забредший в гостиную, где собрались герцоги.

Благодаря росту населения и развитию средств массовой информации, сложилось общественное явление, неведомое античности, — своеобразный тип толпы, который Кьеркегор называет «публикой».

*«Публика — это не нация и не поколение, не сообщество и не общество, не вот эти определенные люди, поскольку все люди есть то, что они есть, благодаря своей конкретности; ни один отдельный человек, принадлежащий к публике, не связывает себя настоящими обязательствами; на несколько часов в день (когда он — полнейшее ничто) он может стать частью публики, тогда как в то время, когда человек действительно есть он сам, он перестает быть частью публики. Публика, состоящая из таких личностей в те минуты, когда они — полнейшее ничто, представляет собой гигантскую, абстрактную и зияющую пустоту, которая есть всё и ничто».*

В античной культуре слово «толпа» означало примерно то же, что у Шекспира: зримое скопление людей в ограниченном пространстве, которое под воздействием демагога может превратиться в чернь, ведущую себя так, как не способен вести себя никто по отдельности; это явление, конечно, знакомо и нам. Но Публика — нечто совсем иное. Студент в метро, поглощенный в час пик какой-нибудь математической задачей или своей девушкой, — часть толпы, а не публики. Чтобы стать частью публики, человеку необязательно идти в определенное место; можно сидеть дома, раскрыв газету или включив телевизор.

У каждого человека есть определенный запах, который узнает его жена, дети и собака. Толпа смердит. У публики нет запаха.

Толпа активна, она крушит, убивает, приносит себя в жертву. Публика пассивна или самое большее — любопытна. Она не убивает, не жертвует собой; она лишь отворачивается или наблюдает за тем, как толпа линчует негра или полиция устраивает облаву на евреев, чтобы отправить их в газовую камеру.

Публика — наименее элитарный из клубов; в него может вступить каждый человек — богатый или бедный, образованный или невежа, приятный или отвратительный. Она терпит даже притворный бунт против себя, то есть когда в ее рядах появляется группа заговорщиков.

Страсти толпы — ярость или ужас — чрезвычайно заразительны; каждый человек толпы возбуждает всех остальных, так что страсть возрастает в геометрической прогрессии. Между представителями публики контактов не возникает. Если два представителя публики встречаются и беседуют, функция их слов — не передать смысл или

возбудить страсть, а скрыть за словесным шумом молчание и одиночество пустоты, в которой пребывает публика.

Иногда публика воплощается в толпу и становится видимой, скажем, в толпу, которая собирается, чтобы поглазеть, как банда громит старинный семейный особняк, зачарованная еще одним доказательством того, что физическая сила — князь мира сего, к которому нельзя испытывать сердечной любви.

Прежде, чем публика появилась в обществе, существовало наивное искусство и утонченное искусство, которые отличались друг от друга, как отличаются двое братьев. Представление про Пирама и Фисбу могло вызывать улыбку у афинских властителей, но они признавали в нем пьесу. Придворная поэзия и народная поэзия были связаны общим убеждением, что и та, и другая созданы человеком, стремящимся к тому, чтобы творения пережили автора; самая простецкая баллада, как и самый заумный сонет, создавались по заказу. Появление публики и угрождавших ей средств массовой информации уничтожили наивное народное искусство. Утонченный художник выживает и может работать, как тысячу лет назад, потому, что круг его читателей слишком мал, чтобы им заинтересовались средства массовой информации. Но аудитория популярного художника или автора — огромное большинство, и средства массовой информации должны отнять у него эту аудиторию, чтобы не обанкротиться. Поэтому единственный вид искусства, который существует сегодня (за исключением нескольких комедиографов), — утонченное искусство для интеллектуалов. Средства массовой информации предлагают не массовую культуру, а развлечения, которые должно проглотить, как пищу, забыть и заменить новым блюдом. Это плохо для всех; большинство теряет врожденный вкус, меньшинство становится культурными снобами.

Две особенности искусства позволяют искусствоведам делить историю искусства на периоды: во-первых, общий стиль выражения в определенный период времени и, во-вторых, общее представление — явное или сокровенное — о герое, человеке, достойном того, чтобы его прославляли, помнили и подражали. Стилистическая особенность нового искусства — задушевный тон, личная речь одного человека, обращенная к другому, а не к большой аудитории; как только современный поэт повышает голос, он звучит фальшиво. Типичный герой этого искусства — не «великий человек» и не романтический бунтарь, совершающие необыкновенные подвиги, а мужчина или женщина из

любого слоя общества, которым, несмотря на все давление безликой среды, удается обрести и сохранить лицо.

В соответствии с их интересами и природой творчества, поэты совершенно некомпетентны в политике и экономике. Их интересуют уникальные личности и личные отношения, а политика и экономика занимают огромными массами людей, то есть средним человеком (идея заурядного человека вызывает у поэта смертельную скуку), и безличными (часто вынужденно) отношениями. Поэт не может понять функцию денег в современном обществе, потому что не видит связи между реальной стоимостью и рыночной стоимостью; ему могут заплатить десять фунтов за хорошие, по его мнению, стихи, над которыми он трудился несколько месяцев, и несколько сотен фунтов за заметку в газете, отнявшую у него один день. Если он преуспел (хотя редкие единицы зарабатывают достаточно денег, чтобы их считали успешными, подобно прозаикам или драматургам), то он — член Манчестерской школы<sup>1</sup> и верит в неограниченную свободу предпринимательства (*laisser-faire*); если не достиг успеха, он предается агрессивным фантазиям об отмене современного строя и беспочвенным мечтам об утопии. Общество должно остерегаться утопий, которые по ночам, сидя за столиками кафе, придумывают неудачливые художники.

Все поэты обожают взрывы, бури, ураганы, пожары, руины, яркие зрелища кровопролитных сражений. Для государственного деятеля поэтическое воображение, напротив, не желательно.

На войне или в революции поэт может быть хорошим партизаном или шпионом, но маловероятно, что он будет хорошим солдатом, а в мирное время — добросовестным членом парламентской комиссии.

Все политические теории, основанные вслед за теорией Платона на аналогиях с художественным творчеством, в реальной жизни неизбежно превратятся в тиранию. Цель поэта или любого художника — создать совершенное творение, которое пребудет в веках. В поэтическом городе всегда будет определенное число жителей, вечно занятых одной и той же работой.

Боле того, создавая законченную вещь, художник непрерывно прибегает к насилию. Поэт пишет:

---

<sup>1</sup>Манчестерская школа искусств — одно из крупнейших и старейших образовательных учреждений в области искусства и дизайна в Великобритании. (*Примеч. перев.*)

*В скалистой бухте падает якорь, огромный, как мачта...*

Потом меняет строчку на:

*Падает якорь в последний миг у причала...*

Снова меняет ее:

*Посреди стогов падает якорь...*

И наконец:

*Сквозь перекрытия церкви падает якорь.*

Скалистая бухта и причал выброшены, а стога сена перенесены в другую строфу.

Общество, построенное по образцу хорошей поэмы, воплощающее эстетические добродетели красоты, порядка, экономии средств и подчинения частей целому, обернулось бы страшным кошмаром; учитывая историческую реальность живых людей, такое общество могло бы существовать только благодаря селективному размножению, истреблению физически и умственно неполноценных, абсолютному повиновению «начальнику» и труду огромного класса рабов, упрямых с глаз долой в подземелья.

И наоборот: стихотворение, смахивающее на политическую демократию (примеры, к сожалению, существуют), было бы бесформенным, пустым, банальным и до предела скучным.

Есть два вида политических вопросов — партийные и революционные. В партийном вопросе все партии сходятся относительно природы и справедливости общественной цели, к которой нужно стремиться, но выбирают разные пути для ее достижения. Существование разных партий оправдано, во-первых, тем, что ни одна партия не может неоспоримо доказать, что лишь ее политика позволит достичь желанной цели, а во-вторых, потому что никакой общественной цели нельзя достичь, не пожертвовав личными интересами или интересами группы, и каждая группа естественно будет стремиться к такой политике, при которой ее жертвы минимальны; а если так уж необходимы жертвы, пусть лучше их принесут другие. В партийном вопросе каждая партия стремится убедить общество, прежде всего взывая к его разуму; она приводит факты и доводы, стремясь убедить других, что ее политика достигнет желанной цели скорее, чем политика ее противников. В партийном вопросе нужно всячески гасить излишние страсти (хотя оратор, владеющий аудиторией, должен затронуть ее чувства), тогда как в партийной политике ораторы, обвиняя и защищая чиновников, должны изображать притворные страсти, не теряя при этом самообладания. За пределами парламента



представители соперничающих партий могут обедать друг у друга; в партийных вопросах фанатикам не место.

В революционном вопросе разные общественные группы придерживаются разных взглядов на то, что справедливо и правильно. В этом случае аргументы и компромиссы невозможны; каждая группа видит в противнике зло или безумие, или и то, и другое. Всякий революционный вопрос — потенциальный *casus belli*<sup>1</sup>. В революционном вопросе оратор не может убедить аудиторию, взывая к ее разуму; он может обратить некоторых в свою веру, пробудив в них совесть и воззвав к ней, но его основная функция, независимо от того, принадлежит ли он к революционной или к контрреволюционной партии, — возбудить страсти до такой степени, чтобы аудитория обеспечила полную победу его партии и полное поражение партии противника. В революционных вопросах фанатики необходимы.

Сегодня существует только один всемирный революционный вопрос — расовое равенство. Споры между капитализмом, социализмом и коммунизмом — воистину партийные вопросы; их цель одна и та же, она кратко сформулирована в известном изречении Брехта: «*Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral*». То есть сначала — жратва, потом — мораль.

Сегодня во всех технически развитых странах, какие бы политические ярлыки на них ни навесили, политика имеет одну цель: гарантировать каждому представителю общества как психофизическому организму право на физическое и психическое здоровье. Положительный символ этой политики — анонимный голый младенец; отрицательный символ — груда анонимных трупов в концлагере.

Самое удручающее в современной политике — нежелание коммунистов (и, увы, не только их) признать, что решать сегодня, апеллируя к фактам и разуму, нужно именно «партийные» вопросы, а также их настойчивое утверждение, будто нас разделяет революционная по сути проблема. Если африканец отдает жизнь за расовое равенство, его гибель исполнена для него смысла, но до чего же нелепо, что людей ежедневно лишают свободы и жизни, и род человеческий может погубить себя из-за вполне обыденных внутривнутриполитических дел — скажем, из-за разногласий относительно того, что в большей степени благотворно для здоровья общества в современных исторических обстоятельствах: частная ли практика или государственное здравоохранение.

<sup>1</sup>Повод к объявлению войны и началу военных действий (лат). (Примеч.перев.)

Своеобразие и новизна нашего времени в том, что главная цель политики в любом развитом обществе, строго говоря, не политическая, то есть имеет отношение не к личностям и гражданам, а скорее к человеческим телам, к человеческому существу прежде всякой культуры и политики. Уважение к свободе личности неизбежно падает, а авторитарная власть государства за последние полвека сильно возросла, так как главный политический вопрос сегодня связан не с человеческой свободой, а с человеческими потребностями.

Как живые существа мы все в равной степени рабы естественных потребностей; мы не выбираем, сколько пищи, сна, света и воздуха нам нужно, чтобы быть здоровыми; всем нам необходимо определенное количество земных благ, примерно одно и то же для всех.

У каждой эпохи — односторонние политические и социальные приоритеты; стремясь осуществить важнейшие для нее ценности, она пренебрегает и даже жертвует остальными. Отношение современного поэта или любого художника к обществу и политике, за исключением Африки и отсталых полуфеодальных стран, сложнее, чем во все предшествующие эпохи, и хотя он не может отрицать важность того, что *каждый* должен иметь достаточно пищи и досуга, эта проблема не имеет никакого отношения к искусству, которое интересуется *отдельными личностями*, пребывающими в одиночестве или состоящими в общении с другими. Поскольку этот интерес не играет большой роли в окружающем художника обществе (если оно вообще о нем думает, то лишь с подозрительностью и скрытой враждебностью, втайне или явно считая, что тот, кто претендует на исключительность или частную жизнь, слишком высокого о себе мнения), каждый художник чувствует себя чужим в современной культуре.

В наше время всякое творчество — род политической деятельности. Пока существуют художники, которые делают то, что им нравится и что они считают нужным делать, даже если их творения далеки от совершенства и волнуют лишь кучку людей, они напоминают правительствам то, что им необходимо напоминать, — что они руководят не безликими членами общества, а людьми с неповторимыми лицами, что *Homo Laborans*<sup>1</sup> есть также и *Homo Ludens*<sup>2</sup>.

Если поэт встречает неграмотного крестьянина, бывает, что им нечего сказать друг другу, но если им встретится чиновник, то оба

---

<sup>1</sup>Человек работающий (лат.). (Примеч. перев.)

<sup>2</sup>Человек играющий (лат.). (Примеч. перев.)

отнесутся к нему с подозрением; ни тот, ни другой не доверяет ему ни на йоту. Войдя в правительственное учреждение, оба испытывают смутное опасение, что никогда оттуда не выйдут. Каковы бы ни были культурные различия между ними, оба чувят что-то ирреальное во всяком официальном учреждении, где к человеку относятся как к статистической единице. Крестьянин может играть по вечерам в карты, пока поэт пишет стихи, но есть политический принцип, под которым оба подпишутся: среди тех нескольких вещей, за которые порядочный человек должен быть готов, при необходимости, умереть, право на игру, право на легкомыслие занимают не последнее место.

*Перевод с английского  
Анны КУРТ*

## АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

*Владели мы страной, ей неподвластны.  
Она считалась нашей сотни лет,  
Мы не были ее народом, знали  
Тогда Виргинию и Массачусетс,  
Но были мы колонией английской,  
Владели тем, что нами не владело,  
Подвластны той, которой неподвластны.  
Мирились с этим мы и были слабы,  
Пока не поняли того, что сами  
В стране своей не обрели отчизны,  
И мы, отдавшись ей, нашли спасенье.  
Ей отдали себя раз навсегда  
(Наш дар скреплен был жертвой многих жизней),  
Стране огромной, звавшей нас на запад,  
Еще невспаханной, незаселенной,  
Такой, какой была, какую будет.<sup>1</sup>*

Существует мнение, что только в нашем столетии писатели Со-единенных Штатов стали самостоятельными и по-настоящему американскими, что до сих пор они лишь рабски подражали британской

<sup>1</sup>Р. Фрост. Дар навсегда. Пер. М. Зенкевича

литературе. Обычный читатель или даже критик возможно и согласится с таким утверждением, но с точки зрения писателя, это совсем не так. Со времен Брайанта едва ли найдется хоть один американский поэт, чьи стихи могли бы быть приписаны англичанину. Какой из английских поэтов, нуждаясь в ярком топониме для серьезного стихотворения, не выбрал бы его из тех, что можно найти на карте или почерпнуть из истории и мифологии, а придумал бы сам, как сделал это По в «Улялюме»? Мог ли бы английский поэт написать научную космологическую поэму в прозе и предварить ее словами: «Я отдаю эту Книгу Истин не как Истину Глаголящую, а во имя Красоты, что пребывает в ее Истине, — делающей ее истиной. [...] Что я здесь возвещаю, есть истинно — потому оно не может умереть. [...] И все же, как Поэму, лишь хочу я, чтоб судили произведение это, когда я умру».<sup>1</sup>

«Мод», «Песнь о Гайавате» и первое издание «Листьев травы» увидели свет в одном и том же году — 1855. Невозможно найти двух поэтов столь же не похожих один на другого, как Лонгфелло и Уитмен — подобная разнородность как раз и составляет феномен Нового Света, — и все же, в отличие от Теннисона, что-то чисто американское свойственно и тому и другому.

И Теннисон, и Лонгфелло были мастерами слова и считались на родине достойными выразителями эпохи. И как они различны! У Теннисона можно найти много такого, чего Лонгфелло никогда бы не написал, боясь показаться грубым. Между тем этот страх, происходящий порой из причудливой американской смеси пуританства и демократизма, совершенно не свойственен англичанам. С другой стороны, Теннисон, которого занимала лишь поэзия его соотечественников и античные авторы, не мог соперничать в широте эрудиции с Лонгфелло, который интересовался всей европейской литературой. Даже если бы по северу Шотландии бродили племена непокоренных индейцев, невозможно представить себе, чтобы Теннисон взялся писать о них поэму, да еще и слогом «Калевалы». Даже если оставить в стороне стиль, разница между «Одой на смерть герцога Веллингтонского» Теннисона и «Когда в последний раз цвела во дворе сирень» Уитмена видна невооруженным взглядом. Как и следует из названия его оды, Теннисон оплакивает великого военного и политического деятеля. Из строк Уитмена трудно понять, что в ней говорится о президенте государства; скорее можно подумать, что почивший был просто другом автора.

<sup>1</sup>Э. По. Пролог к «Эврике». Пер. К. Бальмонта

Или взять другой пример — две поэтессы-современницы, обе верующие, замкнутые в себе и полные самоотречения — Кристина Россетти и Эмили Дикинсон. Ни одну из них тоже нельзя представить в стране другой. Да и вообще, сколько бы я ни пытался представить себе подобные переносы, из американцев приходят на ум только поэты, писавшие по преимуществу легкие стихи, такие как Лоуэлл и Холмс, а из англичан — только такие эксцентрики, как Блейк и Хопкинс.

Сравнивая поэзию двух различных культур, проще и естественнее всего начать с грамматических, риторических, ритмических и прочих различий их языков, ведь даже самые строгие и высокие поэтические стили довольно сильно подвержены влиянию разговорного языка. Но, в случае с британской и американской поэзией, это различие как раз одно из самых незначительных и трудноопределимых.

Каждый англичанин способен научиться произносить *a* в словах *psalm* и *calm*, также как в слове *candle*, говорить *thumb-tacks* вместо *drawing pins* и *twenty-minutes-of-one* вместо *twenty minutes to one*; может даже смириться с тем, что на Среднем Западе *bought* рифмуется с *hot*, но при этом язык его будет все так же далек от американского.

Насколько мне известно, ни один драматург ни в Англии, ни в Америке, рискнув ввести в свое произведение персонажа другой стороны, не сумел сделать его речь убедительной. Мне трудно выразить, в чем же точно состоит секрет различия.

Уильям Карлос Уильямс, серьезно задававшийся этим вопросом, говорит, что «одно из самых ярких проявлений этого различия — в ритме», а я бы добавил еще: в тональности. Хоть разница и не поддается определению, но она немедленно распознается на слух, даже в стихах, похожих по размеру и ритму.

*He must have had a father and a mother —  
In fact I've heard him say so — and a dog,  
As a boy should, I venture; and the dog,  
Most likely, was the only man who knew him.  
A dog, for all I know, is what he needs  
As much as anything right here to-day,  
To counsel him about his disillusion,  
Old aches, and parturitions of what's coming, —  
A dog of orders, an emeritus,  
To wag his tail at him when he comes home,*

*And then to put his paws up on his knees  
And say, «For God's sake, what's it all about?»*

*Он жил с отцом и матерью, да, точно,  
Он говорил про них. Еще был пес  
(Ну да, а как же без него). И он,  
Тот пес, его, конечно, лучше всех  
Способен был понять. Да и мальчишке  
Не нужен был никто — никто другой,  
Чтоб утешать в напастях и лечить  
От всех болячек, застарелых, новых  
(О, пес эмеритус, святейший пес!),  
Встречать, хвостом виляя, у порога,  
Потом класть лапы на колени и  
Заглядывать в глаза: «Что скажешь, друг?»<sup>1</sup>*

Даже если это стихотворение и обязано чем-либо Браунингу, оно звучит абсолютно иначе, не по-британски. И насколько же американская по своему ритму и ощущению эта строфа Роберта Фроста:

*But no, I was out for stars;  
I would not come in.  
I meant not even if asked;  
And I hadn't been.  
(«Come in».)*

*Но никак не хотелось — от звезд —  
В этот черный провал,  
Если б даже позвали: «Войди!» —  
Но никто не позвал.<sup>2</sup>*

До последнего времени всякий английский, да и вообще европейский писатель, следовал двум основным канонам. Первый из них — природа, мифологизированная, очеловеченная и в целом дружелюбная по отношению к человеку. Второй — человеческое общество, ставшее

---

<sup>1</sup>Эдвин Арлингтон Робинсон. «Бен Джонсон развлекает человека из Стратфорда». Пер. Т. Стамовой

<sup>2</sup>Роберт Фрост. «Войди!». Пер. Г. Кружкова

со временем, что бы с ним ни происходило в прошлом, более или менее однородным, общество, где большинство людей живут и умирают там же, где и родились на свет.

Пусть христианство и лишило Афродиту, Аполлона и каких-нибудь духов мест их божественности, но как символы сил природы, как способ мыслить о мироздании они не утратили своей значимости ни для поэтов, ни для их читателей. Пусть Декарт низвел всю вселенную, кроме человека, до механизма, но то, как европейцы ощущают солнце и луну, смену сезонов и окружающие пейзажи, от этого не изменилось. Пусть Вордсворт отбросил мифологическую терминологию, но отношения между человеком и природой остались у него все такими же личными.

Даже когда естествознание в XIX веке стало смущать умы мыслью, что вселенная свободна от моральных устоев, непосредственный опыт людей все еще говорил им о природе благосклонной и достойной любви. Как бы Теннисон и Харди ни сомневались в смысле и предназначении вселенной, оба чувствовали себя совершенно как дома в своих, соответственно, Линкольншире и Дорсете, где у каждого пейзажа было, казалось, свое знакомое и родное лицо.

Но в Америке ни размеры, ни условия, ни климат континента не способствуют подобной близости. Ни один человек, родившийся по другую сторону Атлантики, не забудет ночного полета на самолете над Штатами. Глядя вниз, он увидит огни какого-то городка — последнего оплота цивилизации среди нескончаемый тьмы — и поймет, что этот континент до сих пор заселен и освоен лишь отчасти, что все дела человека выглядят ничтожными перед величием земли и что равенство людей — здесь не строка из декларации, а самоочевидный факт. В сравнении с этой дикой природой пейзажи Сальватора Розы уютны, как безмятежная Аркадия; ее при всем желании невозможно наделить человеческими чертами. Если Адамс написал, что:

*Когда Адамс был мальчишкой, лучший аптекарь в его округе если и слышал о Венере, то только в связи с чем-то скандальным, а о Мадонне — только как о католическом идоле. [...]*

*Сила, таившаяся в Святой Деве, все еще ощущалась в Лурде и была, по-видимому, столь же могущественной, как сила рентгеновских лучей. Правда, в Америке ни Венера, ни Мадонна как сила не воспринимались — в лучшем случае они вызывали сентиментальное*

*чувство. Американцам не довелось испытать настоящего страха ни перед той, ни перед другой.<sup>1</sup>*

— то причина здесь не только в том, что на Мэйфлауэре плыли икоборцы-отступники, но и в том, что природу, перед которой американцы, даже в Новой Англии, испытывали лишь страх, никак нельзя представить себе матерью. Если уж говорить о ее символах, то тут вспоминаются белый кит Мелвилла, преклоняться перед которым мог лишь безумец Гавриил, и огромный олень, возникший в ответ на мольбу поэта о «someone else additional to him» в «The most of it» Фроста. Торо, стремившийся породниться с природой, вынужден был признать:

*Иду, в природе одинок,  
Без спутников и без дорог,  
Не различаю ни одной  
Души живой.  
Созвездья на меня глядят,  
Но где тот взгляд —  
Скитальца, друга, мудреца, —  
Что до конца  
Меня поймет? С природой он  
Слит, породнен.  
В обличье прячется каком?  
Молю — о ком?<sup>2</sup>*

Многие поэты Старого Света разочаровывались в человеческой цивилизации, но и тогда не могли себе представить, как выглядела бы Земля, если бы человечество исчезло. А вот американцы, как например, Робинсон Джефферс могут это представить без труда, ведь они собственными глазами видели землю, не тронутую цивилизацией. В стране с давними устоями люди должны либо приспособиться к существующему положению вещей, либо попробовать изменить его с помощью политики. Лишь самые талантливые или отчаянные могут позволить себе оставить все и отправиться искать счастья в другом месте. В Америке же сняться с места и начать все с начала — просто

---

<sup>1</sup>Генри Адамс. «Воспитание Генри Адамса». Пер. М. Шерешевской; М.: Прогресс, 1988.

<sup>2</sup>Г. Торо. «Иду, в природе одинок». Пер. Т. Стамовой.



нормальная реакция на неудачи. Такая подвижность общества оказывает на людей значительное психологическое воздействие. Перемена мест подразумевает разрыв личных и общественных связей и неизбежно влияет на отношения между людьми, как бы отмечая их печатью непостоянства.

Ярчайший пример, иллюстрирующий разницу между Старым Светом и Новым — развязки двух романов: соответственно, «Оливера Твиста» и «Гекльберри Финна», оба главных героя которых — сироты. Когда м-р Браунлоу усыновляет Оливера, сбывается заветная мечта мальчика — обрести дом, видеть кругом знакомые, дружелюбные лица, наконец, получить образование. Геку также предложено усыновление (усыновительница тут — женщина), но он отказывается, так как знает, что вдова Дуглас постарается «цивилизовать» его. Он отправляется в одиночку на Запад, при этом с легкостью расстается с закадычным другом Джимом (у Оливера столь близкого друга не было никогда). Так же и в *Моби Дике* Измаил становится кровным братом Квикега, а затем начисто забывает о нем. Естественно, что в американской литературе постоянно встречается мечта о вечном спутнике в странствиях:

*Камерадо, я даю тебе руку!  
Я даю тебе мою любовь, она драгоценнее золота,  
Я даю тебе себя самого раньше всяких наставлений и заповедей;  
Ну, а ты отдаешь ли мне себя? Пойдешь ли вместе со мною в дорогу?  
Будем ли мы с тобой неразлучные до последнего дня нашей жизни?<sup>1</sup>*

Но ни один американец по-настоящему не верит в исполнение подобной мечты.

Если человек готов в любой момент порвать с прошлым и отправиться в путь, значит, прошлое не имеет над ним власти, а в будущее он, если и заглядывает, то совсем не далеко.

Европеец может быть консерватором, считающим, что общество уже достигло правильного устройства, либералом, верящим в то, что оно лишь на пути к таковому, или же революционером, который полагает, что обществу лишь предстоит достичь правильного устройства после долгих лет блуждания в потемках. Если говорить о взглядах европейца на будущее, то он может быть оптимистом или пессимистом. Однако

<sup>1</sup>У. Уитмен. «Песня большой дороги». Пер. К. Чуковского.

ничего подобного нельзя с уверенностью сказать об американце, ведь его глубочайшее убеждение насчет будущего состоит в том, что оно непредсказуемо, и все в нем — и плохое и хорошее — будет меняться. Нет непоправимых неудач, и нет окончательных побед. Демократия — лучшая форма правления не потому, что при ней люди непременно будут жить более счастливо, а потому, что допускает непрекращающийся эксперимент. Эксперимент может проваливаться, но люди имеют право совершать ошибки. Америка всегда была страной любителей, где профи, то есть человек, претендующий на компетентность в тех или иных вопросах, всегда является объектом недоверия и отторжения.

*Amerika, du hast es besser  
Als unser Kontinent, das alte,  
Hast keine verfallene Schlösser  
Und keine Basalte.<sup>1</sup>*

— писал Гете, подразумевая, я полагаю, под *keine basalte* отсутствие жестоких политических революций. Тут надо заметить, что, думая о своей истории, англичане и американцы сохраняют противоположные друг другу заблуждения. Между 1533 и 1688 годами англичане прошли через череду революций, в ходе которых вера была навязана им механизмами государства, один король был казнен, а другой низложен, но они предпочитают забыть об этом и делать вид, что структура английского общества есть результат гармоничного и плавного развития. Американцы, напротив, принимают за настоящую революцию то, что было всего лишь успешной войной за господство.

Применить термин «революция» к тому, что происходило в Северной Америке с 1776 по 1829 год, можно лишь с большой натяжкой.

Обычно, когда говорят «революция» — имеют в виду процесс трансформации личности, общества и мировоззрения. Так обстоят дела с Григорианскими реформами, Реформацией, Английской и Французской революциями. С Америкой же все иначе. Речь идет не о превращении прежнего человека в нового, а о принятии последним того факта, что он уже новый, что он уже изменился, сам того не заметив. Война за независимость была первым шагом, уходом из отчего дома с целью осознать себя. Второй — и более важный шаг, настоящее откровение, — пришел с Джексоном. Именно тогда впервые стало ясно,

<sup>1</sup>Америка, ты в чем-то лучше нашего старого континента, у тебя нет руин...

что, несмотря на внешнее сходство, американское государственное устройство не копирует английскую парламентскую систему, и что если Конституция и написана на языке французского просвещения, то ее чисто американский смысл абсолютно очевиден. Если и можно говорить о своеобразном американском менталитете, то своим формированием он обязан не столько политической деятельности американцев, сколько уникальности американского континента. Даже самая революционная черта Конституции — разделение Церкви и Государства — восходит ко временам, когда первые поселения принадлежали разным вероисповеданиям, и, следовательно, вмешательство церкви в мирские дела могло иметь лишь местный характер. Америка с самого начала являлась плюралистическим государством, а плюрализм несовместим с Государственной церковью. «Basalte» американской истории — Гражданскую войну — можно и вправду посчитать контрреволюцией, поскольку разгорелась она не столько из-за рабства, сколько ради единства, то есть была войной не за свободу, а за ограничение свободы, за государство плюралистическое, но целостное. Плюралистическое и экспериментаторское: в качестве *verfallenen Schlösser*, в Америке имеются покинутые города и реликвии погибших Новых Иерусалимов.

Американец вовсе не собирался становиться тем, чем он стал, — его сделали таким эмиграция и природа американского континента. Эмигрант никогда не знает, чего он хочет — он знает лишь, чего он не хочет. Попав из страны, освоенной столетия назад, в девственную и дикую природу, бросающую ему вызовы, к которым он не готов, человек не может предвидеть будущего, но вынужден постоянно обживаться и приспособливаться. Неудивительно поэтому, что первое осознание важности и новизны Штатов должно было исходить не от американца, а от иностранцев, таких как Кревкер<sup>1</sup> и де Токвиль<sup>2</sup>.

Общество, в котором главная роль по-прежнему принадлежит первопроходцу, вступившему в физическое единоборство с природой, не склонно ценить интеллектуалов. Люди интеллектуальной или артистической направленности, оказавшись презируемым или, в лучшем случае, игнорируемым меньшинством, предрасположены, в свою очередь, презирать окружающее их общество как вульгарное и предаваться ностальгии о более утонченных культурах. Поэтому

<sup>1</sup>Мишель де Кревкер (1735-1813) — французский и американский писатель.

<sup>2</sup>Алексис де Токвиль (1805-1859) — французский дипломат и историк.

положение первых значительных американских поэтов — Торо, Эмерсона, По — было вдвойне тяжелым. Как писатели и, следовательно, интеллектуалы, они были неинтересны большинству, и в то же время культурное меньшинство, к которому они принадлежали, искало вдохновения в английской культуре и не желало думать или читать об Америке.

Подобная зависимость от английской литературы мешала бы им меньше, живи они не в Америке, а где-либо еще. Так поэт, живущий в Англии, может читать одну лишь французскую поэзию, или живущий в Италии — лишь английскую, не входя при этом в противоречие с окружающей реальностью. В Европе требование освободить английскую, или французскую, или голландскую литературу от иностранных влияний было бы признано абсурдным. Но жажда *американской* литературы не имеет ничего общего с политикой или национальной гордостью — это жажда честности. Как уже упоминалось, вся европейская литература опирается на два канона — очеловеченную, мифологизированную и, чаще всего, дружелюбную природу, и человеческое общество, где большинство людей привязаны к родному дому и редко переезжают с места на место. Ни один из этих канонов не подходил для Америки, с ее дикой, не ведающей цивилизации природой и подвижным и нестабильным населением.

Европейские романтики могут сколько угодно воспевают красоты дикого пейзажа, зная, что уютная гостиница находится всего в нескольких часах ходьбы. Они могут превозносить радости одиночества, но знают, что в любой момент могут вернуться в отчий дом или родной город и что по прибытии найдут всех своих родственников, и клуб, и салоны ровно в том состоянии, в котором они их и покидали. О настоящей пустыне и о настоящем одиночестве они не имеют понятия.

У Эмерсона и Торо было две заслуги. Во-первых, они писали об американской природе, во-вторых, понимали, в чем больше всего нуждались члены американского общества, которому впору было бояться не закостенелости традиций, а непостоянства и безответственности общественного мнения. Их труды несут в себе и достоинства, и пороки изолированной культуры и протестантизма — всегда живые и оригинальные, не поверхностные, но слишком уж непримиримые и резкие, откровенно пренебрегающие изяществом формы. Так же, как, размышляя о политике, американцы склонны отождествлять недемократическое с монархическим, так и в своей эстетике они ото-

ждествляют фальшиво-традиционное с рифмой и размером. Проза Эмерсона и Торо сильнее их стихов, потому что стихи, будучи формальны по природе, протестуют против протеста — они требуют, чтоб до некоторой степени мы принимали вещи «как есть» — не руководствуясь моралью и разумом, а просто потому, что так устроен мир; для стихов требуется определенная легковесность. Что бы кто ни думал о поэзии Уитмена, необходимо признать, что он первым ясно осознал, с какими условиями будет обязан считаться в будущем каждый американский поэт.

*Множество песен было спето — прекрасных, несравненных песен — для земель отличных от этих... Старый Свет пел песни о мифах, вымыслах, феодализме, победах, кастах, войнах династий, блестящих выдающихся личностях — и эти песни были превосходны, но Новому Свету нужны песни о действительности, о науке, о демократии, о равенстве... Что касается американской национальной идентичности, то идеальный и узнаваемый западный персонаж (в такой же степени характерный для деловой и прагматичной американской культуры, в какой рыцари, вельможи и воины были характерны для европейского феодализма) еще не явился. Я раз и навсегда доверил моим стихам воспеть американскую индивидуальность и помогать ей — не смирившейся с всемогуществом Природы и противостоящей нивелирующим тенденциям демократии.*

Из последнего предложения совершенно ясно, что под «простым» героем, которому предстояло прийти на смену «рыцарю», Уитмен подразумевал вовсе не посредственность, но человека, чей исключительный характер не зависит от знатного происхождения, образования или положения в обществе. Притом он отлично понимал, сколь трудно вырасти этой незаурядной личности при отсутствии вышеперечисленных условий.

Не сказал, а возможно и не понял Уитмен того, что с приходом демократии поменялся и статус самого поэта. Каким бы странным с нашей точки зрения ни был его взгляд на мир, всякий европейский поэт, я полагаю, все еще инстинктивно считает себя «клерком», членом цеха. У него есть определенный социальный статус, не зависящий от числа его читателей (в глубине души он жаждет видеть своими читателями тех, кто стоит у руля государства), он занимает определенное место в непрерывном развитии поэтической традиции. В Америке поэты никогда не имели подобного статуса, да и не меч-

тали о нем. От каждого поэта зависит, сделает ли он себе имя, создав что-то уникальное. Было бы совершенно несправедливо сказать, что в Новом Свете любителей поэзии меньше чем в Старом — много ли можно найти мест в последнем, где поэту платили бы за чтение им своих стихов вслух? Но в Новом Свете читатели привязываются скорее к имени, чем к стихотворению, и поэт, со своей стороны, требует порой одобрения своей работы не потому, что она хороша, а потому, что она — его. Всякий американский поэт чувствует, до некоторой степени, что полная ответственность за современную поэзию лежит на нем, что он — литературная знать. В своем знаменитом эссе Т. С. Элиот писал: «Традиция не может быть унаследована, она может быть лишь приобретена тяжелым трудом».<sup>1</sup> Я полагаю, ни один европейский критик так не сказал бы. Он, конечно, не стал бы отрицать, что поэт должен много работать, но утверждение о том, что никакое чувство традиции не может быть обретено иначе, как через целенаправленное усилие, — показалось бы ему странным.

У каждого из этих двух подходов есть свои преимущества и недостатки. Британскому поэту более свойственно воспринимать написание стихов «как должное» и, следовательно, писать без напряжения и излишнего запала. В американской поэзии можно встретить множество разных «голосов», но «голос» человека, обращающегося к группе себе равных, встретишь нечасто. Это происходит оттого, что в Америке «серьезный» поэт, пишущий легкие стихи, вызовет скорее удивление. И, если на вопрос о том, почему он пишет, поэт ответит, как всякий европеец, что пишет «ради удовольствия» — такой ответ шокирует собеседника. С другой стороны, британскому поэту больше грозит облениться, стать излишне академичным или безответственным. Даже у отличных английских поэтов можно найти места, которые заставляют задуматься: «Да, звучит неплохо, но верит ли он сам в то, что пишет?» В американской поэзии это весьма редкое явление. Знакомясь с лучшими американскими поэтами, читатель сразу же обращает внимание на то, как они не похожи друг на друга. Где еще на свете, например, можно найти семерых поэтов примерно одного поколения, столь же различных как Эзра Паунд, У. К. Уильямс, Вэчел Линдсей, Марианна Мур, Уоллес Стивенс, Э. Э. Каммингс и Лора Райдинг? Опасность для американского поэта заключается не в подражательности, а в пародийности стиля.

---

<sup>1</sup>Т. С. Элиот. «Традиция и индивидуальный талант».

Платон, как и Дамон Афинский до него, говорил, что, когда меняется музыкальный лад, сотрясаются стены городов. Возможно, точнее было бы сказать, что смена лада предупреждает о близких потрясениях. Социальное напряжение, влияющее впоследствии на политику, бывает в первую очередь обнаружено художниками, осознающими, что старый «лад» уже не способен выразить то, что их действительно волнует. Когда мы говорим о современной живописи, музыке или поэзии, то помним, что их столпы и основатели — это поколение примерно 1870–1890 годов рождения, начавшее создавать свои «новые» работы перед первой мировой войной в 1914 году; и, по крайней мере в литературе, американские имена в этом списке более чем достойные. Когда требуется революционный разрыв с прошлым, большое преимущество — не принадлежать ни к какой конкретной литературной или культурной группе. Американцы, такие как Элиот и Паунд, к примеру, могут интересоваться французской или итальянской поэзией не меньше, чем английской, и слышать поэзию прошлого, такую как поэзия Уэбстера, тоньше, чем слышат ее большинство англичан, с их традиционными представлениями о елизаветинском белом стихе. Как американцы, они знакомы с бездушной природой, не знающей цивилизации, равно как и с социальным выравниванием, которое технологическая цивилизация готова сделать почти повсеместным, но с которым трудно смириться европейскому менталитету. После своего посещения Америки де Токвиль высказал замечательное пророчество о поэзии, которую породит демократическое общество:

*Я убежден, что в конечном счете демократия заставит воображение отвернуться от внешнего по отношению к человеку мира с тем, чтобы оно сосредоточилось на самом человеке.*

*Созерцание природы вполне может доставить демократическим народам мимолетное удовольствие, но по-настоящему они одушевляются лишь тогда, когда лицезреют самих себя. [...]*

*Поэты, жившие во времена аристократии, создавали восхитительные картины, сюжетами которых были определенные события из жизни одного народа или отдельной личности, но никто из этих поэтов не отваживался включать в свои картины изображение судьбы всего человечества, тогда как поэты, живущие в период господства демократии, могут брать за выполнение этой задачи. [...]*

*Можно также предположить, что поэты, живущие в демократические времена, будут изображать не столько людей и их деяния, сколько страсти и идеи.*

*Язык, одежда и повседневное поведение людей в демократическом обществе противоречат нашим представлениям об идеале красоты [...]*

*Это заставляет их беспрестанно снимать внешние покровы с явлений, воспринимаемых их органами чувств, чтобы в конечном счете хотя бы мельком разглядеть самое душу. А ведь не существует более идеального предмета изображения, чем образ человека, столь поглощенного созерцанием глубин своей нематериальной природы [...]*

*Человеческие судьбы, сам человек, вынутый из рамок своего времени и своей страны и оставленный один на один с природой или Богом, человек с его страстями, сомнениями, неслыханным везением и непостижимыми неудачами станут для этих народов основным и почти единственным предметом поэтического изображения.<sup>1</sup>*

Если считать это точным описанием поэзии, которую мы называем современной, то можно сказать, что иной поэзии Америка никогда и не знала.

*Перевод с английского  
Федора ВАСИЛЬЕВА*

---

<sup>1</sup>Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. Пер. В. Олейника.



## IN MEMORIAM

С а н г ж а р Я н ы ш е в

## ПОЭТИКА КУРЬЕЗА

Когда Виталик с обнадеживающей регулярностью стал выкладывать в сети свои записи (а перед этим, кажется теперь, специально завел себе аккаунт в фейсбуке), я написал ему, что это круто, что это готовая книга; он не ответил. Он вообще похвалы стеснялся — и своей, и чужой, считал, что любому писательскому высказыванию необходим строгий редактор; что нет такого текста, который нельзя сперва поругать, в который нельзя вмешаться. Этому его научил любимый Иркутск, тамошние системные проработки, школа литмастерства, которую он прошел в качестве учимого, а потом и учителя.

Конечно, «книгой» подобные записки обыкновенно становятся *postmortem*: в 20-м томе академического тщательно откомментированного академического собрания, когда читательская напитанность главными текстами классика уравнивается обывательским интересом к его личности — и, параллельно, изрядным корпусом научных разысканий.

Однако у социальных сетей с их тавтологической сверхпрезентацией личного (я плюс мои козочки... мои розочки... мои голубцы...) — есть одна неожиданная особенность: всякое личное тут оборачивается ТЕКСТОМ: и я уже не я, а мой немножечко лирический герой, и вы — уже не вы, а мои читатели/слушатели/зрители. На этом фоне запись умышленно литературная напротив разряжается в как бы «документальную»; выдуманное обращается в только что подслушанное, еще не остывшее — степень достоверности в любом случае возрастает сообразно иллюзии взаимной близости: автора поста и читателя. Даже рифмованное стихотворение становится в определенной мере рассказом о том, как оно только что, почти на глазах изумленных «френдов», создавалось.

Что уж говорить о прозе, особенно смешанной, в которой личные высказывания автора перемежаются с репликами персонажей — то ли реальных, то ли фантомных; словно из романа выжали всю, по слову

---

5 июля ушел из жизни автор нашего журнала, поэт и прозаик Виталий Науменко (1977–2018). Его памяти мы посвящаем эту публикацию.

Пушкина, приличествующую ему «болтовню» и оставили бродить в теплой бактериальной среде.

Именно это качество фейсбука позволило строгому к себе, целомудренному, как Веничка, вечно рефлексирующему Виталию Науменко (очень трудно говорить о нем отстраненно — «Виталий»!) вытащить из ноутбука годами накапливающуюся текстовую массу для будущей прозы и, наскоро разбив на небольшие «главки», а также снабдив эти блоки остроумными, не столько объединяющими, сколько дополняющими заголовками, начать двухлетний — финальный — постинг.

Он, разумеется, знал, что превратить все свои «штучки» в регулярную прозу уже не успеет. Знал, что если не выпустить их сейчас, пропадут не за понюшку табаку, как пропадали в его жизни люди. Спивались, убивались, улетали на другую планету...

Потери толпились и множились — тем крепче В. удерживал каждый, на первый взгляд, совершенно не нужный предмет, искал в куче барахла при каком-нибудь очередном переезде, сверяясь с мысленным каталогом. Книги, в основном, диски (В. был изрядный кино- и меломан), бухарские и бурятские фенечки... Собственные же тексты пропадали вместе с носителями, даром что хранились в двух видах: рукописном и электронном. Фигура Отчима — то ли из «Гамлета», то ли из Кафки, — ущемленного и потому ущемляющего, вечно посягающего на Главное («у моего отчима уникальная потребность: выбрасывать все, что ко мне относится»), вдруг зачем-то отводящего мальчика в морг, — преследовала В. и в родном Железногорске-Илимском, и в Иркутске, и в Москве.

«Почему-то в сказках от приемных детей хотят избавиться исключительно мачехи, отчимы — никогда», — вопрошал он не случайно, ведь в жизни, его жизни, все было иначе. Отчим размножался, на месте одного вырастал другой, словно новая голова старого дракона; фамилию первого, заменившего В. отца, он носил всю сознательную жизнь, но тот, увы, рано умер («хороший и талантливый мужик»). Все следующие немногим отличались от безумных, вторгающихся в личное пространство соседей — еще один навязчивый неистребимый кошмар.

«Нет домов, где бы не было соседей, желающих познакомиться. Куда ни переселяйся. Им же интересно: а что там у него». Обыкновенное человеческое качество в устах В. неизменно оборачивается фирменной русской «психушкой». Любая бытовуха пропускается через генеральное абсурдистское мироощущение. И тут непосредственный литературный... сосед Науменко — автор поэмы «Москва-Петушки»:

«И вижу: все четверо потихоньку меня обсаживают — двое сели на стулья у изголовья, а двое в ногах. И смотрят мне в глаза, смотрят

с упреком, смотрят с ожесточением людей, не могущих постигнуть какую-то заключенную во мне тайну... [...]

— Ты пиво сегодня пил?

— Пил.

— Много пил?

— Много.

— Ну так вставай и иди.

— Да куда “иди” ??

— Будто не знаешь! Получается так — мы мелкие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...» (В. Ерофеев «Москва-Петушки»).

Кстати, любимой вещью Виталика был одно время том записных книжек Венедикта Ерофеева. Тех самых, из которых тоже почти ничего замышленного не произошло и которыми следует теперь на-слаждаться, имея в руках слоеный код в виде того небольшого, что таки произошло. Веничка — это хороший сосед (как тот хороший отчим), он показал Науменко, как можно, вынужденно обретаясь в советском «детстве» (а Виталик во многих смыслах из него так и не вышел), схлестывать в одной голове различные типы сознания, высекая на месте шизофренической разноголосицы — сжатый в пружину вероят-ностей иронический полилог:

«— А почему у тебя имя Поле? Ты ведь живешь в горах.

— Ну, ты и дурак. Ты в детстве что, со второй полки падал?

— Падал. Я на мужика с чемоданом упал.

— Удивительно! А я вот, к твоему сведению, падала с третьей полки прямо на пол. И ни одной царапины. Встала и пошла.

Витя хотел рассказать, что его однажды побили два пятиклассника, а в другой раз его закрыли в подвале на даче и искали сутки, что на демонстрации он нес портрет Громыко с надписью “Зайков” и вообще два раза переплыл Илим, но промолчал».

Это сцена из рассказа «Смертельный номер» («Дружба народов», 2014, № 11). «Дурацкий» треп в духе Ионеско смазывает эпизод сюрреальной оптикой — тем естественней появление мужика с перевязанной головой, в одном сапоге и с зеленым языком. Потом девочка разговаривает с животным («Здравствуй, корова. Меня зовут Поля. Меня сначала называли Олей, а потом Полей. И я не знаю, кто я»), обижается на Витю и грозитя прокусить ему руку «сразу в семи местах». И в памяти всплывает фраза из числа «штучек», включенных в данную публикацию: «намазывал свою руку паштетом и съедал ее».

Или вот, в том же рассказе герой едет девять часов на автобусе в некоторый Кургудай («необжитые места Союза»), НЕ ставший в итоге местом его инициации, и с соседнего сиденья слышит:

«— Я ему говорю: сними штаны, они цветом, как занавески у меня в кухне.

— И что?

— Снял с радостью. Зато, когда он меня бросил, пришлось занавески снимать, они мне его штаны напоминали».

Таких подслушанных сценок полно и в «Книге многих штук». Если читать их подряд, неизбежно возникает хор курьёзных в своей основе персонажей — одновременно типических и фантастических, как в «Мертвых душах». По-сибирски особенных, окраинных, провинциально простодушных, но уже сильно усредненных, разбавленных телевизором: не фирменное речевое пиршество Бабеля, не вывихнутый — речевой же — «коленвал» Платонова (их обоих Науменко, разумеется, принимал годами, как терпкую микстуру)... Однако лица эти всегда «перевернуты», как в одном знаковом стишке Науменко:

Ни буфета, ни магазина;  
Перевернутый человек.  
Отливающие бензином  
Забольничные вены рек  
Чередой оглушают память  
И воронкой уходят вспять.  
Сумасшедшая меж рядами  
Подошла застелить кровать.

Смерть имея в виду, родная,  
Мы имеем в виду и снег.  
Эта черная муть сырая  
Перебеливает четверг,  
Слыша музыку под руками,  
Разбивается об стекло.  
Только радио между нами,  
Как растение, проросло.  
.....  
Боль большее чужой, а злоба —  
Как роса на цветах, и пусть  
Ты в словах заблудилась, чтобы  
Знать безумие наизусть...

Последние две строчки можно ставить эпиграфом ко всей науменковской прозе. «Знать безумие наизусть» — это и о том, что слу-

чайных (незапомненных) элементов тут нет, есть щедрая вольница характеров — ущемленных, растерянных, свихнувшихся на своем, тайном, порядке.

«— Бабоньки! Артамон Потапыч, <...> красноносый, опять ко мне подлазал. — Это его грыжа ест, вот всех и лапает». Нет, это не из Науменко разговор, а из первого цветного советского фильма «Груня Корнакова» (1936). Полгода назад В. увидел его впервые. «Каждый кадр — что-то удивительное. <...> Фильм — забытый абсолютно, но его бы оценили феминистки».

Почему этот фильм оценили бы феминистки, вы узнаете, дочитав данную «штучку» до конца. Здесь отмечу только, что «женская тема» в произведениях Науменко — это, как говорят герои «Интервенции», «что-то особенного». Как у всякого порядочного кафкианца, женщины у В. — предмет восторга и ужаса. Женщины и дети. Но дети — они всё-таки свои, из этого мира. (Герой Хармса всего-навсего мечтал напустить на них столбняк). Женщины — существа с другой планеты. Поэтому их нужно изучать. Во многих — если не во всех — рассказах В. препарирует женский пол посредством внушительного набора инструментов. А повесть «Дневник Наташи» («НЮ», 2007, № 5 (80)) вообще пишет от лица девушки, постигающей мир мужчин. В одном из фейсбучных постов он задает прямой вопрос о различии м. и ж. — и тут же на него отвечает: «Мужчины не мстительны, они действуют по эпизоду. А женщины свою месть долго вынашивают, обдумывают. Ты уже не помнишь, как она выглядит, а месть все равно тебя настигнет».

Единожды уверившись — всюду ищет подтверждение своим выводам. Любимый киножанр Виталика — нуар. Во всех нуар-картинах женщина — главный источник опасности: она действует непредсказуемо и почти всегда предает...

Последнюю свою изданную книжку Науменко назвал киношному «Юноша в пальто» — отсылка к еще одному любимому фильму, и снова 1936 года: «Строгий юноша». В фильме есть такой — очень «науменковский» — разговор: « — Дядя, мне нужен фрак! — Я, Коля, преступление делаю. Это ведь из “Травиаты” фрак. Я, Коля, преступление делаю. Слышишь, Коля? Это из “Травиаты” фрак». В предвосхищении обожаемой Виталиком (и многожды нами обсужденной) Киры Муратовой режиссер «Строгого юноши» А. Роом под ручку с автором сценария Ю. Олешей исполняют ее любимый трюк: несколько раз повторенная фраза пропитывается смешным и жутковатым абсурдом. Диалог, словно укусовая пробка, отдает ничем не ограниченным безумием.

Фильм почти «нуаровский», женщина делает несчастными сразу двоих: старого мужа-ученого и «строгого» юношу-комсомольца.

Эта история спроецирована на задник лучшего, пожалуй, рассказа Науменко «Случай на театре» («Сибирские огни», 2012, № 11).

И в литературе, и в кино В. ценил речевые характеристики. Гоголя читал с карандашом, в жизни часто исполнял Мижуева (зятя Ноздрева): «Нет, брат, ты не ругай меня фетюком, я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает...»

Слово или фраза — и персонаж готов, выпуклый, живой, как Глеб Капустин из рассказа «Срезал» Василия Макаровича Шукшина, еще одного «хорошего соседа». Подобно Капустину, персонажи Науменко, сами того не замечая, пересыпают свою речь разночинными элементами: тут и газетные агитштампы (время действия — поздний СССР), и литературные высокопарности с признаками интеллигентского вырождения, и бытовой сленг. В той же степени курьёзны и происходящие с ними события. Получается дьявольски смешно. А после — чертовски горько.

«Иван Ильич с открытой и склоненной бутылкой “Наполеона” прокладывал по изгибам семейного общежития тонкую коньячную дорожку. Ворвавшись в супружескую спальню, он схватил Олега за майку и стал трясти его.

— Жалкий, ничтожный начальник смены! У нас на пороге стоит областной смотр. Жена ваша — богиня, хотя и торгует на рынке китайским фуфлом. Вы понимаете, кто жена ваша? Это я первым разглядел в вашей малютке талант! Как презренный металл превращается в ракеты нового поколения, как алмаз под умелыми руками гравировщика в бриллиант, она стала моим цветком, скажем так, чудесной розой созревшей невинности — и я не отдам вам ее, слышите, не отдам!

— Кого? Маринку? Ну, и забирай, если жить надоело, — бесстрастно ответил Олег, перевернувшись под одеялом. <...>

Иван Ильич упал перед кроватью, слезы полились из его глаз. Никогда еще отчаяние человека не выражало себя так полно и до конца. “Мизансцена, — бормотал он. — Перламутровое колено... Роза пахнет розой... Клянусь тебе священной луною...”

Таким образом он окончательно разбудил Олега, озабоченного по преимуществу своей завтрашней сменой. Марина отвернулась и тоже заплакала.

— Да знаете ли вы, что актриса — сосуд? — закричал, закрываясь руками, а потом картинно вскидывая их, Иван Ильич.

— Какая? — не понял Олег.

— Вы представляете, что такое смотр самодеятельности? Представляете, я вас спрашиваю?

Тут же, получив мощный удар в лоб, Иван Ильич вывалился из комнаты и, стукнувшись о дверь головой, перегородил порог».

Горька судьба Ивана Ильича. Судьба науменковской прозы тоже не слишком завидна — почти вся она, как металлическая стружка, рассыпана по тетрадкам и жестким дискам, которые еще необходимо отыскать. Несколько выпавших невесть откуда магнитов (что это было: счастливые встречи? переезды? солнечная активность?) построили оказавшиеся поблизости «штучки» в единственно верном порядке. Получилась проза — настоящая, *крафтовая*, как сказали бы обитатели чуждой Виталику эпохи. Остальные сохранил одаривающий (или проклинающий?) бессмертием фейсбук.

Сохранил он также вот это стихотворение, мерцающее теперь на экране — в утешение тем, кто остался.

Надо стараться радоваться тому,  
Что хорошо в Сибири,  
То далеко в Крыму.  
Только будь уже, а нисколько не шире.

Надо быть проще, прислушиваться к старшим,  
Не загоревшимся, скоропостижно угасшим.  
Выйдешь на станции «Сорок седьмой километр»,  
Станции нету, волосы треплет ветр.

Есть и «Советский спорт», и Расин, и имя,  
Долго ли поделиться ими с другими.  
Только все спят, я гляжу в окно.  
Женщину эту помню я все равно.

Лекцию помню, помню еще весну,  
Камешек твой, нашу с тобой волну.  
Там не хватало света, берега навсегда,  
Чтобы стеной стояли почести и нужда.

Виталий Науменко

## КНИГА МНОГИХ ШТУЧЕК

### ТЫ ЧТО, ЛУЧШЕ ВСЕХ?

●

Вот так и начнешь верить в мистику. Иду по улице. Идет еще маленькая девочка и больше никого. И вдруг меня толкает какой-то мужик с репликой «Вам привет». Откуда он взялся, какой еще привет?

●

Экскурсия:

— Его территория простирает в основном...

— В заповедных уголках мира обитает тАшкАнчик.

— Есть у нас и фазанарий, но мы на его месте планируем построить джейрарий.

●

— Сколько время?

— Три полтретьего.

### ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ПОД ФИКУСОМ

●

Не помню, кто это сказал:

«Первое движение души всегда правильное».

●

Нравится быть идеальной подружкой (нет, с ориентацией у меня все в порядке), просто есть вещи, о которых одна женщина другой не расскажет, а хочется рассказать.

●

Воспоминания старожилы:

— Как мы питались? Тульский пряник и «Ессенуки № 17».



●

Звонкая девушка.

●

На улице истошно:

— Ты туалетную бумагу купил?!

●

До петровских реформ:

Чем длиннее борода, тем влиятельней человек. Если ее нет, он вызывает подозрения: значит, он не наш, она у него не растет.

### **ЗДЕСЬ МНОГО СОЛНЦА**

●

У Пушкина брат скончался в 41 год от алкоголизма. Разница, по сравнению с 37-ю, не очень уж большая, но какие разные истории.

●

Советский писатель Засодимский.

●

Графоман всегда определяется по пустотам. Он говорит много, даже осмысленно, но это видимость. Он случайно пришел, уйдет в достойном возрасте, но так ничего и не поймет.

●

В поезде:

— Танцует, как будто забыла, что ее дядя недавно умер.

●

Почему-то в сказках от приемных детей хотят избавиться исключительно мачехи, отчимы — никогда.

●

— Что за семейная разборка без зрителя?

## ЗВУКИ МОЛОДОСТИ

●

— А мы веселились. Собаку пивом «Охота» напоили, а потом стали ее хоронить.

●

В фильме Уайлдера:

— На чем держится это платье?

— Наверное, на германской силе воли.

●

Чуковская об Алигер: «Тупорожденная».

●

— Что это за ансамбль? Ощущение, что девочки у вас поют в штанах.

●

Олейников из лагеря: «Ах, Розочка, пришли носки, зубную щетку и мешочки для сахара!»

●

Комплимент: «У вас неожиданные брови».

●

Шварц о Хармсе: «Он, конечно, был последним в роде. Дальше потомство пошло бы совсем уж страшное. Вот отчего даже дети пугали его».

●

«Глупая, как песочные часы».

●

«Алло» по-японски: «Моси-моси».

●

Сковорода:

«Многие переживают, что не в состоянии уже танцевать».

«Чистый звук почтенной персоны».

## ИДЕИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

- — Норма для вас патетика, а что же для вас трагизм?

- Шварц: «Зато женщин Олейников, Заболоцкий, Хармс ругали дружно».

- На ЛИТО:

- Что вы вообще хотите?

- Женщин и денег. Ну, еще этого — ну, вы знаете — Рильке — в издании «Литпамятники».

- — Намазывал свою руку паштетом и съедал ее.

- — У вас есть огромные канцелярские кнопки?

- В деревне Мамырь: «Сколько здесь принято давать на чай?»

## ЗИМОЮ ЛЕТА НЕ ИЩИ

- У Пришвина — цитата из соседки:

- В России ничего порядочного нет. Я до границы уйду.

- Уже сам Пришвин:

- Узнал весть о смерти Толстого и сразу стало так светло.

- В советском медвытрезвителе: «Ладно 105 рублей забрали, еще рубль тридцать взяли за обслуживание».

●  
Сценарист: Помещиков-Далекий.

●  
Из дневника Венички Ерофеева: «Чайник пуст, как Катаев».

●  
— Как-то на Новый год шампанское пили в тазах и в ведрах. А что, шипит.

●  
Каждое утро они, еще не встав с постели, начинали петь, причем каждый свое.

●  
У Куросавы: «Рано или поздно бездомный пес становится бешеным».

## **ДО ШЕСТНАДЦАТИ НЕ МЛАДШЕ**

●  
Посмотрел очередной фильм про зомби, вышел на улицу. Никакой разницы. Люди ходят зигзагами, непонятно во что одеты, руки в разные стороны, машин не замечают, чуть ли не бросаются под них.

●  
N. перед сном: «Кушать хочется. Для женщины воспитывать мужчину — величайшее наслаждение».

●  
Берроуз: «Писатель не мог закончить роман, у него возникло отвращение к словам».

●  
Вьетнамский тест на интерес женщины: глаза должны стать больше.

●  
— Мне два крыла.  
— Ловкач!

- По телефону: «Чмоки-чмоки, смайл!»

- Знакомая развелась с мужем и развесила на всех его портретах черные ленточки.

### **ЗА БОЛЬШОЙ ПАРТОЙ**

- Это книга (интересно, кто ее покупает): «Как писать письма солдатам».

- В фильме положительные герои: хромонавты.

- — Люблю фильмы из фантастической жизни!

- Интересный пароль алкоголиков:  
— Ты куда?  
— В Коста-Рику за лекарствами.

- Не скучай за партией,  
Познакомься с картой.

- Скворода. Оскорбление: «Плебей-потаскун».  
«О, ругатель, к чему песни твои — смех твой?»

- — Я все слова недоговариваю. Начало формы.

### **ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ**

- На Украине, конкурс: «Найди сюрприз в майонезе».

●  
«Ты начальник, а я имею чувство превосходства».

●  
Народное:  
«Если ты, выпив, загрустил,  
Ты не мужчина, ты не грузин».

●  
— Меня все принимают за киноактрису, а я вообще сериалов не смотрю.

●  
Сестра в детстве упала в оркестровую яму. С тех пор падает в обморок.

●  
Интересный перевод в книге 55-го года: фильм «Король Конг». Но в общем-то правильно.

### **ЗА СИНЬ-ХРЕБТОМ В МЕДВЕЖЬЕМ ЦАРСТВЕ**

●  
Соседи так громко разговаривают, что, когда телевизор без звука, ощущение, что они его озвучивают.

●  
В Тайшете, в гостинице:  
— Я спас ее, вытянув из-под вагона, но поезд срезал ее каблучки.

●  
Одесса когда-то была мужского рода: Одесс.

●  
Наконец-то прозрение:  
Бином Ньютона выражает целую положительную степень суммы двух слагаемых через степени этих слагаемых.

## ЗАКОЛДОВАННЫЕ ДЕРЕВНИ



Всегда был уверен (и не только я), что Пушкин воскликнул «Ай да Пушкин» после завершения «Евгения Онегина». Оказывается, нет, «Бориса Годунова». И еще он очень долго выбирал между двумя концовками: «Народ ликует» и «Народ безмолвствует».



Совсем молодая продавщица. Подходит мужик, который на грани падения. Я думаю: ну купит понятно что. Он говорит: «Джи». Что это означает?

Продавщица: «Вам дрожжи?»

Как она догадалась?



Человек каждый день пел у метро песню Летова «Пошли вы все н...й». Случай невероятного упорства. Он думал, что после этого ему кто что-то подаст?



В гендерном смысле: почему спят всегда валетом, а не дамой? Это ущемляет права женщин.



— С кладбища мы обычно веселые уходим. А туда приходим грустные.



Вельтман (тонко): «Кто пел бы приятно и с чувством над гробом своих удовольствий?»

## ЗАКОН ЗИМОВКИ



Авиастроительная стрижка.



Про водку: «Я перестал ее пить, потому что она не глотается».

●

Вельтман: «Сносить своеобразие женщин — согласие с волей младенцев безумных».

●

Наркоманы: «Голова сгущается».

●

Мания: везде видеть масонские знаки. На какой-нибудь девятиэтажке.

●

Показывая на шею:

— Здесь есть что-нибудь?

— Нет.

— А надо, чтоб было.

## **ДРАМА В ГОРАХ**

●

Когда я работал корректором, в перерывах между работой (а их много) я совершенно не знал, чем себя занять. Потому что читать, если ты и так все время читаешь, как-то странно.

●

Годар: «Что показано, не может быть сказано».

●

Юнг: «Желание приобретать возникает от внутренней нищеты». Он же: «Никто не может понять, почему надо страдать от себя самого».

●

«Бордо Тхегол» (Тибетская книга мертвых):

«Мертвые не знают, что они мертвы».

«Можно заплетать косы одной рукой».

●

Я отдал ей свои лучшие годы, а она мне свои худшие.



## КЛЮЧ ТАИНСТВ



«Думай о смерти так: из меня вырастут цветы».



Карамзин простудился на Сенатской площади.



— Некоторые люди обещали мне большое будущее взамен на акrostихи.



Паскаль: «Если бы сны шли в последовательности, мы бы не знали, что такое действительность».

## ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ



Низами: «Исколот сам, колюсь я, как терновник».



Что более чудесно: рождение или смерть? Мы так и не узнаем.



Пушкин: «Уездный лекарь по счастью успел пустить ему кровь».



Возле «Новослободской» одна группа студентов раздает портреты Путина, а другая отбирает их и рвет.



— Чаше смотри на небо!



У Танидзаки: «Все грустные люди кажутся мне уродливыми».



— Я себя чувствую, как рыба об лед.

## СЛУЧАЙ В ЗАСАДЕ



Энциклопедия: Хайдеггер — реакционный идеолог немецкого шовинизма.



«Праведник перемещается в чашу лотоса иногда с супругой».



Харуо Сато: «Глухие почему-то всегда выглядят дураками, а слепые — мудрецами».



Вот это очень нравится: «Высокое дерево открыто ветру».



Красота японских женщин: чернить зубы и сбривать брови.



Объявление: «Чебуреки по старинным рецептам».

## ПОХВАЛА ТЕНИ



Очень интересна система табу. Для меня она, конечно, существует. Но когда тебе ее навязывают чужие, я их не понимаю. Ой, об этом не говори, ой, об этой не говори. Мне бы такое в голову не пришло. Я бы сказал: ну и говори, что хочешь, а я в это время постараюсь понять, что ты из себя представляешь.



Праздник любования цветущей сливой: «Гости вернулись в павильон после перемены циновок».



«Японские блюда предназначены не для того, чтобы их вкушать, а чтобы на них глядеть и предаваться мечтаниям».

•

Проблема: куда поехать любоваться полнолунием в праздник осеннего солнцестояния.

•

Танидзаки: «Из всех построек японского типа только уборная наиболее удовлетворяет поэтическому вкусу».

•

Песня: «Вставай, вставай, кудрявая!» У Корнилова в оригинале: «Вставай, вставай, чумазая!»

### **ДРУЗЬЯ ПАРТИЗАН**

•

Иду сегодня. Две тетки стоят на одном месте и о чем-то горячо разговаривают. Иду обратно: осталась одна, но там же. И явно в задумчивости. Какой-то монтаж аттракционов.

•

Из биографии Дзержинского: «Феликс, узнав о выстреле Каплан, спешит в Москву, примостившись на буферах тифозной теплушки».

•

Птица из яйца идет за первым, кого увидит.

•

Анатолий Васильев: «Все лучшее происходит в промежутке между игровым и неигровым, искусственным и естественным».

•

У Лотмана удивило: «Повседневность не может быть сюжетной».

•

Любимый фильм беременной девушки: «Ребенок Розмари».

•

— Насчитала в кадре пятьдесят кошек, ни одна из них не имеет отношения к действию фильма.

## **ЕРМАК, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ**



Только сейчас обратил внимание: почему-то все поголовно ходят в черном. На ослепительно белом снегу это напоминает какое-то копошение насекомых.



Понравился Сергей Михалков. Он был очень старый, но сколько самоиронии, желания понравиться женщинам. Его медленно вели под руки, и я не мог из-за этого с лестницы спуститься.



Бывает и такое: проснулся среди ночи со страстным желанием почитать Льва Толстого. Стал его разыскивать среди книг: нигде нет. Паника. Наверное, возраст.



Стриндберг: «Феминистки еще будут размножаться благодаря дегенеративным мужчинам».



Есть слова, значение которых никто не знает. Например, энфантичность. Это означает «Самостоятельность интонации». Ну, и перевод как-то не помогает.

## **ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАЗДНЫМ**



Мне очень нравятся люди, которые не сводят гения к какой-то единице. Вроде «Пушкин — это наше все». Все, что он делает, как правило, разнонаправленно и обобщению не поддается.



Поразил факт: Стивенсон, Конан-Дойль и автор «Питера Пэна» учились вместе на одном курсе в университете.



Птицы приносят счастье, если садятся справа и число их четное.

●  
Оглянешься: не хватает красивых людей.

●  
— Я бы все книги сожгла. У меня мать их читала, а я ее ненавижу.

●  
— Кто такая Цветаева?! Ее дом-музей нужно отдать людям!

●  
— Я возвысился, как кедр.  
— А я, как кипарис.

### **ВИДЕНИЯ ВОСТОРГА**

●  
Интересная система доказательств: это есть не то, это есть не это. А что?! То же самое, что описывать селедку, и говорить, что она не гриб и не дерево.

●  
«Поэзия расцветает обычно после Гражданской войны».

●  
Шекспир: «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской грязи от лучей вашего египетского солнца» (О крокодилах)

●  
Народное: «Нету дома, чтобы не было Содома».

### **ДАВНИЕ ВЕЧЕРА**

●  
Не смог досмотреть кинокартину «Председатель». Все разговаривают исключительно пословицами и поговорками, хотя читать не умеют. Ну, допустим. Меня добил тост на свадьбе: «За нищих и за бедных». А не за «родителей молодых». Логически следующий тост должен быть «за уголовников и бомжей».



Блок: «Есть люди, которые существуют физически, но на самом деле их нет».



Брюсов: «Изящные дамы играют на лютнях, цитрах и флейтах и танцуют с кавалерами альгарду, пассионезу, мавританский и другие новейшие танцы».



Он же: «Я живу уже сверхсложной жизнью».



Особенность райских птиц: они никогда не садятся и питаются исключительно воздухом.



У непьющих людей есть привычка: притворяться пьяными и думать, что это смешно.



Серп и молот в народе: коси и забивай.



Уверенность: на сеансах спиритизма все духи отвечают на русском. Юлий Цезарь, Наполеон и т.д. Они когда его выучили?



Кафка: «Откуда мне знать, что у меня общего с евреями, если я не знаю, что у меня общего с самим собой?»

## **В ОТЧЕМ КРАЮ**



«Она предсказала самоубийство кота».



Андерсен умер оттого, что упал с кровати.



Видел дачу, отделанную стразами.



У каждого свои фобии. Один товарищ не выносил, когда играют на гитаре, сразу выходил из комнаты.



— Я читала в ванной собрание сочинений Ницше. Вся в пене.



Тургенев при появлении нового писателя: «Пропали мы, пропали! Всех нас лоском положит».



Чернышевский. «Не бывает искусства для искусства, то же самое что богатство для богатства, наука для науки». Если продолжить: «Животноводство для животноводства», «Бедность для бедности».



Некрасов о Гоголе: «Частные уродливости его характера».

## **ВОСТОРГИ ЭСТЕТА**



Я всегда терялся, когда меня спрашивали: зачем ты коллекционируешь значки и марки, кому они нужны? Я ничего не мог ответить. А подсказки: «Чтобы получить знания» — какие еще знания? И всегда вспоминал про себя Хармса: «Только бессмысленное приятно нам». А если бы я это вслух сказал? У меня знакомая коллекционировала пивные кружки. Но с одним условием: их нужно украсть, покупные — не в коллекцию. Вот в чем тут логика? Да ни в чем. Что и прекрасно. Не кружки красть, конечно, а в том, что степень бессмысленности зашкаливает. На этом фоне мои значки и марки — детский сад.



Знакомая не стала читать Бердяева, потому что в купе познакомилась с женщиной из Бердянска. В чем тут связь?

•

Наши люди потрясающие. На телевизоре должна быть салфеточка. А телевизор уже давно сломался. Вот должна — и все.

•

Суды народные и товарищеские. Это как? Мы тебе не народ, а товарищи, а вот сейчас мы тебе не товарищи, а народ. Шизофрения какая-то.

•

«Испытывали Гамлета в лесу девицею».

### ЧЕЛОВЕК НА ПОРОГЕ

•

— Ты сказал, что у тебя больше ста книг. Я их пересчитала. Пятьдесят семь.  
— А те, которые в шкафу?

•

Борис Примеров, из книги «Некошеный дождь» (67-й год, Тираж: 10 000 экземпляров)

Понимаю, что не понимаю  
Чувство старых, пожелтевших трав.  
Потому что я родился в мае,  
Все зеленое в себя вобрав.

•

Платон: политик ничем не отличается от пастуха.

•

Есть вопросы, в которых уже есть утверждение:  
— За что ты меня ненавидишь?

•

Такая песня: «Что я могу еще тебе, отдав тебе я все грехи мои».



## ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ



Когда открываешь нового поэта, жившего за двести лет до тебя, это событие. Очень понравился Виктор Тепляков.

## THE BLUE STOCKINGS

Приятно пред родным Пенатом  
 Скитальца посох положить;  
 Приятно дядюшкой Филатом  
 Скорей Плутона угостить,  
 Приятно старую кокетку  
 Сарказмом горьким растерзать,  
 Приятно милую соседку  
 Женой-хозяйкою назвать.  
 Приятно также в час разлуки  
 Ее субретку ради скуки  
 Рассеянно поцеловать.  
 Но чепчик, полный мистицизма,  
 Политики и романтизма,  
 Всего приятней потрепать!..



Про снобизм. Он может быть не только у жалкой прослойки интеллигенции, но и у людей из народа, и сразу вопросы: «Ты когда-нибудь гвозди вбивал?» — «Вбивал». Гениальное продолжение: «А сейчас не вобьешь». Так можно интересоваться до бесконечности «А ты видел Сталина?», «А ты зэков ловил?», «А ты менял резину?» Вот это и есть снобизм: самоутверждение за счет другого. То есть: я-то резину менял, а ты нет. Ну и что? Меняй свою резину, сколько хочешь. Бывают совсем удивительные вопросы: «А ты спишь сидя?» — «Нет». — «Вот. Это только я умею — лежа не могу, сразу просыпаюсь». Аргументация своего превосходства принимает часто причудливые формы.



Начал разбирать газеты за год. Что меня в наших больше всего поражает: ненависть. Ребята, вы хорошо и в достатке живете, нет, мы хотим ненавидеть. Есть кашу с маслом и пить ликероводочное, разрасаться во все стороны и ненавидеть. Это страшно. В моем детстве, да,

была холодная война, но до такой степени она не доходила. И не была повернута к своим. Как у Межирова: «По своим артиллерия бьет».

●

Человек внезапно смертен. Но я бы добавил: русский человек внезапно смертен. Спокойно спускаюсь по лестнице хрущевки. Вдруг прямо передо мной резко открывается дверь, из нее вылетает стеклянная бутылка и разбивается о дверь напротив. Все. Бессмысленность такого рода выбрасывания бутылок уже нас характеризует. И то, что она могла в кого-то попасть. А могла и не попасть. Мысль после действия. И первая: да какая разница.

●

Есть такое своеобразное качество: «А я уже говорил об этом или нет?» По воспитанному собеседнику не определишь. Одни воспоминания у тебя накладываются на другие. И сразу мучения: а стоит ли рассказывать? И тут простые люди очень даже кстати. «Ну, это я уже слышала». И здорово, никаких рефлексий. Но и обидно, если ты что-то досочинил, и никто этого не заметил.

●

Посмотрел первый цветовой советский фильм. Называется «Груня Корнакова» (1936-й год). И вот с таким названием при неизвестной еще технике Экк снял шедевр. Каждый кадр — что-то удивительное. Сейчас уже никто на таком уровне не снимает. Фильм — забытый абсолютно, но его бы оценили феминистки. Бабы, как угорелые, пашут на фабрике тарелок, а ими управляют отвратительные усатые мужчины (один из них подозрительно похож на Николая II). Что в итоге делают бабы? Они на клочки разрывают управляющего, а потом уничтожают и всю армию белых. Груня размахивает из окна флагом, залитым ее пролетарской кровью. Мужики бегут. Не на тех напали.

●

Нефантомные боли. У меня первая поэма называлась «Красная лошадь», у Кобенкова — «Мясо в воздухе». Обе не сохранились. Мы мало что из них помнили, но пришли к тому: как же хорошо, что их нет. Все просто: взял и перешагнул.

●

Когда-то железногорский классик живописи решил написать мой портрет. Он думал, что я авангардист. Дальше непонятная мне логика.

Уши должны быть с глазами. Рот неизвестно где. И только одинокий нос остался на месте. Получилось черт знает что. Мастер подарил мне этот портрет. Держать его дома — невозможно. Подарить кому-то — никто не возьмет. И он исчез — как-то сам по себе. Мораль: не так уж просто быть авангардистом, если ты не авангардист.

●

Автор бывает или меньше текста, надувается (всякие Пелевины), или равен ему (это, по крайней мере, честно). А вот когда он больше, тут все и начинается. Если бы Шекспир себя осмыслял, он бы ничего не написал. Достоевский всю жизнь мучился, потому что считал себя плохим писателем.

●

Меня всегда интересовало: о чем думают женщины, когда меняют фамилию. Она ведь влияет на сознание. Я, например, не Науменко. По отцу: Черемных, по маме: Белкин. А перечислить псевдонимы просто невозможно. Судили меня за литературную критику как Зангезина (я так себя назвал в честь эпоса Велимира Хлебникова «Зангези»). Первая публикация вообще была под псевдонимом Мельников. Если ты печатаешь в одном номере газеты или журнала несколько материалов, тебе все равно приходится заводить клонов. «Науменко» я оставил из-за Майка. Ну, из-за первого отчима тоже. Хороший и талантливый мужик был.

●

Еще в 80-е я работал редактором отдела писем в газете «Маяк коммунизма». Родственник непрерывно присылал туда в конвертах (интернета, естественно, не было) аккуратные доносы на своих соседей. Вроде и печатать нельзя, и не печатать тоже. Но надо же как-то реагировать. Сейчас один товарищ регулярно звонит в мэрию и говорит: «У меня ноги болят». «И что?» «И вокруг все сволочи, их надо убить». Таким образом он хочет спросить: «Когда лифт починят?»

●

У всех есть свои скрытые страхи. Если ты управляешь ими — все нормально, а если они управляют тобой? И какие-то необъяснимые. Недавно мне приснилось, что я потерял англо-русский словарь. Что за словарь, зачем он мне нужен? Нет (уже не во сне), я начал его искать по всей квартире. А тут нет такого словаря. Он где-то при переезде остался. В сражении с памятью ты всегда проигрываешь.

●  
Брейгель. Как-то мы с другом поехали в глазную клинику в районе Юбилейного (уже не помню, зачем). И там вот такие люди, с катарактами. Действительно было страшно. Все ходили сами по себе. Никто ни с кем не разговаривал.

●  
Есть такие знакомые, от которых деваться некуда. Особенно если он живет у тебя в квартире. И часами рассказывает, какой он замечательный. Мое мнение ему неинтересно. Посторонние темы тоже. Надо выгнать, но как? Впрямую — неудобно. Намеков он не понимает. Самому сбежать, а куда? «Можно я посплю?» — «Да спи. Ну, вот. А дальше...» Такое подразделение ада.

●  
У меня был замечательный отчим по имени Гарри (мне было лет пять). Он всем показывал фотокарточку, где он якобы во Вьетнаме. Зато у него был единственный мотоцикл в городе. Работал он в морге. И ничего умнее не придумал, как привезти меня в морг. Лучший способ: уничтожить конкурента, а то мама отвлекается... Один труп плавает в ванной. Остальные лежали по периметру под простынями. Одного он не учел: детской страсти к познанию.

●  
У моего отчима уникальная потребность: выбрасывать все, что мне относится. В детстве я что-то напишу (графоман был еще тот), все это исчезало. А смысл? Дошло до того, что он выбросил единственный экземпляр романа местного классика Замаратского (сейчас его именем называли Дом пионеров). Он мне его дал почитать, а отчим, видимо, решил, что это мое словотворчество и выбросил. Понятно, что с головой не все в порядке. Но классика-то, певца Илима, за что?

●  
Все или презирают, или высмеивают соцреализм. Искусство в принципе фантазийно. И в этом смысле Павленко от Кафки ничем не отличается. Это некая другая реальность. А если вы хотите эту, выйдите на улицу. Когда читают женские детективы, никто же не углубляется в то, что это бред. У меня мама усиленно читает «Туманность Андромеды» Ефремова и правильно делает. Потому что, если воображение отказывает, ничего толкового и не будет.

●

Я иногда понимаю предпосылки всяких преступлений: просто человек ненормальный. Но когда он вполне нормальный, ощущение, что это какой-то посыл. Зачем гопники сожгли все квитанции по ЖКХ из почтовых ящиков? Они что-то хотели этим сказать? Лифтерша сбежала, и лифт больше не работает. А если и уборщицы убегут? Довоенное время. А за окном все время орут: «Расплескалась синева, расплескалась». Чтобы такой сюр представить, никакой фантазии не хватит.

●

В СССР книги были жутким дефицитом. Библиотекарша крутила романы, все время какой-то мужик рядом с ней сидел. И всегда разные мужики. А я очень любил читать и заодно присваивать себе книги. Ну ладно, Конан Дойля или Вальтера Скотта, это понятно, но я с огромным удовольствием читал Аристотеля. Все в классе за мной ходили: «Верни книгу». А я честно говорил: «Не отдам».

●

Участковый начал мне диктовать про меня же: «В квартире находятся два кресла и два стола. На полу постелен ковер. На кухне тоже находится стол. И холодильник». Я все это аккуратно записывал, не понимая зачем. Это уже такое кафкианство. «Имеется и соседняя комната». Она-то тут при чем? На свет появился документ, который никто и не читал. Ну, раз надо, значит, надо.

●

Страсть русского человека к созерцанию. Стоит мужик, на что-то смотрит. Мне тоже стало интересно. А ничего нет. Может, он на дерево смотрел. Может, вдаль.

●

Нет, это город неандертальцев. Однажды отчим подходит к выключенному компьютеру и говорит: «А, вот так он работает». Вызвал какого-то мужика, а тот посмотрел: «Его нужно разобрать на запчасти». Что они с неизвестной целью и сделали. Соответственно, вся моя информация, которая там была, сгорела. Это же не фантик от конфеты. Хуже идиотов только деятельные идиоты.



Есть люди, которые любят собирать, и есть те, которые любят все выбрасывать. Часто это приобретает гипертрофированные формы. Собиратели могут завалить мусором целую квартиру. Выбрасыватели выбрасывают все, что видят. Замаратский дал мне почитать раритетные письма. Я стал на их основе писать повесть. Нет, товарищ недалекий подкрался, нашел эти письма и выбросил. Зачем? Естественно, крайним оказался я. Трудно доказать, когда ты живешь с сумасшедшими, что ты нормальный. А зачем ты их завел?



У нас страна, от которой можно ждать все, что угодно. Я как-то выступал с чтением стихов в довольно большом городе, и аудитория немаленькая. Спрашиваю их: «Меня слышно?» Гробовая тишина. Видимо, не слышно. Еще раз спросил, то же самое. Тогда какой смысл выступать? Я выступил, конечно. А надо было уйти.





**Татьяна Стамова.** Дикинсон и Шекспир.  
Песенка шута. *Эссе*

**Александр Сенкевич.** Венедикт Ерофеев.  
Внутренняя тишина. *Эссе*

**Кирилл Молоков.** Рэп как альтернативная форма  
современной поэзии. *Статья*

Татьяна Стамова

## ДИКИНСОН И ШЕКСПИР

## Песенка Шута

Началось все с того, что как-то раз, читая стихи Дикинсон, я узнала в одной строчке Шекспира. Строчка та вылетела потом из головы, но интерес остался.

На вопрос друга и «наставника» Томаса Хиггинсона о ее чтении, Эмили ответила: «Из поэтов у меня есть Китс и г-н и г-жа Браунинг».

О Шекспире она тогда промолчала. Между тем двумя настольными книгами Эмили были всю жизнь полный (восьмитомный) Шекспир, подаренный отцом ей на тринадцатилетие, и Библия.

Хорошо известна такая история.

Учась в Амхерстской гимназии, Эмили организовала там Шекспировское общество. На первом же собрании должно было состояться чтение «Бури». Но случилось так, что преподаватель литературы попросил присутствующих вычеркнуть в своих экземплярах пьесы «сомнительные» места. Эмили категорически отказалась: «У Шекспира нет ничего плохого!» На этом общество прекратило свое существование.

Тут видим, помимо отнюдь не школярского интереса юной Эмили к творчеству Шекспира, абсолютную бескомпромиссность ее характера. И, конечно, выбор! «Буря» — может быть, самая волшебная и загадочная из всех шекспировских пьес.

Племянница Э. Д., Марта Дикинсон Бьянки, пишет о ее увлечении:

«Шекспир всегда и навсегда. Отелло — любимый злодей, Макбет — почти сосед, изгнанник Лир — одинокая фигурка на вершине ближнего холма.

“Антоний и Клеопатра” — зачитаны до дыр».

И вот два высказывания Эмили из ее писем:

«Пока есть Шекспир, литература стоит крепко».

«Будущее литературы — Шекспир».



Я не собираюсь подробно раскрывать здесь тему Дикинсон и Шекспир. Хочу поделиться лишь некоторыми заметками.

Если приглядеться, то у этих двоих можно заметить несколько удивительно ярких общих черт.

Во-первых — лексикон. Оба, например, так и сыплют канцеляризмами (часто — терминами, относящимися к коммерции и юриспруденции), причем в сочетании с абстракциями (Время, Вечность, Память, Смерть и т.д.)

Откуда эта лексика у Шекспира — понятно (еще в Стратфорде он начал заниматься мелким ростовщичеством, что в отличие от актерства и писательства, давало возможность прокормить семью). А откуда у Эмили? От отца, работавшего казначеем и по совместительству адвокатом и — от Шекспира! (Отсюда же, очевидно, и многочисленные латинизмы).

Во-вторых, тот и другая обожают словесную игру — каламбуры, оксюмороны, парадоксы, разнообразные перевертыши, неологизмы.

В-третьих, афористичность. У Шекспира что ни фраза, то афоризм. И у Дикинсон — тоже.

И у Эмили есть свой театр — стихи. Она играет за все мироздание, становится камнем, цветком, горой, ведет непринужденные диалоги с Богом. Ее стихи — это монологи и диалоги. Спорят Дух и Прах, Жизнь и Смерть, Эмили и Бог. Иногда действующих лиц больше: в одном из стихотворений, например, переговариваются времена года и старый ворон.

Наконец, полное бесстрашие: не боится взглянуть со стороны на собственную смерть, предлагает вскрыть жаворонка, чтобы посмотреть, есть ли у него внутри музыка, абсолютно не боится (как Шекспир) физиологических подробностей, а также быть обвиненной в кощунстве.

Есть у нее два-три стихотворения, в которых прямо упоминаются шекспировские персонажи.

А теперь самое главное — то, обо что однажды споткнулась и с чего начала эти заметки. Итак, Эмили несколько раз упоминает и цитирует Шекспира в своих письмах к друзьям и родным. Но этого мало. Я заметила, что она сплошь и рядом перекликается с ним в своих стихах! Так же, как цитирует в них Библию. Ведь и то, и другое (и Библия, и Шекспир) это ее воздух — почти как воздух ее сада. Пишет, как дышит. Часто использует его словосочетания: у Ш. *gentle thief* (милый вор),

у Д. — *Sweet Pirate of the heart*; у Ш. — *quick bright things* (быстрые побрякушки), у Д. — *bright tragic thing* (трагическая побрякушка слава); у него *golden lads and girls*, у нее — *Yellow boys and girls* и т.д.

Иногда шекспировский афоризм для нее как трут или спичка, от которых вспыхивает собственное, в высшей степени оригинальное стихотворение.

Итак, начнем переключку:

**Шекспир:** When most I wink, then do mine eyes best see. (Смежая веки, зорче я стократ).

**Дикинсон:** What I see not I better see. (Невидимое мне видней)

**Шекспир:** Within thy own bud buriest your content. (Себя в бутоне прячешь).

**Дикинсон:** I hide myself within my flower. (Я спряталась в моем цветке).

**Шекспир:** There is no music in the nightingale. (И музыка ушла из соловья).

**Дикинсон:** Split the Lark — and you'll find the Music! (Вскрой жаворонка — музыку найдешь).

**Шекспир:** Lord, we know what we are but know not what we may be. (Мы знаем, кто мы есть — не знаем, кем можем стать).

**Дикинсон:** We never know how high we are/ Till we are asked to rise. (Нам собственный неведом рост, / Но встать придет пора...)

**Шекспир:** There's beggary in the love... (Есть нищенство в любви...)

**Дикинсон:** When a lover is a beggar... (Если любящий как нищий...)

Таких примеров я нашла множество...

Если возьмем стихотворение 198 и сравним его с описанием ночной бури в «Макбете» (II, 3), то найдем в них много общего. И там, и там на крыше слышны чудовищные звуки, завывания, жалобы... В «Макбете» всю ночь кричит страшная Птица. У Дикинсон под утро издыхает Чудовище.

Таинственное стихотворение *My wheel is in the dark!* (Колесо мое во мраке!) становится понятнее, если сравним его с отрывком из

шекспировского Лира (V, 3) — тем самым, где побежденный Эдмунд восклицает: «Свершило оборот свой колесо!».

Интересно, что это стихотворение Эмили — одно из самых ранних (№ 10).

Строки из стихотворения 126 (*Он побеждает — мир молчит, / Он пал — и он забыт!*) перекликаются с четверостишием из 25-го сонета Шекспира:

*Добывший славу в битвах без числа,  
Одну хотя бы проиграет воин —  
И вот забыты все его дела...  
(пер. А. Финкеля)*

А знаменитое стихотворение Эмили «Я умерла за красоту» (№ 449), где под двумя соседними гробовыми плитами происходит разговор о правде и красоте, по-моему, зажглось от шекспировского четырнадцатого сонета, а точнее от его последних строчек: «Умрешь ты, и под гробовой плитой / Исчезнет правда вместе с красотой» (пер. С. Маршака).

«Дальше — молчанье» (см. «Гамлет») — так заканчивает Эмили одно из своих писем.

В стихах Дикинсон не цитирует Шекспира. Она живет им и берет его в собеседники, как берет в собеседники самого Господа Бога. Она спорит с ним, противоречит ему и сплошь и рядом оказывается смелее его.

Если у Шекспира раненый олень плачет, то у Э.Д. он совершает свой самый высокий прыжок (*The wounded Deer leaps highest*).

Если Шекспир говорит: «Дай горю слово» (*Give word to sorrow*), то Дикинсон: «Лучшее горе безъязыко» (*Best Grief is tongueless*).

Шекспир устами Тимона Афинского: «Солнце — вор! Месяц — вор! Всё в мире — вор!» Казалось бы, дальше уже некуда! Но Дикинсон идет еще дальше. У нее вором оказывается Господь, обкрадывающий смерть. «Бог разорит — примет птенцов!» (разорит гнездо-могилу).

В своем «театре» Эмили то и дело играет роль Шута. Постоянно провоцирует читателя, загадывая ему странные загадки, поражая гротескными афоризмами. Собственно, гротеск, загадка, ирония — это ее язык. Она философ, провидец, душевед — Шут!

И тут нас ждут удивительные совпадения.

Например, шут в «Короле Лире» спрашивает, почему нос находится посередине лица, а глаза с двух сторон от носа. А Эмили говорит: «Хорошо бы, уши были подальше от сердца!» Эдгар в том же «Лире» восклицает: «Смысл в безумии!» (Reason in madness!) И Эмили словно вторит: «В безумии скрыт высший смысл!» (Much madness is divinest sense!)

Шут в Лире говорит королю: «Ты — ноль без палочки, а я хоть шут».

У Эмили: «Я — никто. Ты тоже? Значит, двое нас!»

Тот же шут: «Не говори все, что знаешь».

Эмили: «Скажи всю правду, но не сразу / — Не опрокидывай ушат!»

И по своему размеру (этот неизменный коротенький ямб протестантских гимнов) стихи ее удивительно похожи на песенки шута у Шекспира. И это ее вечное: Сэр! Провоцирует не короля — самого Бога!

Вот откуда ее любимая (шутовская) маска. Маска — или все же лицо?

Стихотворение 1333 — ее дань мудрому шекспировскому «дураку» (см. подборку дальше).

А закончить хочу этим. Есть у Дикинсон стихотворение о Поэте (№ 448). Мне сразу показалось, что оно о Шекспире. (Вспомним: *Будущее литературы — Шекспир!*) Но нужно было еще доказательство. И я нашла его у самого Шекспира в 6-м сонете.

И там, и там говорится о нектаре, которым нельзя не поделиться. И это ключевое слово *distill* (оно и у него, и у нее) — *выжимать сок, перегонять*.

«Что может смерть, коль ты останешься жить в потомстве?» — обращаясь к своему адресату, Шекспир словно обратился здесь к самому себе. А Дикинсон бережно перенесла эту «эссенцию» в свое стихотворное посвящение Поэту (Шекспиру): «Ты сам — свое наследье/ Вовек — и вне времен!»

Эмили брала у Шекспира, не смущаясь, прекрасно понимая, что это — как брать у Природы, в которой есть всё и от которой не убудет. И всякий раз превращала его «эссенцию» (*attar*) в другой, очень терпкий, ни с чем не сравнимый напиток.

448<sup>1</sup>

Вот был Поэт — он выжимал  
 Невероятный смысл  
 Из будничных понятий —  
 И сок, что прежде кисл

Был — этих беспризорных  
 Растений у крыльца —  
 В нектары мог *перегонять*  
 С небрежностью Творца.

Поэт! — Он свитки развивал  
 Невиданных картин.  
 И нищим становился  
 Всяк по сравненью с ним.

Невольню все крадем —  
 Но тем богаче он.  
 И сам — свое *наследье* —  
 Вовек — и *вне времен!*

449

Я умерла за красоту<sup>2</sup> —  
 Он жизнь отдал за правду.  
 И вот лежим — плита к плите:  
 Нас положили рядом.

«За что?» — он вымолвил едва.  
 «За Красоту», — сказала.  
 «Меня — за Правду. Значит, мы —  
 Родня — уже немало...»

И как родные мы в ночи  
 Шептались между плит.

<sup>1</sup>Здесь и далее стихотворения в переводе Татьяны Стамовой.

<sup>2</sup>Интересно, что эти два стихотворения (448 и 449) стоят хронологически рядом.

Но мох коснулся наших губ.  
Забыта.— И забыт.

741

Самая живая Драма —  
Этот день простой.  
Вот! — Открылся — и поставлен!  
Бенефис иной

Лицедеями загублен...  
*Это* Представленье  
Пусть без Публики идет —  
И без Объявленья!

Не писал бы пьес Шекспир —  
И тогда на свете  
Был бы Гамлет! И Ромео  
О своей Джульетте

Промолчал бы — все равно:  
Сердце — роли — знает.  
Сей скромнейший свой Театр  
Бог не закрывает —

1333

Безумье легкое Весны —  
Как дар! И короли пьяны.  
И все ж Господь — с Шутом,

Что зачарованный следит  
Зеленый сей Эксперимент —  
Словно Творец — он сам!

Александр Сенкевич

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ.  
ВНУТРЕННЯЯ ТИШИНА

*Если человек займется исследованием своего организма или морального состояния, то непременно признает себя больным.*

*Иоганн Вольфганг Гёте*

Жизнь и судьба Венедикта Васильевича Ерофеева обескураживает тех людей, кто отказывается признать приоритет силы духа над властью тела. Литературное наследие, что он оставил потомкам, подтверждает, что им успешно выполнена миссия творческого человека. Что это за миссия, четко и коротко сформулировал в отношении гения другого времени австрийский поэт, драматург и историк искусства Франц Грильпарцер, живший в XIX веке: «Моцарт дает связь с всеобщей жизнью дню сегодняшнему».

Не издававшийся долгое время на родине, Венедикт Ерофеев все-таки обрел широкую известность уже при жизни. В начале 70-х годов прошлого века его слава не только гремела, но и голосила на все голоса. В последнем случае не в переносном, а в буквальном смысле. Понятно, что голоса эти были исключительно вражьи. Как только поэма «Москва — Петушки» появилась сначала в «самиздате», а затем в Израиле, где была впервые издана в 1973 году в журнале «Ами», все вещающие на СССР радиостанции западных стран не обошли это событие вниманием. Недоумение, что в Советском Союзе живет писатель, не похожий на своих собратьев по перу ни образом жизни, ни характером творчества, вскоре сменилось желанием объяснить, как такая несообразность могла произойти при власти большевиков и не является ли это сочинение предчувствием ее естественного конца.

---

Полностью книга А. Сенкевича “Венедикт Ерофеев. Побег из сансары” выйдет в издательстве «Молодая гвардия» (серия «Жизнь замечательных людей») в 2019 году.

Публикация своих произведений на Западе считалась у инакомыслящих писателей в СССР важным событием. Не потому только, что засвеченные таким образом во вражеском капиталистическом мире, они надеялись на его защиту в случае репрессивных действий по отношению к ним со стороны государства. Действительно, с появлением их имен в западных СМИ возникал определенный шанс не сгинуть в безвестности в какой-нибудь Тмутаракани.

Первое, что сделали зарубежные советологи — объявили Венедикта Ерофеева борцом с *антихристовым социализмом* и зачислили его в антисоветские писатели. Своей прямолинейностью они солидаризировались с экспертами по литературе, обслуживающими Пятое управление КГБ с его начальником Ф. Д. Бобковым, которое зорко приглядывало за творческой интеллигенцией. Будем снисходительны к поэтической глухоте этого генерала, уже в наше просвещенное время назвавшего Иосифа Бродского по старой привычке графоманом. Ведь в СМЕРШе, где начиналась его военная карьера, не учили отличать истинное поэтическое слово от «шершавого языка плаката».

Вместе с тем, доблестных чекистов, выступающих на ниве отечественной словесности в роли смотрящих, было бы несправедливо обвинять в преднамеренной лжи. Они знали, по крайней мере, одну из видимых причин интереса читателей к поэме «Москва — Петушки». Как вспоминает сын писателя Венедикт Венедиктович Ерофеев, первые читатели «искали в ней тень запрещенности». Другое дело, что чекисты, я думаю, просто растерялись и не знали, как им поступить в отношении странного молодого человека. К тому же сильно пьющего. Такой экзотический типаж среди творческой братии им еще не попадался. Он не был ни советским, ни антисоветским писателем. Скорее он напоминал кота, который гуляет сам по себе, из сказки Редьярда Киплинга. Кота особенного — ясно представляющего, куда занесла его судьба.

Венедикт Васильевич Ерофеев не был политически ангажированным писателем. В диссидентском движении участия не принимал, хотя с некоторыми диссидентами общался и даже дружил. Несмотря на неоднозначное отношение к диссидентам, он подписал в 1977 году письмо в защиту Александра Гинзбурга, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за участие в Хельсинкском движении в СССР. Это письмо с подписью писателя хранится в архиве



«Мемориала». Как отмечает Елена Игнатова в своей книге «Обернувшись», Венедикт Ерофеев с интересом наблюдал и даже иногда посещал сходки диссидентов, в различной степени недовольных советской властью. Она достаточно подробно описывает одно из таких собраний середины 70-х годов. На нем оппозиционно настроенные молодые люди должны были составить открытое письмо о положении культуры в СССР. После чего они надеялись собрать под ним подписи видных, либерально настроенных писателей.

Важной мне представляется фраза Венедикта Ерофеева, высказанная в разговоре с Игнатовой: «Представляешь, вот они придут к власти и будут распоряжаться всем, кстати, и твоей судьбой тоже. Как тебе такой вариант?... вот такие новые большевики».

Итак, подытожим черты социально-политического портрета Венедикта Ерофеева. На Госдеп он не работал и на КГБ тоже. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Вместе с тем, он был убежден, что народ и партия сливаются в одном чувстве взаимопомощи либо при природных катаклизмах и других бедствиях, либо при грозящей обоим опасности. То есть в том и другом случае — по необходимости. Таким образом, в повседневной жизни и в мирное время никакого душевного и естественного единства у них не получалось.

Мыслил и писал Венедикт Ерофеев вольно, всегда испытывал удовольствие, прикоснувшись пером или карандашом к бумаге. Ни на кого особенно из литературных авторитетов не «залипал», хотя некоторых из них все-таки выделял из общей писательской массы. Он выбирал себе приятелей, исходя не из политических или идеологических пристрастий, а по случаю и настроению. Для близких друзей у него существовал один критерий: они должны были соответствовать ему умом и порядочностью, а также по мере возможности избегать в разговоре с ним речевых штампов. Последнее условие, кстати, относилось исключительно к творческим людям.

Он воспринимал жизнь серьезно и с радостью. Для него жизнь не была «только привычкой» (если вспомнить строки Анна Ахматовой). Он купался в ней, как воробей в луже под музыку ветра. Жить в глубокой внутренней тишине, размышляя об этом божьем даре, — вот что доставляло ему настоящее удовольствие. Однако при его желании оставаться независимым человеком ему постоянно приходилось увертываться от насильственных действий власти. Он существовал на острие ножа и всякий раз делал свой выбор, исходя из сложившихся

обстоятельств. Венедикт Ерофеев не искал беду на свою голову, как это делали некоторые из его друзей.

Его мечтой было заполучить какую-нибудь хибару в деревне и поселиться в ней надолго — до самого последнего часа. В деревенской глуши он был готов жить, чем бог послал. Питаться грибами, ягодами, кореньями. Хоть небесной манной. Не получилось.

Жизнь бросила Венедикта Ерофеева в вероломный мир страстей. Не буду ханжой, сказав, что, как ни парадоксально, он уже с детства с ужасом вглядывался в мир *сансары*, чуждый его натуре и взглядам. Для него *сансара* олицетворяла обыденную, сибаритскую и благополучную жизнь. У индусов и буддистов *сансара* — одно из центральных мировоззренческих понятий и сочетается с законом моральной причинности — *кармой*.

*Карма* воплощает личную ответственность человека по отношению к своему прошлому, настоящему и будущему. Известный индолог Виктор Лысенко уточняет в энциклопедии «Индийская философия» употребление слова *сансара* в широком смысле: «*Сансара* используется индийцами как синоним феноменального существования вообще — изменчивого, но в то же время бесконечно повторяющего одни и те же сюжеты, в более узком смысле — как обозначение окружающего мира, а точнее, индивидуального мира отдельного человека, сферы его субъективного опыта».

Тошно ему было смотреть на мир *сансары*, в котором одни люди выглядели самодовольными, расфуфыренными и высокомерными, а другие — опустошенными, одинокими и унылыми. Однако оказавшись в этом мире, Венедикт Ерофеев не сводил ни с кем счеты и не заходил так далеко, чтобы считать его недостойным своего присутствия. Бесы мщениия и гордыни им не владели. Своих сил на бессмысленную борьбу и полемику он не растрчивал. На амбразуру не лез. Был убежден, что Россия — страна в большей степени западная, чем восточная, как бы ее ни обряжали в кокошники, сарафаны и кафтаны. Понимал, что с дураками спорить — себе дороже. Да и полемизировать с некоторыми умниками, которые от слов оппонента впадали в состояние невменяемости, было ему не с руки. И уж определенно он не относился к тем людям, кого заемные идеи съедали настолько, что ничего своего в человеке не оставалось. Его внутренняя тишина не сообразовывалась с полемическим задором.

Вместе с тем аполитичным человеком Венедикт Ерофеев не был. Ведь его начавшаяся взрослая жизнь совпала с хрущевским временем

оттепели. Именно оно вызвало брожение в умах советских людей. Нельзя было упрекнуть Венедикта Ерофеева и в двоемыслии, которым отличается большая часть российской творческой интеллигенции. Не в общепотребительном смысле этого слова, а в том, как понимал такой склад ума Иосиф Бродский: «Говоря “Двоемыслие”, я имею в виду не знаменитый феномен “говорю одно-думаю-другое-и-наоборот”. Я также не имею в виду оруэлловскую характеристику. Я имею в виду отказ от нравственной иерархии, совершенный не в пользу иной иерархии, но в пользу *Ничто*». Упомянув Джорджа Оруэлла, Иосиф Бродский напомнил об интерпретации понятия *двоемыслие* в культовом антиутопическом романе «1984» британского писателя. В этом произведении известные нравственные понятия обретают противоположный, аморальный смысл.

Мне вспоминаются рассуждения критиков о терпимом отношении Венедикта Ерофеева к советской идеологии и ее представителям. Это отношение сравнимо с восприятием миража, который являет собой временную игру воздуха со светом и вскоре сам по себе рассеивается. *Ничто* оно и есть ничто. Фантом, иллюзия, фата-моргана. Здесь, впрочем, необходимо сделать одно уточнение. В рассуждениях о двоемыслии Иосиф Бродский как поэт огромного творческого масштаба перемещает себя в Космос, где истечение одного часа равно тысячелетиям на Земле. А семьдесят четыре года (если вести отчет времени с 1917 до 1991 года) при таких пропорциях шкал времен вообще *ничто*. Но людям от этого объективного факта, прямо скажем, не становится легче.

В своем отношении к существованию зла в мире и формам борьбы с ним Венедикт Ерофеев напоминал хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского, понявшего, что стотысячная армия злодеев, созданная нечистой силой, представляет собой не людей из крови и плоти, а является всего лишь дьявольским наваждением и без особого труда может быть уничтожена мечом всего лишь одного благородного рыцаря.

Для многих писателей и читателей, сверстников Венедикта Ерофеева, он возник как будто бы из ниоткуда. Взлетел, как ракета, из народной гущи, и нате вам — оказался на Олимпе. Между тем назвать его талантливым малообразованным самородком из народа было бы не то что опрометчиво, а абсолютно неверно. Ведь он сочинял с оглядкой на шедевры писателей-классиков и на труды великих философов. Их

произведения хорошо знал и многое из прочитанного мог бы изложить с абсолютной точностью, ибо обладал цепкой и тренированной памятью. О его обширной эрудиции свидетельствуют как его «Записные книжки», так и художественные произведения.

В своем сочинительстве Венедикт Ерофеев не пускался на всякого рода ухищрения. Сюжеты его немногочисленных произведений незамысловаты, основное действие не выходит за рамки неприкаянной и тягостной человеческой жизни. Читателя захватывает прежде всего острота переживаний героев, а не вызывающие их события, большей частью достаточно заурядные.

Проза Венедикта Ерофеева непонятно о чем конкретно — она не о сумасшедших и спившихся людях, не о тайнах любви и тем более не о чувственных наслаждениях. Сотворить что-то остренькое, пикантное, сосредоточиться на сексе было не в духе писателя. Эротика с ее голой чувственностью его не интересовала. И уж совсем он был чужд литературной поденщины.

Невозможно разобраться, какие былые страсти и переживания автора стоят за поступками персонажей поэмы «Москва — Петушки» и пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора». Вероятно, этому мешает чрезвычайная экспрессивность повествования, создающая разногласию смыслов. Сумеречное существование, в котором проводят жизнь герои Венедикта Ерофеева, иногда озаряется вспышками таких чувств и эмоций, что, кажется, продлись они чуть дольше — и запыхает весь мир.

Стало общим местом в литературе о Венедикте Ерофееве представлять его идущим по жизни в обнимку с бутылкой. Мало кто до сих пор понимает, что поэма «Москва — Петушки» вовсе не о съехавшем с катушек алкоголике, жертве советской системы, не о коварстве бездушной власти, не о нашем беспокойном времени, а о русском человеке, каким он предстает в своих благородных и непотребных проявлениях в сказках, былинах, бывальщинах и анекдотах. О его незлобivosti по отношению к жизни. О его вольнолюбии, простодушии, доброте и в то же время дикости, своеволии и взрывном характере.

Речь идет о национальном культурно-психологическом типе, черты которого формировались на протяжении многих веков. И одновременно это человек, живущий в обществе, где господствует советская мифология черно-белого мира и присутствует вечная угроза войны.

В поэме «Москва — Петушки» писателю удалось воссоздать как национальные, так и сугубо советские особенности бытия

настолько достоверно и впечатляюще, что многие цитаты из нее вскоре стали афоризмами. Такая посмертная судьба писателя дала повод Александру Генису сказать: «С каждым годом все труднее поверить, что образ Венички скрывал настоящего, а не вымышленного, на манер Козьмы Пруткова, автора. Кажется, что Веничка соткался из пропитанного парами алкоголя советского воздуха, материализовался из мистической атмосферы, в которой вольно дышит его проза».

Герой Венедикта Ерофеева не признает приоритет государства над самим собой и предпочитает жить вне социальной иерархии. Ему чужда сакрализация государственной власти и не присущи покорность раба и легкоеверие идиота. Он выпрыгнул из всего телесного, тленного и устремился туда, где у времени и пространства совершенно иные параметры и координаты. Кстати, разумом он абсолютно не понимает этот вожденный рай, к тому же неизвестно где находящийся, но сердцем и душой его хорошо чувствует и представляет. Словом, ситуация возникает чисто российская: иду туда — не знаю куда, найду то — не знаю что. И как всегда, чтобы не сойти с ума от такой неопределенности, выручает внутренний голос: «Ложись спать, утро вечера мудренее».

Поэму «Москва — Петушки» я отношу к произведениям мировой классики, в которых приоритетной ценностью объявляется не величие государства, а человек с его чаяниями и потребностями. Какие эти чаяния и потребности у героя поэмы — в данном случае не столь уж важно. Главное, что он вырвался из мертвящих догм и подтвердил свое право на свободу выбора. Пусть даже во зло себе самому и своим близким.

Что-то запредельное, не от мира сего присутствует в литературных персонажах Венедикта Ерофеева и в нем самом: сочетание русского бытового раздолбайства с молитвенно-созерцательной отрешенностью от всего временного и преходящего. Недаром трагическая смерть героев его произведений и самого Ерофеева обретают смысл религиозной притчи о новомучениках XX века.

Цель у автора поэмы «Москва — Петушки» и его персонажа Венички была возвышенная и благородная. Она не связывалась с желанием окончательно спойть жителей родной страны. Вот что своим читателям советовал писатель: «Больше пейте и закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма».

Предлагаемые автором поэмы коктейли, как определил их один из ее комментаторов, «крепко замешаны на неприкаянной жизни, безысходности и советских одеколوناх». Их названия, вроде *Смерти комсомолки*, *Сучьего потроха*, и *Поцелуя тети Клавы*, очень специфичны и малопонятны для иностранцев. Во всех словарях русского языка эта сотворенная наспех *амброзия* обозначена широким и расплывчатым по смыслу понятием — бухало или бухло. Оно, это бухало-бухло, появилось на божий свет на радость загульным алкашам как плод их изощенного ума, едва функционирующего при почти пустых карманах.

Как заметил один из читателей поэмы «Москва — Петушки», в этом шедевре Венедикта Ерофеева «отсутствует пещерный, эдакий патологический антикоммунизм/антисоветизм. Отношение к власти у Венечки стремно-снисходительное, власть для него вещь в себе, он даже Кремль в Москве найти не может». Я думаю, что в данном случае этот внимательно прочитавший поэму читатель, восхитившийся ею и эмоционально очарованный, не оценил в должной мере интеллектуальные возможности Венедикта Васильевича. Советская власть не была для него вещью в себе. Он понял, что она из себя представляет даже не из книг, а благодаря собственному опыту. По ее бесчеловечному отношению к его семье и к нему самому, а также к судьбам миллионов других людей.

Существует смелое предположение, что поэма «Москва — Петушки» не про алкоголь вовсе и тем более не имеет никакого отношения к поставангарду. Она про ангела, но не павшего, а только слегка оступившегося и сломавшего крыло. Вот и вынужден он скитаться среди людей, а его бывшие братья, печалась, что не в силах ему помочь, все-таки не покидают его. А алкоголь для этого ангела — средство забвения, создающее иллюзию его временного возвращения в заоблачные выси, которые больше ему не принадлежат.

Та жизнь, которую вел Венедикт Ерофеев, не требовала особых затрат. Более того, он обходился самым малым и часто из-за постоянного безденежья голодал. Существует много свидетельств, что в критические моменты своих бездомных скитаний он никогда ни к кому не навязывался. Чувство врожденной интеллигентности не позволяло ему в общении с окружающими людьми вести себя напоисто, бесцеремонно и нагло. Он никогда не опускался до навязчивого

попрошайничества. Клянчить взаймы деньги, набиваться на обед было не в его правилах. Подношения Венедикт Васильевич принимал с удовольствием, но не милостыню. От фимиама, который воскуряли ему экзальтированные поклонницы, у него першило в горле и слезились глаза. Он пытался в этих случаях отшутиться. А что ему еще оставалось делать, когда девушки буквально немели и впадали в транс, глядя на него?

«Москва — Петушки» — абсолютно русский роман. До Венедикта Ерофеева еще никто не описал с такой художественной убедительностью жизнь и ощущения пропащего человека, нашего современника. Такое не придумаешь, через это надо пройти самому.

Говоря о Венедикте Ерофееве нельзя не обратить внимание на его внутреннюю музыкальность, о чем вспоминают многие его друзья. Казалось, он родился с оркестром в голове.

Иосиф Бродский считал музыку лучшим учителем композиции. Говоря о ней, он подчеркивал, что она научает писателя композиционным приемам, но, «разумеется не напрямую, ее нельзя копировать». По мысли поэта, «в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется».

Насколько была важна для Венедикта Ерофеева музыка, говорит запись в одной из его тетрадей, датированная 1972 годом: «Музыка — средство от немоты. Может быть, вся наша немота от неумелости писать музыку». По свидетельству вдовы писателя Галины Ерофеевой, он «музыку не просто любил, а обнимал, поглощал».

Подчеркну особо: музыка возвращала ему ушедшее время молодости, когда он был полон сил и надежд.

Наталья Шмелькова, близкий друг писателя, автор двух книг о нем, вспоминает: «Одним из любимых композиторов был Сибелиус. Особенно часто он слушал его музыку в последнее время, говоря, что неотвязно-постоянно снится ему Кольский полуостров. Помню, как за день до второй операции он непрерывно заводил Четвертую симфонию композитора. Сказал: “Послушаю мою Родину...”»

Чувство Родины для Венедикта Ерофеева было бы ущербным, как у многих жителей мегаполисов, не возникни оно, словно дуб из жёлудя, из любви к тому месту, где он появился на свет, провел детство и юность — к Кольскому полуострову, почти полностью расположенному за Полярным кругом. Он всю жизнь при всех своих мытарствах

и перемещениях по России сохранял память о родном гнезде, хотя бы и разоренном. Сколько раз Венедикт Васильевич возвращался туда, откуда началось его узнавание мира, где возник страх от ощущения недолговечности жизни и неисчезающая печаль от того, что всё в ней преходяще. Как бы то ни было, он не разочаровывался своим очередным пребыванием в родных пенатах. Ведь им двигало не только желание встретиться со знакомыми людьми и потребность снова оказаться лицом к лицу с природой этого края. Эти приезды давали ему намного больше. Они укрепляли в нем верность своему детству. К нему возвращалось блаженное состояние духовной и телесной чистоты. Он словно выныривал, задыхаясь, из болотной жижи и видел над собой северное рассветное небо, а по сторонам каменистые сопки с низкорослыми березами в низинах и везде вокруг многообразье цветущих полевых трав.

Венедикт Ерофеев понимал, что после его смерти они наплетут о нем еще больше гадостей и присочинят уже от себя немало новых глупостей.

Он опередил злопыхателей, еще при жизни выплеснув на самого себя ведро помоев. Вот такой он предпринял неожиданный и оригинальный ход, обескуражив близких ему людей и переиграв своих врагов. До него еще никто из писателей, как мне известно, от клеветников и хулителей подобным образом не отбивался.

Одновременно ему было присуще устойчивое представление о сущности бытия, о его трагичности. Оно было постоянным, устойчивым, не менялось на протяжении всей его жизни. Он жил независимо и приспособляться к чему-то сиюминутному не хотел. К тому же на него влияло что угодно, но только не отвлеченная мудрость доморощенных философов. Все эти далекие от реальности рассуждения дилетантов его неимоверно раздражали. Слишком мало было отпущено ему времени на жизнь в творчестве, чтобы наслаждаться переливанием из пустого в порожнее.

*Полностью текст можно прочитать  
на сайте «Новой Юности»  
[www.new-youth.ru](http://www.new-youth.ru)*





Кирилл Молоков

## РЭП КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Во второй половине XX века почти все главные музыкальные рейтинги пестрели «гитарными» альбомами. Рок был едва ли не движущей силой мировой культуры, оказывая колоссальное влияние не только на остальные жанры поп-музыки, но и на другие виды искусства, в частности на литературу (например, творчество битников). Однако сегодня ситуация кардинально изменилась — если раньше американские рэперы Beastie Boys в клипе «No Sleep Brooklyn» были вынуждены переодеваться в рокеров, надевая длинные парики, чтобы заинтересовать продюсера с большим карманом, то сегодня поп-артисты и даже рок-музыканты приглашают на записи своих альбомов рэп-звезд, а порой и вовсе сами осваивают тонкости речитатива. Для любителей музыки, которые живут сегодняшним днем, уже давно не секрет, что рэп стал доминирующим на поп-арене.

Здесь уместно задать резонный вопрос: «А какое отношение это имеет к поэзии?»

Чтобы ответить на него, следует обозреть ряд любопытных исторических фактов, взглянув на явление рэпа с отдаленной дистанции — не музыкальной, а культурной. Для этого необходимо обрисовать четкую картину появления самого рэпа. Удивительно, но многие черты современной хип-хоп культуры подспудно складывались на протяжении нескольких веков, и уже в начале 1970-х, под влиянием различных общественных движений и культурных тенденций соединились в то, что теперь некоторые американские ученые называют современной формой бытования поэзии.

### БИТ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Как это ни странно, истоки американской хип-хоп культуры находятся на другом континенте — Африке. Согласно «Эпосу о Сундиате» (XIV–XVI вв.) народа мандика, на территории западной Африки как

минимум с XII века существовала крайне интересная каста людей, прозванная гриотами (*griot*. — *фр.*). Они имели немало сходств с древнегреческими рапсодами, ирландскими бардами и скандинавскими скальдами. Гриоты странствовали по селениям, где веселили людей песнями и рассказами, которые часто основывались на актуальных слухах и новостях. Их главными музыкальными инструментами, как правило, были кора, лютня и барабан, причем последний играл едва ли не ключевую роль.

Главными элементами исполнительской манеры гриотов можно назвать нередко импровизационный характер (даже несмотря на событийную основу), артистичность и четкий танцевальный ритмический рисунок. Эти черты в дальнейшем прижились в среде невольников, вывезенных в XVII–XIX вв. в Новый Свет, где, под влиянием тогда еще формально западноевропейской цивилизации, традиции и обычая темнокожих рабов из разных уголков Африки стали синтезироваться в принципиально новую культуру — афроамериканскую.

Американские переселенцы свято верили в свою избранность, по-сему огромное количество невольников было обращено в христианство. Спустя несколько поколений многие темнокожие американцы были христианами, однако представители белого населения в то время были категорически против совместного церковного богослужения с потомками африканских рабов, из-за чего для последних были созданы отдельные церкви, где они, не скованные взглядами европейских священников, начали исполнять духовные гимны на свой манер. Это дало толчок к возникновению спиричуэлс (*spirituals*, *spiritual music*. — *англ.*).

Через два с половиной века окончательно сформировавшийся спиричуэлс представлял собой соединение афроамериканских традиций, обычаев и фольклора с европейскими культурными ценностями и христианством. Почти все песни базировались на книгах Моисея и Даниила из Ветхого Завета, где особенно отчетливо выражена тема освобождения. В то же время афроамериканцы адаптировали многие песни под свою окружающую действительность, изменяя их форму посредством африканских исполнительских традиций. Пение часто носило импровизационную форму, сопровождалось хлопаньем в ладоши и даже танцами (здесь явно прослеживаются африканские традиции гриотов). Однако главной отличительной чертой спиричуэлс была респонсерная структура пения, то есть диалог между проповедником

и прихожанами по принципу вопрос-ответ. Эта особенность в дальнейшем оказала огромное влияние на афроамериканскую культуру — в том числе и на хип-хоп.

В 1865 году рабство было официально запрещено на территории США, а темнокожее население начало проходить естественный процесс социализации и интегрироваться с белыми американцами. Так называемые «рабочие песни», или хóлеры, сопровождавшие работу в поле, спиричуэлс в начале XX века начинают эволюционировать в принципиально новый музыкальный жанр — блюз (blues. — *англ.*), пик которого пришел на 1920-е годы.

Ни для кого не секрет, что блюз в свою очередь сыграл огромную роль в возникновении всей поп-культуры. Именно из блюза к середине XX века рождается джаз (а за ним и рок). Он не только во многом отодвинул классическую музыку на задний план, но и стал неотъемлемой частью жизни всего американского общества. Неслучайно в культуре США даже появилось такое понятие, как «век джаза», которое говорило об абсолютной джазовой гегемонии на территории всей страны.

В 1930–40-е годы джаз был настолько популярен, что такие фигуры, как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Каунт Бэйси или Коулмен Хокинс, стали едва ли не первыми мировыми звездами поп-музыки.

Во второй половине XX века джаз и блюз стали фундаментом для возникновения таких жанров, как рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, соул и фанк. Последние три в дальнейшем в какой-то мере стали основой для всего хип-хопа. Ритм-энд-блюз и соул сильно повлияли на становление современного ар-н-би, который является частью хип-хоп культуры, а что касается фанка, то он был и остается главным источником для сэмплов многих известных хип-хоп артистов.

Финальными стадиями в рождении хип-хоп культуры являются общественно-политические сдвиги 1950–70-х г.г. в жизни афроамериканского населения — появление агрессивно настроенной партии черных пантер, боровшейся с дискриминацией темнокожих, и Мартина Лютера Кинга, который также отстаивал права своей этнической группы, однако более мирным путем, возглавив «Движение за гражданские права чернокожих в США».

Именно эти социально-политические и культурные «взрывы» в афроамериканском обществе подготовили почву для возникновения леворадикальной музыкальной группы The Last Poets, которая, схожая по своему бунтарскому духу с ранними панк-рок музыкантами, в на-

чале 1970-х, наряду с ямайскими диджеями, дает начало рэп-музыке. The Last Poets, вдохновленные поэзией социального протеста и афроамериканскими общественными движениями второй половины XX века, стали фактически первыми читать стихи под тяжелый бит и музыкальное сопровождение.

### **РЭП КАК ПОЭЗИЯ И ГЛАВНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКИ**

Существует несколько причин, почему хип-хоп стал доминирующим в культуре США. Во-первых, рэп впитал в себя практически весь многолетний опыт афроамериканской культуры, которая, как уже отмечалось ранее, является частью американской в целом. Во-вторых, именно в рэпе главная американская ценность — американская мечта — прижилась лучше всего. В-третьих, рэп появился в эпоху становления постмодернизма и постиндустриального общества и по своей сути не просто идеально соответствует духу времени и ярко отражает общественные тенденции, но даже является в какой-то мере продуктом этого культурного этапа.

Рассмотрим все эти моменты непосредственно на самих текстах. При этом не стоит забывать, что рэп все-таки остается музыкальным жанром, поэтому иногда обращение к его музыкальной составляющей будет просто неизбежно.

Чтобы выявить влияние поэзии социального протеста в рэпе, далеко ходить не приходится — конечно, рэп, как и любой другой жанр, многогранен, однако большинство исполнителей, не говоря уже о культовых остросоциальных группах вроде N.W.A. или Public Enemy, написали немало негативных строк в адрес правительства и его ключевых институтов, в первую очередь полиции. Так, например, Тупак Шакур в своей знаменитой песне «Changes» («Перемены») читает следующее:

*I see no changes, wake up in the morning and I ask myself*  
Я не вижу перемен, просыпаюсь утром и спрашиваю себя  
*Is life worth livin'? Should I blast myself?*  
Стоит ли игра свеч или лучше пристрелить себя?  
*I'm tired of bein' poor and, even worse, I'm black*  
Я так устал от нищеты, но что еще хуже, я черный  
*My stomach hurts so I'm lookin' for a purse to snatch*

Мой живот кричит от боли, что я ищу какой бы  
кошелек мне сдернуть  
*Cops give a damn about a negro*  
Копам наплевать на негра, он всегда плохой  
*Pull the trigger, kill a nigga, he's a hero*  
Спустил курок, пристрелил ниггера, и ты уже герой  
«*Give the crack to the kids, who the hell cares?*»  
«Толкай крэк детям, кого это беспокоит?»  
*On less hungry mouth on the welfare!»*  
Одни ртом меньше, что о пособиях воеет!»

Вообще, рэп по своей сути — жанр протестующий даже там, где, казалось бы, на первый взгляд нет никакого повода для протеста. Связано это с тем, что многие рэп-исполнители являются выходцами из неблагополучных семей гетто, и кому как не им знать о проблемах дискриминации, нищеты, криминала и пр. Именно поэтому многие рэп-песни имеют довольно агрессивный и грубый язык, а также экспрессивный восклицательный тон, даже если сама песня при этом относительно асоциальна и развлекательна. Ярко выраженная эмоциональность и артистичность вообще присущи жанру. Причем это прослеживается не только в музыке (например, пародирующих интонациях или мини-диалогах), но и в стихах.

Как уже отмечалось, рэп не ограничивается рамками бумажного или цифрового листа. И хотя рэп рассматривается здесь в первую очередь с точки зрения поэзии, все же говоря о влиянии афроамериканской культуры, в особенности музыки, сэмплы которой используют практически все рэперы, невозможно не упомянуть спиричуэлс и обойти музыкальную составляющую рэпа.

Понятие спиричуэлс в случае с рэпом довольно растяжимо. Если говорить о ярких примерах, то стоит вновь обратиться к тексту Эми-нема «White America»:

*White America, I could be one of your kids*  
Белая Америка! Я мог бы быть твоим сыном  
*White America, little Eric looks just like this*  
Белая Америка, маленький Эрик выглядит точно также, как я  
*White America, Erica loves my shit*  
Белая Америка, Эрика любит мои песни

*I go to TRL, look how many hugs I get!*

Я иду на TRL, посмотри, как много объятий я соберу,  
оставаясь на месте!

Хотя здесь мы не видим вопросительных знаков, данная строфа очень четко передают респонсорную структуру спиричуэлса, которая развивается не только за счет интонаций Эминема, но также видна текстуально за счет ритма.

Как можно видеть, многие черты, характерные для афроамериканской культуры, прослеживаются в рэп-песнях не только музыкально, но и на текстах композиций. Однако, чтобы понять законы рэп-поэзии и причины, по которым она так стала популярна в США, а затем и во всем мире, следует обратиться к содержанию рэп-текстов, а точнее, к их фундаментальной основе.

Зачастую многих людей рэп-музыка отталкивает даже не столько своей агрессией, нецензурной лексикой и определенной музыкальной монотонностью, сколько своими текстами. Конечно, в рэпе существует масса трогательных сюжетов и даже философских размышлений, однако вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что подавляющее большинство успешных рэп-песен посвящено атрибутам материального благосостояния и самолюбованию самого рэп-исполнителя. Объяснение столь непонятной для русской аудитории одержимости рэперов деньгами кроется в ключевой ценности многих американцев — американской мечте.

Американская мечта — это одновременно материальное, но в то же время довольно абстрактное понятие. Если говорить кратко, то ее основная суть заключается в материальном благополучии. Хотя рэп во многом заслуживает в этом отношении критики, необходимо отметить, что подобная любовь к деньгам и надоедливое хвастовство часто обоснованно. В тексте Кендрика Ламара «Black Boy Fly» («Черный парень достиг») имеются следующие строки:

*Three niggas making it out? That's mission impossible*

Три ниггера, добившиеся успеха? Эта миссия невыполнима  
*So I never believed the type of performance that I could do*

Поэтому я никогда не верил в свои силы  
*I wasn't jealous 'cause of the talents they got*

Я не завидовал талантам, которые они имели  
*I was terrified they'd be the last black boys to fly out of Compton*

Я лишь боялся, что они станут последними,  
кто улетели из Комптона

По ходу текста Ламар упоминает трех успешных афроамериканцев — Аррона Агустина Аффлало, Джейсона Террелла Тэйлора, Майкла Джефффри Джордона, — которым удалось «выбраться» из его родного Комптона, погрязшего в бедности и преступности. Кендрик Ламар (очень часто в рэпе лирический герой отождествляется с самим исполнителем) радуется своему успеху, поскольку ему, как и некоторым другим афроамериканцам удалось выбраться из криминальных районов, где такие слова, как «наркотики», «оружие», «тюрьма», «аборт», знакомы детям не понаслышке.

Анализируя любовь рэп-исполнителей к хвастовству, следует принять в расчет обрисованную выше картину — многие из них вырастают в кошмарных условиях. Если, к примеру, Джек Лондон достигал американской мечты, поднимаясь со дна, то многим рэп-поэтам зачастую приходится сначала пробивать это дно, поскольку их существование находится глубоко под ним.

Наконец, последний и, пожалуй, самый примечательный фактор, который позволил стать рэпу господствующим жанром — это его тесная связь с постмодернизмом. Рэп утвердил свое «официальное» существование практически в одно и тоже время, что и постмодернизм. Формальной исходной точкой постмодернизма принято считать статью Лесли Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы», опубликованная в 1969 г. в журнале «Playboy». Именно в начале 70-х рэп стал развиваться как музыкальный жанр. Что же объединяет рэп и постмодернизм? С музыкальной точки зрения, рэп — самый настоящий продукт постмодернизма, поскольку он как жанр вырос на готовых музыкальных композициях, которые битмейкеры и диджеи буквально склеивали для рэп-песен. Музыканты, отвечающие за создание рэп-музыки, в большинстве своем не более, чем музыкальные конструкторы, пусть и очень грамотные. При этом иногда рэперы даже не синтезируют отдельные музыкальные отрывки, а просто берут готовый аккомпанемент известных хитов, лишь слегка изменяя его звучание. В качестве примера можно привести песню американского рэпера Шона Комбса «I'll Be Missing You» («Я буду скучать по тебе»), в котором звучит известная мелодия культовой рок-группы The Police «Every Breath You Take» («За каждым твоим вздохом»).

С текстуальной точки зрения рэп также близок к постмодернизму, поскольку ему присущи многие постмодернистские черты. Об игре в театральность уже шла речь, поэтому сейчас мы поподробнее остановимся на других фундаментальных особенностях постмодернизма, а именно: интертекстуальности, аллюзиях, синтезе жанров и стилей и идейном плюрализме.

Начнем с интертекстуальности и аллюзий, поскольку они присущи если не каждому рэп-тексту, то практически каждому рэп-поэту. Достаточно занимательный пример в этом случае — «самоцитирование» Кендрика Ламара в его тексте «Sing About Me, I'm Dying of Thirst» («Спойте обо мне / Я умираю от жажды») из альбома «good kid, m.A.A.d city» («хороший ребенок, безумный город»). Главной примечательностью здесь является второй куплет, представляющий обращение сестры девушки, трагичную историю которой Ламар рассказал на предыдущем альбоме «Section. 80» («Район.80») в тексте «Keisha's Song» («Песня Кейши»). Она в бешенстве негодует на Кендрика Ламара за то, что он использовал эту трагедию для своих текстов, не имея на это никаких прав:

*You wrote a song about my sister on your tape*

Ты написал песню о моей сестре на своем диске,  
*And called it «Section.80», the message resembled «Brenda's Got a Baby»*

Который назвал «Район.80», посыл очень напомнил  
«У Бренды есть ребенок»

*What's crazy was, I was hearin' about it*

Это было ужасно, я слышала об этом

*But doubted your ignorance*

Но не могла поверить в твое невежество

*How could you ever just put her on blast and shit?*

Как ты вообще, бл\*\*ь, посмел выставить  
ее жизнь на всеобщее посмешище?

*Judging her past and shit?*

Осуждать ее, бл\*\*ь, прошлое?

*Well, it's completely my future*

Знаешь, меня ждет в точности такое же будущее

При этом аллюзия к собственной песне делается не напрямую, а через упоминание первого альбома исполнителя и отсылку на



песню Тупака Шакура «Brenda's Got a Baby» («У Бренды есть ребенок»), которая действительно очень напоминает текст Ламара «Keisha's Song».

Что касается синтеза жанров и стилей, то стоит заметить, что для поп-культуры вообще характерно смешивание искусств. Сегодняшний поп-артист — это видеоролики (кинематограф), непосредственно сами песни (музыка), выступления (в какой-то степени театр), лирика (литература). Рэп как один из представителей сегодняшней поп-культуры не является в этом случае исключением; напротив, он идет несколько дальше. В рэпе очень органично могут сочетаться совершенно разные жанровые формы и стили.

Для рэп-исполнителя гораздо важнее понятие самого стиля и оригинальности, чем следование какой-нибудь системе стихосложения. Именно поэтому на просторах рэп-поэзии появляются необычные тексты вроде «Stan» («Стэн») Эминема, который очень сильно напоминает короткий рассказ в форме эпистолярной прозы, имеющий сюжет и развитие героя, или же альбом «The Life Of Pablo» («Жизнь Пабло») Канье Уэста, который представляет собой поток сознания на грани абсурда, где переплетаются религия и поп-культура. Именно поэтому в рэпе, как ни в одном другом жанре, стерта граница между стилями и жанрами: в одной песне вы можете услышать и быстрый речитатив, и рок-н-рольную гитару, и классический госпел, и, что самое главное, текст, наполненный нецензурной лексикой и многочисленными отсылками к Библии, персонажи которой внезапно могут превратиться в комедийных героев (как это порой бывает у Уэста).

## ПОЧЕМУ ИМЕННО РЭП?

Несмотря на проделанный ознакомительный обзор рэпа с точки зрения поэзии, наверняка многие зададутся вопросом, почему именно рэп, а не, например, рок? И насколько правомерно видеть в рэпе альтернативную форму развития нынешней «традиционной» (в первую очередь книжной) поэзии?

Во-первых, никто не отменял заслуг многих рок-лириков, о чем свидетельствует врученная в 2016 г. Нобелевская премия Бобу Дилану. Среди рок-музыкантов (да и вообще среди других поп-жанров) имеется немало хороших поэтов, однако между рэпом и всей остальной поп-культурой есть существенная разница. Как правило, текст

в любом поп-жанре работает на музыку и ее восприятие. В рэпе, напротив, музыкальная составляющая работает на текст, создает для него особую атмосферу, настроение, тональность и ритм. Не стоит приводить исключения — они есть всегда. Однако общая тенденция именно такова. Для рэпера куда важнее удачная строчка, чем мощный и запоминающийся гитарный пассаж или яркая вокальная мелодия. Иными словами, формально средний рэпер более натренирован в текстуальной основе и потенциально должен создавать более удачные тексты, чем, например, исполнители электронной музыки.

Во-вторых, исключительно важный момент при попытке отграничить рэп от иных форм художественной деятельности — сама декламация. Несмотря на то, что рэп очень сильно изменился за последние годы, приобретя большую мелодичность и сложность в звучании, его форма — речитатив — имеет гораздо больший контакт с обычным чтением стихов, чем пение, где первоочередную функцию играет голос, а не подача текста.

Теперь посмотрим, какую альтернативу рэп может предложить поэзии, — сравним его с текстом одного американского классика (поскольку речь идет в первую очередь об американском рэпе). В качестве образцов для сравнения можно взять один из главных поэтических шедевров американской поэзии XIX века — стихотворение Эдгара Аллана По «The Raven» («Ворон») и рэп-текст Эминема «Lose Yourself» («Растворись»), признанный одним из лучших образцов жанра. Для удобства в сравнении все отрывки представлены в оригинале и переводе:

*Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,*

Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы,

*Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,*

Меж томов старинных, в строки рассуждения одного

*While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,*

По отвергнутой науке и расслышал смутно звуки,

*As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.*

Вдруг у двери словно стуки — стук у входа моего.

*«Tis some visitor», I muttered, «tapping at my chamber door —*

«Это — гость, — пробормотал я, — там, у входа моего,

*Only this and nothing more».*

Гость, — и больше ничего!»

(отрывок из стихотворения Эдгара Аллана По «The Raven», перевод В. Брюсова)

*Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy*  
Его ладони вспотели, колени слабеют, руки тяжелеют  
*There's vomit on his sweater already: Mom's spaghetti*  
Мамины спагетти на жилете, лицо бледнеет  
*He's nervous, but on the surface he looks calm and ready*  
Его мышцы напряжены, но снаружи он спокоен, не робеет  
*To drop bombs, but he keeps on forgetting*  
Готов взорвать, гнать, но он забыл вновь, опять  
*What he wrote down, the whole crowd goes so loud*  
Что написал он, вся толпа кричит «Вон!»  
*He opens his mouth, but the words won't come out*  
Он открывает рот, но его язык сковал лед

(отрывок из рэп-текста Эминема «Lose Yourself»)

Итак, проведем краткий анализ каждого стихотворения. Произведение Эдгара По состоит из 18 строф, каждая из которых включает в себя 6 строк. Нами была выбрана первая строфа стихотворения. Форма «Ворона» является образцом классической лирики: восьмистопный хорей, силлабо-тоническая система стихосложения, строгая схема рифмовки ABCBVB, наличие слова-рефрена «nevermore», создающего своего рода тематический ритм всего стихотворения. Лексика произведения преимущественно поэтическая и книжная, иногда нейтральная. Все это говорит о том, что форма данного стихотворения создавалась Эдгаром По согласно принятым в его время поэтическим канонам — четкий ритмический рисунок, мелодичность, обилие риторических фигур и стилистических средств (в данном случае эпитетов), строгий размер и рифма.

Рэп-тексты любопытны тем, что они впитали в себя весь накопленный опыт уже существующей поэзии и взяли от каждого этапа его лучшие стороны. Выбранный отрывок из текста Эминема показывает это со всей наглядностью. Основной акцент здесь сделан на рифме, которая ярко подчеркивает ритм и усиливает музыкальность текста. При этом рифма может быть необычайно разнообразной, начиная от простых повторов и заканчивая сложными составными и внутренними рифмами. Можно сказать, что рифма — это один из краеугольных камней

рэп-поэзии, поскольку от ее качества и подачи зачастую зависит успех рэп-исполнителя. Между тем, в тексте отсутствует строгая система рифмовки, метрики и стихосложения, что в какой-степени сближает структуру рэп-текстов с верлибром. Таким образом, рэп-текст, с одной стороны, избегает строго выдержанных правил стихосложения, характерных для классической поэзии, с другой стороны, наличие акцентированного ритма и ярких рифм не позволяет отнести рэп-текст к свободному стиху. Иными словами, рэп-текст представляет собой нечто среднее между верлибром и каноничной европейской лирикой.

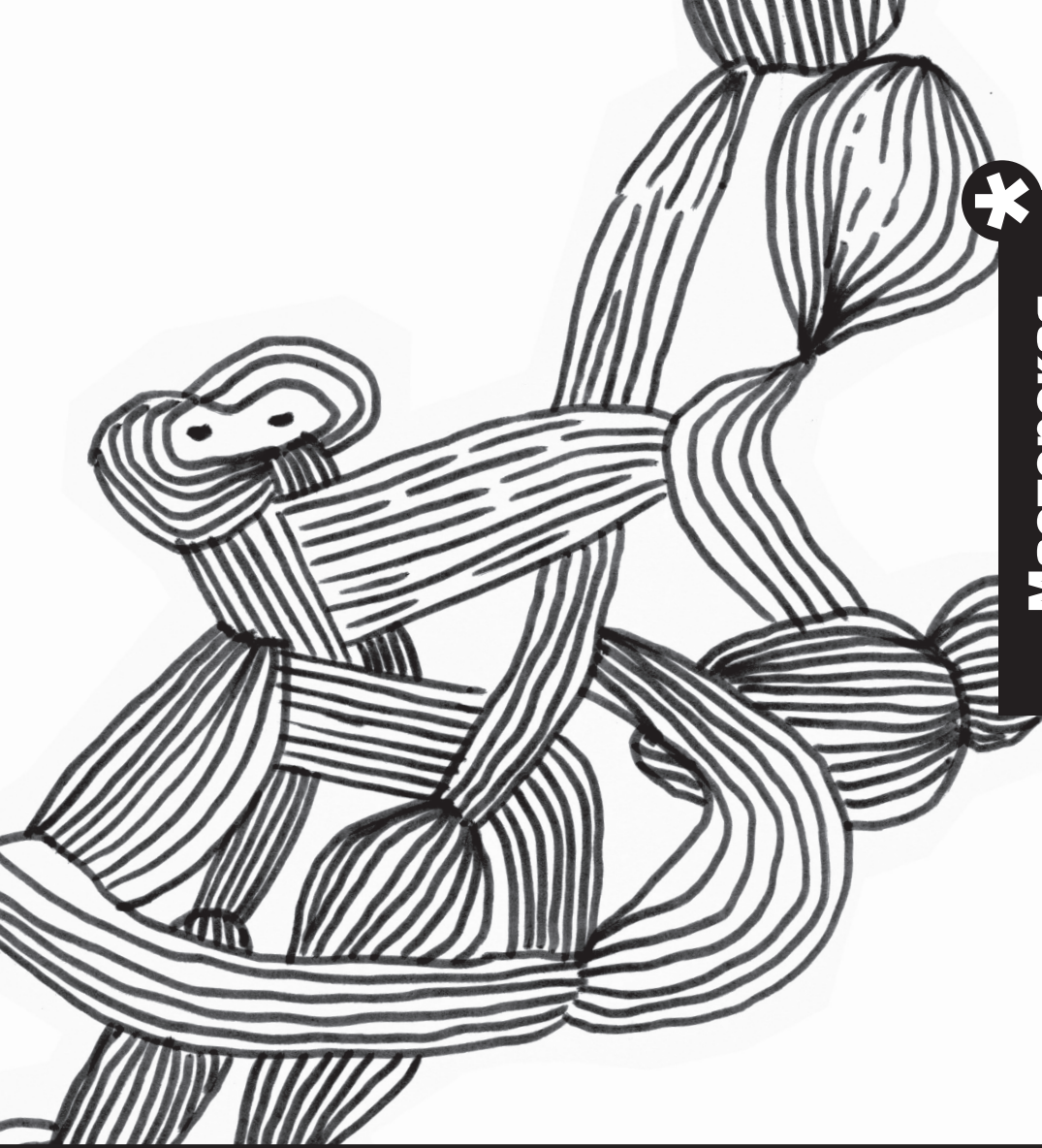
Отвечая на вопрос, что же представляет собой рэп-текст в рамках поэзии, можно сказать, что рэп в большинстве своем — это синтез классической поэзии и свободного стиха, в котором живой разговорный язык и приземленные злободневные темы доминируют над литературным языком и абстрактными понятиями. Для рэп-текста нехарактерна строгая метро-рифменная структура, устойчивая строфика, какая-либо четко выдержанная от начала и до конца система стихосложения. В тоже время, рэп-текст требует сильных и качественных рифм, а также оригинального музыкального ритма.

«Выходит, поэзия в ее классическом понимании должна перестать существовать?» — спросит читатель.

Нет, ни в коем случае.

Во-первых, рэп был предложен в качестве альтернативы, но никак не замены. А, во-вторых, между рэп-поэзией и классической лирикой все-таки имеется немаловажное различие — восприятие. В то время, как, например, стихотворения Т. С. Элиота можно читать по-своему и совершенно по-разному, меняя настроение, то рэп зачастую ограничен одной идеальной формой исполнения — песней, — которая хоть и не исключает другие трактовки, но, так или иначе, бессознательно всегда будет находиться в голове слушателя/читателя, что лишает его своего рода более личной обстановки и отчасти некоего сотворчества.

Что в перспективе рэп может дать поэзии? Сегодня лирика продолжает существовать и активно развиваться, но по социокультурным причинам находится в тени эпоса и драмы. Рэп-поэзия может не только выступить в качестве некоего популяризатора лирики и/или альтернативы для современных поэтов, но также и способствовать ее развитию в целом. Иными словами, рэп может дать поэзии своего рода второе дыхание, вернуть широкий интерес, а также по-своему ее модернизировать и двигать вперед.



**Григорий Кружков.** «Таинственный придаток»:  
Эмили Дикинсон и интертекстуальность. *Статья*

Григорий Кружков

«ТАИШТВЕННБИЙ ПРИДАТОК»:  
ЭМИЛИ ДИКИНСОН  
И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ

Среди значительной части читателей бытует мнение, что поэт должен быть, прежде всего, оригинален, что всякие влияния принижают его ранг и значение. Часто цитируют строки Бориса Слуцкого: «Солнечные батареи и большие поэты / Работают прямо от солнца. А маленькие поэты и все другие батареи нуждаются в подзарядке: подзарядке славой, подзарядке чужими стихами и так далее» (цитирую по памяти). Впрочем, было бы наивностью принимать эти слова слишком буквально. «Прямо от солнца» можно получить разве что загар или солнечный удар, а настоящий поэт всегда зависит от своих предшественников; влияния не умаляют его и не усредняют. Наоборот, без влияний не может быть и оригинальности.

Случай Эмили Дикинсон служит хорошим примером. «Затворница из Амхерста», как ее часто называют, всю жизнь прожила вдали от литературных центров, без общения с собратьями-поэтами. Ее поэзия будто бы «самозародилась» в полном одиночестве и общении с природой. Но на самом деле это не так. У Эмили был свой круг сочувствующих друзей, которым она постоянно слала свои стихи (и получала отклик!), а главное, у ней были любимые книги. В письмах Дикинсон цитируются или упоминаются имена более ста писателей и поэтов. Некоторые были ей особенно дороги.

«Из поэтов, — пишет она критику Хиггинсону в одном из первых писем, — у меня есть Китс, а еще мистер и миссис Браунинг». О Китсе речь впереди, но и имена супругов Браунинг здесь не случайны. Если подумать, можно догадаться, что Эмили взяла у каждого из них. Из «Португальских сонетов» Элизабет Баррет Браунинг, посвященных мужу, — тон ее обращения к возлюбленному, исполненный бесконечной благодарности; Роберт Браунинг действительно спас Элизабет

от смерти, увез с собой в Италию и подарил пятнадцать счастливых творческих лет. Мне кажется, именно «Португальские сонеты» послужили камертоном любовной лирики Эмили Дикинсон: с той же благодарностью она пишет о своей первой любви Джоне Ньюмене, который когда-то пробудил и открыл ее поэтический дар:

*Тот День, когда Ты похвалил меня,  
Сказав — ты сильная — а можешь стать  
Могучей — стоит только захотеть —  
Тот День останется сиять —*

*Любимый мой — среди грядущих лет —  
И прошлых лет — среди унылых гroud  
Моих счастливых и ничтожных дней —  
Как самый драгоценный Изумруд<sup>1</sup> —*

(659)

Сравните:

*Так чем я отплатить тебе могу —  
Затворница печали? Чем любовней  
Слова мои, тем глуше и бескровней.  
Слезами, что я в сердце берегу —*

*Иль вздохами? Их на любом торгу  
Возы, и вороха — в любой часовне.  
Возлюбленный! Ты видишь, мы — не ровни,  
Как нищенка, я пред тобой в долгу.*

(Португальские сонеты, IX)

А что Дикинсон могла взять у Роберта Браунинга? Полагаю, именно то, что он внес нового в английскую поэзию девятнадцатого века: его обрывистый, с пропусками грамматических связей язык, имитирующий живую разговорную речь. Разница в том, что Браунинг применял эту «растрепанную» поэтическую дикцию для сво-

---

<sup>1</sup>Здесь и далее стихотворения в переводе автора статьи.

их длинных драматических монологов (его «фирменный» жанр), а Эмили — для коротких стихотворений философского или лирического содержания.

Что касается Джона Китса, то его портрет висел в комнате поэтессы. Одно из самых знаменитых стихотворений Дикинсон, «Я умерла за красоту», имеет, как мне кажется, отчетливо китсовский источник.

*Я умерла за Красоту —  
Но только в Гроб легла,  
Когда Сосед меня спросил —  
За что я умерла —*

*«За Красоту», — сказала я,  
Осваиваясь с Тьмой —  
«А я — за Правду, — он сказал, —  
Мы — заодно с тобой» —*

*Так под Землей, как Брат с Сестрой,  
Шептались я и он —  
Покуда Мох не тронул губ —  
И не укрыв имен —*

(449)

Для его понимания нужно иметь в виду «Оду Греческой Вазе» Джона Китса с ее знаменитой формулой: «Красота есть правда, а правда — красота». В стихотворении мы слышим голос того, который умер за Красоту (то есть поэта или художника), и другого, который умер за Правду (то есть героя), ведущих разговор за могильной чертой, разговор братьев и соратников. Так Дикинсон уравнивает ранг героя и поэта, значение их земного призвания и высокого подвига. Это, с одной стороны, прямая отсылка к тождеству Китса: «beauty is truth, truth beauty», а с другой стороны, дополнение к формуле ее любимого поэта. Переводчик, конечно, должен иметь это в голове.

Другой пример, не отмеченный критиками, но, на мой взгляд, очевидный, тоже из Китса. Это «Смерть, отопри Врата».



*Let down the bars, O **Death!**  
The tired flocks come in  
Whose bleating ceases to repeat,  
Whose wandering is done.*

*Thine is the stillest **night**,  
Thine the securest fold;  
Too near thou art for seeking thee,  
Too **tender** to be told.*

Восемь строк, описывающих как бы возвращение овец в родной загон. Их встречает нежная ночь-смерть. Эти слова в последней строфе, *tender* и *night* (ночь не просто нежная, а «несказанно нежная» — too *tender* to be told) немедленно будят в памяти хрестоматийно известное: «*Tender is the night*» — роман Скотта Фицджеральда и строку Китса из «Оды Соловью». Если перечитать эту оду, в ней сразу найдутся строки, послужившие Дикинсон камертоном к ее концовке:

*Вот здесь, впотьмах, о **смерти** я мечтал,  
С ней, безмятежной, я хотел уснуть,  
И звал, и **нежные** слова шептал,  
**Ночным** ознобом наполняя грудь.*

Естественно возникает идея: чтобы сохранить эту связь по-русски, ввести в перевод, помимо слов «ночь», «смерть» и «нежный», еще и четвертое слово «озноб», присутствующее в русской версии «Оды к Соловью»: «Твоя Овчарня — ночь, / Озноб и тишина...» Тогда в целом стихотворение будет читаться так:

*Смерть, отвори Врата —  
Впусти своих овец!  
Скитаньям положи предел,  
Усталости — конец.*

*Твоя Овчарня — Ночь,  
Озноб и Тишина —  
Невыносимо Ты близка —  
Немыслимо нежна.*

(1065)

Особая тема: Дикинсон и Шекспир<sup>1</sup>. Когда-то Борис Пастернак, читая Китса и Суинберна, он ощутил в них какое-то неясное ему *общее основание*. Вот как сам пишет об этом во внутренней рецензии 1943 года (называя себя для важности во множественном числе): «Мера нашего восхищения не покрывалась их собственной притягательностью. За их действием нам мерещился тот же тайный и повторяющийся придаток. Долго мы относили это явление к обаянию самой английской речи и преимуществам, которые она открывает для английской лирической формы. Мы ошибались. Таинственный придаток, сообщающий дополнительное очарование каждой английской строчке, есть незримое присутствие Шекспира и его влияния в целом множестве наиболее действенных и типических английских приемов и оборотов».

По моим наблюдениям, ни у одного англоязычного поэта это не проявляется так выпукло, как у Эмили Дикинсон. Учеба у Шекспира была решающим фактором ее поэтического роста. Подтверждение этому мы находим в многочисленных цитатах из ее писем, начиная со знаменитого восклицания: «Зачем нужны другие книги, когда есть Шекспир?» и кончая многозначительной фразой: «*Тот обрел свое будущее, кто нашел Шекспира*» (письмо Франклину Санборну 1873 года). В стихах Дикинсон постоянно присутствуют шекспировская афористичность, парадоксальность, театральность. Ее артистизм и природный темперамент требуют выхода, и она разыгрывает перед нами почти комедийные сценки, в которой играет роль, например, Виолы:

*Одну улыбку вашу, сэр,  
Хотела б я купить —  
Пусть маленькую — ту, что вскользь —  
Любую — так и быть —*

*Вот я к прилавку подошла —  
В руках перчатки мну —  
Мне бы улыбку — добрый сэр —  
Продайте мне одну —*

---

<sup>1</sup>Эта статья была написана летом 2018 г. как доклад на Международном Конгрессе переводчиков и обнародована до того, как в номере 4 (2018) «Новой Юности» было опубликовано эссе Татьяны Стамовой «Дикинсон и Шекспир». В наших работах оказались некоторые совпадения, хотя их немного. Надеюсь, что предлагаемая статья дополняет и расширяет аргументацию Т. Стамовой.

*Есть в перстне у меня Алмаз —  
Бесценный навсегда —  
Рубин кровавый — и Топаз —  
Горящий, как звезда —*

*Сверхвыгодная сделка, сэръ!  
Скажите только — Да!*

(223)

А здесь можно услышать голос Катарины из «Укрощения строптивой» или Беатриче из «Много шума»:

*Столь низко пал в моих Глазах —  
Я видела — как он —  
Вдруг раскололся на Куски —  
Издав печальный Звон —*

*Но не Судьбу бранила я —  
А лишь себя одну —  
Что вознесла — такой предмет —  
В такую Вышину!*

(747)

Или вот это: «Я — никто. И ты — никто? / Значит — двое нас. / Тише — чтобы не нашли — / Спрячемся от глаз! / Что за скука — кем-то быть! / Что за пошлый труд — / Громким кваканьем смешить / Лягушачий Пруд! (288)».

Но в нежности и страстности ее любовной лирики тех же лет отзываются трагические героини Шекспира Джульетта и Корделия. В более поздних стихах она сдерживает жестикуляцию стиха. Балаганно-му театру мира она противопоставляет *сокровенный театр* сердца.

*Драмы высшее Мерило —  
Ежедневный Быт —  
Средь обыденных Трагедий —  
Тех, что День сулит —*

*Сгинуть — как Актер на Сцене —  
Доблестней всего —  
Если пустота — в Партере —  
В Ложках — никого —*

*Гамлет бы и без Шекспира  
Доиграл Сюжет —  
О Ромео и Джульетте —  
Мемуаров нет —*

*Человеческое Сердце —  
И его Стезя —  
Вот единственный Театр —  
Что закрыть нельзя —*

(741)

Говоря и влиянии Шекспира, мы говорим не о каких-то конкретных параллелях, которые могут быть и случайными, а о сходстве самих «орудийных средств» (термин Мандельштама), то есть поэтических приемов, которыми Эмили Дикинсон воздействует на читателя. Это, прежде всего, сквозная метафоричность, персонификация, олицетворение и антитеза. Макбет говорит: «**В моем мозгу гнездятся скорпионы!**» (метафора); «...В такую ночь, когда лишь **Колдовство** / Приносит жертвы мертвенной Гекате / И древнее **Убийство**, пробудясь / От воя волчьего, крадется тихо...» (персонификация); и дальше, в том же монологе: «**О Земля**, / Надежно укрепленная твёрдыня! / **Смягчи мои шаги**, чтоб в тишине / Их звук предательский меня не выдал...» (олицетворение).

Наконец, *антитеза*, то есть противопоставление, — часто дающееся у Шекспира в одной строке. У Дикинсон это тоже любимый прием, пружина сюжета. Посмотрим, например, на только что процитированное стихотворение: Драма — Быт, Сцена — Партер, Гамлет — без Шекспира, Сердце — Театр, и т.п.

Что касается *персонификации* и *олицетворения*, то они играют совершенно выдающуюся роль в стихах Дикинсон. В сущности, ее знаменитые заглавные буквы объясняются тем, что любой предмет у нее — Ветер, Снег, Солнце, Кораблик — уже олицетворен или готов

к этому, а всякая абстрактность — Смерь, Время, Бессмертие — персонифицирована и просится в список действующих лиц.

К любимым приемам Дикинсон можно отнести и *гиперболу*. Например, в том стихотворении, где душа поэтессы избирает своего собеседника и запирает дверь перед всеми остальными, ей сразу представляются Императоры (во множественном числе), униженно умоляющие их впустить:

*Пусть Колесницы — перед Окнами —  
Томят Коней —  
Пусть на колени — Императоры —  
Встают пред ней!*

(303)

Разве это преувеличение не того же типа, что похвальба Гамлета над гробом Офелии: «Я любил ее, как двадцать тысяч братьев»?

Эти риторические приемы, и еще — сжатость фразы, соседство абстрактного с конкретным, бытовым, нетривиальная лексика — общее у Эмили Дикинсон с Шекспиром, хотя, казалось бы, цели у них совсем разные.

Тут стоит напомнить, что стиль Шекспира во многом обусловлен театральной практикой его времени. Тогда зрители ходили «слушать пьесу», а не «смотреть». Сила, звучность и экспрессивность речь определяли действие и впечатление публики. А публика была смешанная, но не такая уж неподготовленная, как нам кажется. Англичане того времени регулярно слушали проповеди, читали торжественные прокламации властей. Риторика, то есть искусство говорить убедительно, изучали в начальной школе. Умение читать и писать стихи было частью образования джентльмена, но оно распространялось и на более низкие слои общества. Язык еще не застыл окончательно, поэты и драматурги постоянно экспериментировали с ним.

Публике Шекспира нравилось, что сценическая речь, доставляя физическое удовольствие своей звучностью и складностью, в то же время не «текла сама в рот», а требовала встречного усилия для понимания. Такова и речь Эмили Дикинсон. Она рассчитывает на интеллектуальное удовольствие читателя — удовольствие от понимания. Она делает драматические остановки внутри строки, готовит новую фразу — и, наконец,

поражает внезапным поворотом, неожиданным образом или словом. Она разыгрывает свое стихотворение как минипьесу. Вот пример.

*Два раза я теряла все —  
Вот так же, как теперь,  
Два раза — нищей и босой —  
Стучала в Божью дверь.*

*И дважды — с Неба — мой урон  
Был возмещен сполна.  
Грабитель мой! — Банкир — Отец! —  
Я вновь разорена.*

(49)

Ясно, что восклицание «Отец!» должно произноситься совсем с другой интонацией, чем «Грабитель» и «Банкир». Тут автор одновременно и режиссер, и актер.

Мне кажется, что можно говорить и о влиянии на Дикинсон некоторых поэтов XVII века, принадлежащих метафизической школе Джона Донна. Самого Донна, она, по-видимому, не читала; это неудивительно — в девятнадцатом веке его настолько забыли, что он совершенно выпал из популярных антологий поэзии. Но в них оставались его подражатели и последователи, от Герберта до Уоллера. Такие признаки метафизической школы, как характерная тематика (смерть, Бог и т.п.), обилие абстрактной лексики, причудливые сравнения, взятые из науки и философии, нетрудно обнаружить и в поэзии Дикинсон.

Достаточно сказать, что в ее стихах критики насчитали более 200 (двухсот!) научных терминов из самых разнообразных областей знания: философии, юриспруденции, биологии, геометрии, астрономии, математики и так далее. Например:

*Любовь — древнее Жизни —  
И старше Смерти — В ней  
Первопричина Мира  
И Экспонента Дней —*

(917)

Поэты часто врут, когда касаются естественных наук, но Эмили Дикинсон здесь совершенно точна. Напомним, что такое экспонента. Это функция вида  $e^{ax}$ ; что можно иначе записать как  $2^{a \cdot \log_2 x}$ , то есть это — функция, растущая в *геометрической прогрессии* и удваивающаяся через каждые  $n$  дней, где:  $n = 1/a \cdot \log 2$ . Но ведь жизнь и есть самовоспроизводящаяся форма материи, умножение (размножение) которой определяется геометрической прогрессией, а любовь — инструмент этого процесса. Так что Эмили смотрит в самую суть. Хотя к ней тоже можно отнести упреки Джона Драйдена (который ввел сам этот термин «метафизическая поэзия»): поэт «засоряет головки дам сложными философскими умозрениями, когда ему следует обратиться к их сердцам, чтобы увлечь их нежностями любви» (статья 1692 г.).

Как мы уже заметили, Дикинсон не была знакома с поэзией Джона Донна, но она вспоминает в письме прощальные стихи Эдмунда Уоллера (1606—1687): «Лачуга Души, обветшав, сквозь щели, проделанные временем, пропускает иной, новый свет». Образ совершенно дикинсонский.

В другой раз она цитирует знаменитое стихотворение позднего метафизика Генри Воэна (1622—1695) «Они ушли туда, где вечный свет», в котором поэт мучительно вглядывается, в Небеса, чтобы увидеть там своих ушедших друзей:

*О, сделай так, чтоб даль была видна,  
Сними туман с очей раба —  
Иль вознеси туда, где не нужна  
Подзорная труба.<sup>1</sup>*

Сравните с этими строками Дикинсон:

*Время кончится — узнаю  
В Небесах — за Партой классной —  
Почему страдают Люди —  
Ежедневно — ежечасно...*

(193)

---

<sup>1</sup>Перевод А. Сергеева.

Или с таким скептическим четверостишием:

*Понятье «Вера» — в ясный День —  
Чудесная Находка —  
Но тем нужнее Микроскоп,  
Чем пасмурней Погодка!*

(185)

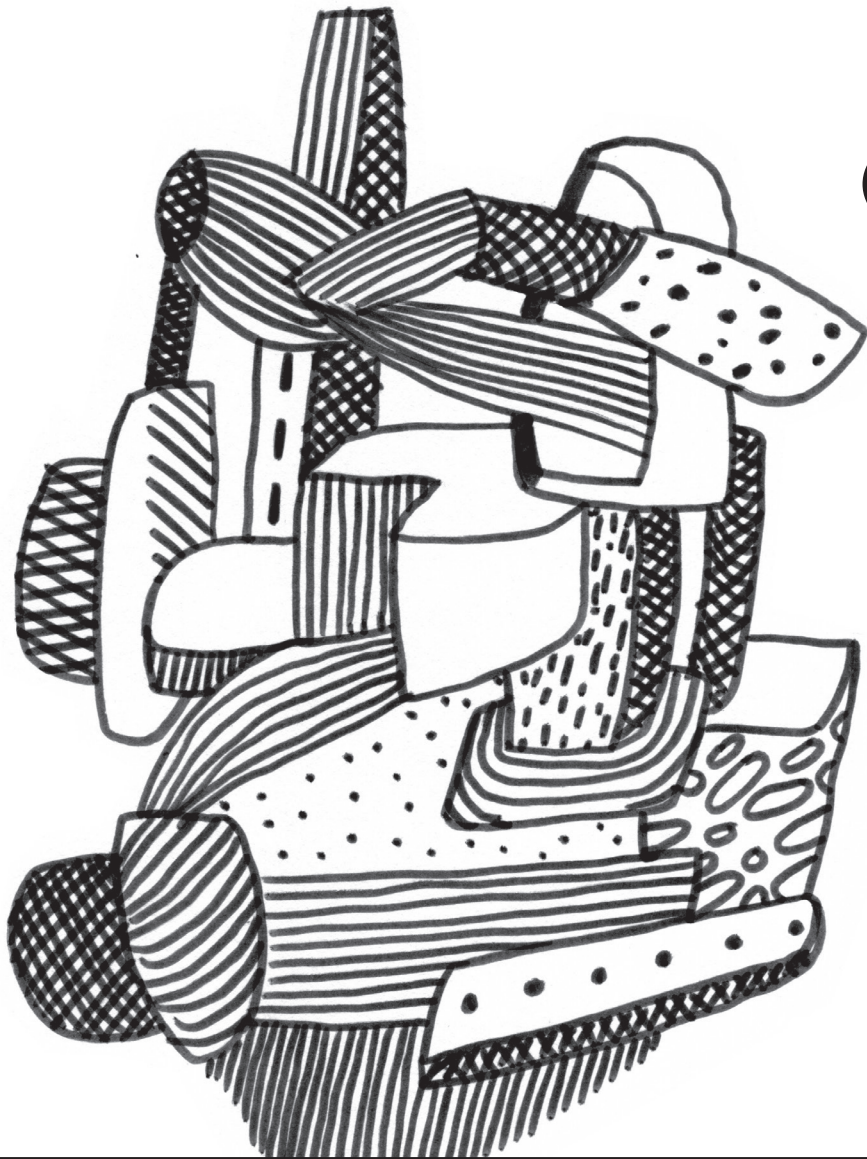
Мы вновь убеждаемся, что поэт, в каком бы захолустье времени и пространства он ни жил, никогда не одинок. Он вступает в диалог с другими поэтами — нередко через головы своих современников обращаясь к далеким предшественникам, с которыми ощущает родство. Как заболевший кот, он инстинктивно находит среди многих трав именно ту целебную травку, которая ему нужна. Так Эмили Дикинсон нашла Шекспира и поэтов-метафизиков, которые укрепили ее и помогли построить свою, совершенно оригинальную, поэтическую систему.







**Современная поэзия  
в русских переводах**



**Элейн Файнштейн.** Любить Дон Кихота. *Перевод с английского Глеба Шульпякова*

**Михаэль Крюгер.** Прибытие свидетеля. *Перевел с немецкого Ал Пантелят*

**Рахель Халфи, Меир Визельтир, Хагит Гроссман.** Последняя строка. *Из современной поэзии Израиля. Перевод с иврита Александра Бараша*

Элейн Файнштейн

## ЛЮБИТЬ ДОН КИХОТА

*Элейн Файнштейн — английский поэт, прозаик, драматург, биограф. Автор нескольких десятков поэтических сборников и романов, а также биографий Теда Хьюза, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой (ее биография была переведена на русский). Живет в Лондоне.*

### ЛЮБИТЬ ДОН КИХОТА

Я все еще люблю тебя,  
добрый Рыцарь Печального Образа.  
Я и любила-то по-настоящему только таких  
как ты — беззащитных мужчин.  
Не столько неудачников, сколько  
мечтателей. Одержимых идеей не быть как все  
и готовых следовать за мечтой даже в лохмотьях —  
как мой отец, в двенадцать лет бросивший школу,  
гордый и тем, что носит президентский цилиндр.  
Такие люди всегда благороднее, чем мир,  
который их окружает.  
За это мы прощаем им опрометчивые поступки,  
ведь они, как дети, не рассуждая,  
стремятся к добру — просто чтобы  
придать смысл собственному  
существованию

## ТЕЛЕФОН, НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА

Телефонная будка —  
единственный источник света  
на всей террасе:  
одинокая лампочка  
над сырими кустами, и ветер.  
Длинные упрямые гудки  
в моем ухе уносят  
за преграду, где мы  
потеряны друг для друга  
как непарная обувь,  
разбросанная в беспорядке.  
Хотя я не уверена,  
что ты заметил  
пропажу.  
Где ты, где в лунном доме  
избавляются от пыли  
под эти сухие потрескивания?

## БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ

Вот пейзаж Кембрийской эры: сланец, голубой кварц,  
срезы с прожилками железа и свинца; пемза, кальцит;  
в заводях плавают рыба песочного цвета, прозрачные  
как вода креветки; и бархатный краб, который  
похож на причудливое растение.

Этот берег родился задолго до человека. С приливом,  
когда возвращается море, водоросли колышутся,  
как ожившие цветы; стелятся под водой, бесчувственные  
морепродукты, выхваченные взглядом и тут же забытые.

Двое моих сыновей карабкаются на скалу порфирного кварца.  
Их тонкие согнутые спины нагружены тросами и крюками.  
Белые пятки, губы обметаны солью, кожа потемнела от ветра и солнца.

Они озираются с любопытством и жалостью, ведь дальше все произойдет по воле Времени и Случая, которые ждут своего часа.

## МЕДИУМ

В ответ я бы назвала музыку, но она тем более сомнительна, ведь в моей тишине, о который ты спрашиваешь, пейзаж

состоит из воды, старых деревьев и пары пугливых птиц. С погодой тоже не ясно. То все залито золотым светом, и листья не по сезону.

А то красный лед, и луна висит, как очищенный китайский фрукт. Прости, не могу сказать точнее.

Я пытаюсь, но слова выходят отвратительными, как крысы, и все рушится, и нет покоя. А я хочу быть любящей и спокойной,

если, конечно, ты этого тоже хочешь. Мои самые острые мысли притаились, как убийцы в стоге сена. Они болтают и ухмыляются. Может, найдешь их?

## ФЕДОР: ТРИ ОТРЫВКА

1

В Гамбурге я встретил его, за игорным столом. Черты лица домашние, скверные зубы, одежда заношенная — я хоть и врач из Швейцарии, а романы читаю.

Когда он проиграл все, что было в его ветхом кошельке, он поднял на меня взгляд и улыбнулся:  
«Я, — сказал он, — человек без будущего».

Меня вызвали к нему вчера вечером, когда случился приступ эпилепсии, и он потом сказал, какой прилив блаженства ощущает больной за

несколько секунд до пены и судорог.

Лицо его светилось, когда он объяснял мне.

«Только Христос,— говорил он, — может спасти Россию».

2

Эта церковь в Базеле словно плыла в лунном свете, а вокруг белели деревья, и никаких казино.

Я встретил его снова, он был с молодой женой, они

пришли смотреть «Мертвого Христа» Гольбейна — тело, покрытое зеленоватыми трупными пятнами, опухшие суставы, похожие на перезрелые бородавки.

Он обернулся на мое приветствие, и хотя по лицу было видно, что он не узнал меня, он сказал в ответ:

«Эта картина способна уничтожить веру».

3

Что за грехи, не считая азарта или болезни, или того, что он проиграл кольцо молодой жены, тяготили его? Иногда мне кажется, что его гений

(чуждый этому чистому, вымощенному городу, висящему над ущельем, где катит волны темный Рейн) — в самой сердцевине своей печали таил

семена жестокости и сладострастия, которые придавали столь неповторимый блеск его стилю. Думаю, врач способен принести людям больше пользы.

**ИЗ «НОВЫХ ПЕСЕН ДИДОНЫ И ЭНЕЯ»**

День обещает быть нежным  
и молочно-голубым. Женщина  
смотрит из окна на промытый дождем сад.  
Она думает о деревянной флейте и  
зарослях специй, а солнце  
играет бликами на ее браслете.  
Она больше ничего не ждет от жизни.

Ее спокойное лицо обращено  
к свидетельству порядка, старшего,  
чем сама Эллада, под чьей защитой  
и этот сад, и эти деревья, и все  
ее воспоминания, которые едва заметно  
колышутся — как тени на стене, когда  
в дворцовые ворота стучит незнакомец.

*Перевод с английского  
Глеба ШУЛЬПЯКОВА*

Михаэль Крюгер

## П Р И Б Ъ И Т И Е    С В И Д Е Т Е Л Я

Михаэль Крюгер (1943) — немецкий прозаик, поэт, издатель и переводчик. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии имени Эрнста Майстера за лирику (1994), французской премии «Медичи» за иностранные романы (1996), Большой литературной премии Баварской академии изящных искусств (2004), премий имени Эдуарда Мёрике (2006) и Йозефа Брайтбаха (2010).

Автор романов «Человек в башне» (1991), «Виолончелистка» (2000) и др., сборника рассказов «Из жизни успешного писателя» (1998), лирических сборников «Кто поймает лунный свет» (2001), «Под чистым небом» (2007), «Шаги, тени, дни, границы» (2008) и др.

### СЮИТА ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ

Высунувшись из окна, я смотрю  
на прибывающий поезд,  
заржавелое насекомое  
с выпученными глазами.  
Как легко он волочит друг за другом  
свои гробы по залитой солнцем долине!  
Двадцать один, двадцать два...  
Есть в них кто-то или они пусты?  
Шипя, он выпускает пар,  
плавно движущийся ко мне  
каким-то неясным посланием.  
Я делаю радио громче,  
сюита для виолончели, на фоне которой  
можно отчетливо услышать  
прерывистое дыхание музыканта.

## БАБЬЕ ЛЕТО

Перед тем как мы запрем дом,  
вино должно исчезнуть в раковине,  
а свет покинуть комнаты.  
Отныне любое слово должно быть одобрено.  
Не забудь забрать с собой пакет с мусором.  
Любезные зеркала на входе  
делают реверансы с печальными лицами.  
Оставь ключ в замке.

У берега нас ждет ковчег,  
по его носу, высунув язык  
и щелкая зубами,  
гоняется за мухами собака.  
И вот уже ласточки начинают скашивать  
траву. И не забудь  
взять с собой любовь.

Отчаливая,  
мы видим, как холмы пылают.

## ПУТЕШЕСТВИЕ В ИЕРУСАЛИМ

Я видел каменный кулак Греции  
в Средиземном море и корабль,  
стягивающий синеву воды  
в извилистые ленты. А ближе к Востоку  
были турецкие стихи, непроизносимые,  
ритмично покачивающиеся на волнах.  
Я видел, как соль отделялась  
от воды на страждущих берегах.  
Бескрайние угрюмые камни  
сосуществовали с эпическими историями:  
рассказы о чертополохе и хлебе,  
испеченном солнцем.



Там, все ниже, речь сходила на берег,  
и у всего вокруг появлялось имя.  
Я видел это наяву —  
слова подрагивали, будто стая птиц,  
парящая над пустынной землей.  
Нужно было крепко пристегнуться,  
затаив дыхание,  
мы сходили на землю обетованную.

### **ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ**

Когда-нибудь снег  
растворится во влаге  
и превратится в горный ручей,  
освещающий темные реки  
на их неустанном пути  
к морю. Когда-нибудь  
облака вздымутся  
и откроют сцену  
молящему взгляду.  
Когда-нибудь мы снова  
сядем под открытым небом  
за свежеекрашенными столами  
и достанем книги  
из зимней спячки.  
Так что приходи скорее,  
ведь все выглядит так,  
будто снег еще пойдет.

### **АМСТЕРДАМ**

*Харри Мулишу*

Город широко раскрывает окна,  
чтоб не пропустить ни единого звука.  
Песня проносится мимо на велосипеде

и дарит каждому дому отдельную ноту.  
Мой друг живет рядом с каналом.  
Лестница его уютно построенного дома  
была сконструирована одним заклинателем змей,  
получившим образование в колониях:  
если подниматься аккуратно,  
можно услышать миңдалеобразные вздохи.  
Иногда мимо гостиной проплывает старый корабль,  
капитан которого нагромождает стопки документов  
на подоконник: средневековые трактаты  
о просвещении и магии, ровно как и  
совершенно обыденные истории из жизни.  
Когда мой друг выглядывает из окна  
город удваивает себя.  
В сумерках классики покидают полки  
и начинают свою работу, какая-нибудь  
собака подает им вино и сыр.  
И по ночам ангел тщательно подметает  
дорогу между водой и входной дверью,  
будто пытаясь очистить одну из  
четырех рек Эдема.

*Перевел с немецкого Ал ПАНТЕЛЯТ*

## ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА

*Из современной поэзии  
Израиля*

*Рахель Халфи (1939) — поэт. Родилась в Тель-Авиве, где и живет поныне. Лауреат Премии Бялика 2006 года.*

*Меир Визельтир (1941) — поэт, литературный деятель, переводчик. Родился в Москве. Отец во время войны погиб в Ленинграде. Семья репатрировалась в Израиль в 1949 году, после двух лет, проведенных в Польше, Германии и Франции. Первые публикации появились в 18 лет. Учился в Еврейском Университете в Иерусалиме. В 60-х годах — лидер группы «тель-авивских поэтов». Автор 13 книг, стихотворения переведены на 20 языков, лауреат Премии Израиля (2000).*

*Хагит Гроссман — поэт, прозаик. Родилась в 1976 году в Ришон-Ле-Ционе. Автор трех книг стихотворений. Преподает в Тель-Авивском Университете.*

*Рахель Халфи*

### ЧТО ЗНАЧИТ

Что значит быть в депрессии в 20 лет  
по сравнению с тем когда принимаешь душ в 90  
Что значит лечь в постель с женщиной в 21 год  
по сравнению с тем когда встаешь с постели без женщины в 81  
Что значит читать стихи в 16  
по сравнению с тем когда завязываешь шнурки в 89  
Что значит писать стихи в 39  
по сравнению с тем когда раздеваешься в 93  
Что значит напиться в 30

по сравнению с тем когда пьешь воду из стакана и не проливаешь в 90  
Что значит делать докторат по лингвистике в 29  
по сравнению с тем когда получаешь бумагу от идиота-чиновника в 74  
Что значит подняться на Гималаи в 26  
по сравнению с тем когда садишься в автобус в 86  
Что значит управлять ходом заседания в 55  
по сравнению с тем когда контролируешь процесс дефекации в 83  
Что значит слушать музыку высших сфер в 32  
по сравнению с тем когда слышишь стук в дверь в 82  
Что значит левитировать в медитации в 37  
по сравнению с тем когда стоишь в ванне в 97  
Что значит писать это в положении сидя в 40  
по сравнению с тем когда читаешь это в положении лежа в 90  
а потом попытаться  
встать

#### **ТЕЛЬ-АВИВ, БЕРЕГ МОРЯ, ЗИМА 1974<sup>1</sup>**

Облако-крокодил проглотило облако-облако.  
Все вязко  
А куда ушла война?  
Бетонная стена причала покрашена красным и желтым  
на ней написано «TELAVIV».  
Барабаны бездны равнодушно молчат.  
На небе непонятные формы  
медленно сходят с ума. Бесконечная арена борьбы  
в ритме замедленной съемки.  
Подъемный кран торчит над отелем Супер-  
Хилтон. А куда ушла война?  
Облако-крокодил проглотило облако-облако. Куда  
ушла война? Наверху в глубине  
нежные тучки и самолеты занимаются любовью.  
Воздух наполняет легкие  
острой солью и смехом.  
Солнце это — выцветшая фотография.  
Прибрежные серые птицы клюют песок.

---

<sup>1</sup>За несколько месяцев до этого, в октябре 1973 года, была Война Судного дня.

Море, его мускулы стонут.  
Одинокая женщина в нейлоновой косынке  
на голове. Кто она по сравнению  
с грозой и громом, и молнией.  
Детский трамплин тоже оранжевого цвета.  
Старая женщина, ее губы пытаются:  
он был ангелом  
он был ангелом

### ЧАЙКА

Что вопит чайка  
над крышами города?  
Что ей здесь нужно, далеко от реки и моря?  
На что нацелился  
ее клюв?

Ладно, смотри, ты не обязана  
продолжать это стихотворение,  
не должна пригвоздить эксцентричную  
одинокую чайку, летящую все ниже  
внутри картины в твоём мягком мозгу,  
который всегда просится  
говорить, петь, визжать,  
как некая странная  
одинокая чайка

*М е ш р    В и з е л ь т и р*

•

По большей части я тоже  
стоял против мира  
с поднятыми руками.  
Я хотел пить, хотел есть.  
Было холодно или жарко,

я продолжал стоять.  
Мои глаза затагнуло в себя дуло пистолета,  
комичная вещь, такая по-своему милая,  
но фатальная и направлена на меня, в частности.  
Иногда весь мир  
кажется мне смехотворным карликом:  
криворылый, с поехавшими мозгами.  
Но у него есть оружие и нет жалости.  
И в любом случае он не принимает в расчет  
меня и таких, как я, и довольно непредсказуем.  
Время от времени, плюя на серьезность ситуации,  
я вытаскиваю пачку сигарет и закуриваю  
одной рукой —  
он раздражается, смотрит на меня в упор  
своими косыми глазами, сжимает губы,  
но не стреляет,  
пока.

### **ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА**

Не будь таким чувствительным к своей частной смерти.  
Попробуй пренебречь ею, хотя бы в воображении.  
Жизнь наполнена водой так же, как смерть землей.  
Утонуть в воде жизни — это страшнее, чем просто конец.

Волшебство войны для тех, кто впал в отчаяние,  
в том, что соблазняет их пренебречь собственной смертью.  
Но тот, кто пытается освободиться от наваждения частной смерти,  
не втягивая в это других...

### **ПЕСНЯ ОБ ИЕРУСАЛИМЕ**

Если не будет Иерусалима, что делать  
с песней об Иерусалиме?  
Если не будет Иерусалима, эту песню  
будут петь до поры до времени в другом месте.

Если не будет Тель-Авива, что делать  
с песней о Тель-Авиве?  
Если не будет Тель-Авива, ее будут петь в Хайфе.

А потом Тель-Авив вернется и будет, как был,  
а Иерусалим расцветет из камня.  
И даже Хайфа будет потягиваться на Кармеле,  
как арабский каменотес.  
И большое солнце поцелует их всех, будто это  
дети, которые совершали ошибки,  
но вернулись на правильный путь.  
И будет жарко и тихо в наших местах.

*Х а з и т    Г р о с с м а н*

## **ЭВОЛЮЦИЯ**

Когда-то я была  
палеолитическим художником,  
чувственным охотником,  
грабящим землю, живущим впроголодь.  
Я рисовала на стене  
в дальнем конце пещеры  
и жила ежедневными заботами.  
Я была верна природе и передавала красоту  
прямо и без примесей,  
зарисовки движения были как  
моментальные снимки.  
Я видела тончайшие оттенки цвета  
и не знала, что такое тени.  
Я не верила в богов или в будущий мир,  
я жила в эпоху действия.  
Потом я разделилась надвое  
и разделила мир на  
реальность и то, что за реальностью,  
на видимый и скрытый мир,  
на тело, которое смертно, и душу.

## ДЕФЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ

Я чувствую изъяны в эволюции  
у меня не выросла гитара там где должна была быть  
родители эмигрировали в неправильную страну  
Париж слишком далеко

Я чувствую изъяны в эволюции  
пальцы слишком ленивы чтобы нащупать благую весть  
романтика покончила с собой бросившись в реку  
а зеленая вода потребовала с нее за это  
плату после смерти

Я чувствую изъяны в эволюции поэтических книг  
кто-то тянет слова за волосы через дикие травы  
бросает их в реку вода несет косноязычные и слепые стихи  
мимо трупов рок-н-рола интеллектуалов поэтов и всех остальных  
кому предложили сделать проституцию своей профессией  
привести себя в соответствие с атмосферой

Я чувствую изъяны в эволюции на границе между  
компьютером и пишущей машинкой  
мое либидо никогда не просыпалось от вида экрана  
а бумага пробуждает его

Я чувствую изъяны в эволюции  
когда-то я читала стихи на сцене вместе с оркестром  
когда-то мне удалось улететь вместе с музыкой  
потом — я не могла сказать ни слова не о любви  
потом я поняла что дотронулась до самой прекрасной вещи  
которую мне дано узнать и с тех пор  
я чувствую изъяны в эволюции

*Перевод с иврита Александра БАРАША*





**Александр Васькин.** Инженер Шухов. Страницы биографии. *Глава из книги*

Александр Васькин

ИНЖЕНЕР ШУХОВ.  
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ<sup>1</sup>

Как-то в последних числах мая 1882 года Владимир Шухов и Александр Бари обсуждали в конторе очередной проект, которым следовало заняться. В конце разговора Бари сказал: «А знаете, Владимир Григорьевич, Перов-то вчера умер, от чахотки». Художника Василия Перова Шухов не раз встречал, когда тот направлялся в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где был профессором. Картины его на бытовые и житейские темы были весьма популярны, Шухов среди них выделял «Охотники на привале». Он мог подписаться под словами Достоевского о ней: «Один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! <...> Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства». И вот теперь Перова не стало, как жаль, он не дожил до пятидесяти лет...

Шухов подумал: а ведь четыре года назад врачи и у него нашли все признаки чахотки — легочного туберкулеза. Чахотка, собственно говоря, и заставила его уехать в Баку. Эта болезнь слыла бичом времени, уравнивала бедных и богатых. От чахотки умер критик Виссарион Белинский, принц Наполеон II Бонапарт, герцогиня Евгения Лейхтенбергская и множество самых разных людей. Не брось все тогда Шухов, и его бы свела в могилу эта болезнь. В 1880-е годы от чахотки в России умирал каждый десятый горожанин, а в Петербурге смертность от этой болезни в три раза превышала смертность от холеры и в пять раз от тифа. Мужчины, по сравнению с противоположным полом, умирали чаще, причиной сего назывались «социальные условия», вынуждающие мужчину «вести более тревожное и более тяжелое существование, нежели какое ведет женщина».

---

<sup>1</sup>Фрагмент из книги А.Васькина «Владимир Шухов».

Колоссальная исследовательская работа, казалось, не только не изматывала Шухова, а придавала ему свежие силы, вдохновляла на все новые и новые изобретения (странно, что Шухов еще не успел приступить к проектированию самолета). Самоорганизация, умение сосредотачиваться на крупных задачах, не упуская мелких деталей, безошибочная концентрация на главном, безупречные способности в области управления техникой и персоналом — все это относится к приобретенным качествам Шухова, которые он воспитал в себе в процессе становления инженерного таланта. А вот то, что дал ему Бог, — это отменное здоровье. Восстановить его и победить чахотку Шухову помогли спорт и закалывание. Он обливался холодной водой дважды в день, утром и перед сном, регулярно делал спортивную гимнастику. Сердце его было готово биться сто лет — так сказали врачи уже после его нелепой смерти. Кроме того, Владимир Григорьевич был патологически брезглив — носил перчатки, постоянно протирал руки одеколоном, спиртом, по этой причине, надо полагать, микробы обходили его стороной (в итоге, правда, тот самый одеколон и прервал вековую перспективу жизни). Символично, что даже деньги, золотые монеты он брал в перчатках, что со стороны могло показаться пренебрежением к ним.

Изобретателям вообще свойственна брезгливость. Например, Никола Тесла, современник Шухова, постоянно мыл руки, всегда носил перчатки, дабы не здороваться обнаженной рукой с кем бы то ни было. А чтобы прикоснуться к нему, следовало получить от него особое разрешение. Его заклятыми врагами были мухи и переносимые ими микробы. Он мог в день выбросить в корзину для грязного белья десятки полотенец, к которым лишь прикоснулся. Поскольку он часто жил в отелях, то там о его привычках были хорошо осведомлены. В ресторанах его столовые приборы лежали под специальным стеклянным колпаком, их стерилизовали, серебряные ложки, вилки и ножи кипятили. Причиной брезгливости Теслы называют перенесенную им в молодости холеру.

А еще Тесла с отвращением относился ко всему круглому, будь то жемчуг в ожерелье сидящей рядом женщины или бильярдный шар. Кроме того, ученый обладал потрясающей работоспособностью, уделяя сну не более четырех часов в сутки. Он мог днями напролет не вылезать из своей лаборатории, как это и случилось однажды, когда он не спал почти девяносто часов подряд! Ну, а как же семья, спросит обыватель? В том-то и дело, что ни семьи, ни дома в привычном нам понимании у Теслы не было. Женщины только мешали ему изобретать,

по его собственному признанию, его невинность помогла ему достичь небывалых высот в науке. Конечно, Шухов не во всем походил на Теслу, но, согласитесь, что-то общее в этих выдающихся людях есть...

Психологи подчеркивают, что брезгливость имеет, по крайней мере, две разновидности — зрительную, когда грязное пятно вызывает отвращение, и кожную, когда неприязнь порождена прикосновением к чему-либо, подозреваемому в нечистоплотности. У Шухова был второй вариант. Этот тип людей, как правило, интересуется своим самочувствием, строго следит за своим здоровьем. На подсознательном уровне здоровье расценивается таким человеком как главное богатство, которым он наделен свыше и должен рационально распоряжаться, чтобы прожить как можно дольше, принося пользу людям, обществу, стране или, на худой конец, самому себе. Такие люди очень легко управляют собой, заставляя себя делать то, что другим не под силу — садиться на диету, плавать в проруби, есть только полезные продукты, короче говоря, строго соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни.

Сердечная драма от безответной любви, душевное потрясение от творческой неудачи, сильное разочарование в людях ли, в жизни ли, в работе, потеря денег, времени и т.д. — все это вызывает у кого-то сердечный приступ, а у такого человека стресс, своеобразной лакмусовой бумажкой которого становится кожный покров. Возникает ощущение, что угроза исходит от микробов и болезнетворных бактерий, ибо они и есть главная опасность для здорового организма, запрограммированного его обладателем на долгие годы работы. Следовательно, надо помыть руки, а если мыть нечем, то протереть их спиртом для дезинфекции. Постепенно это превращается в привычку, которая, как известно, вторая натура.

Можно предположить, что чахотка, которой заболел молодой Шухов в 1878 году, и была следствием эмоционального потрясения, которое он пережил тогда. Ему показалось, что он выбрал не ту стезю жизни, зря потратил время в училище (когда ему пришлось работать в чертежном бюро), потому и бросился вновь учиться, но уже на врача. Перенесенный стресс, сама реакция была уже следствием строгого воспитания. Возможно, что Шухов ждал, прежде всего, порицания со стороны властной матери, олицетворявшей собою общее мнение всей семьи. Комплекс неудачника, который преследовал его в молодости, когда это временное состояние воспринимается особенно остро, и заставил его в дальнейшем работать

шестьдесят лет на одном месте, так думается. Как и любой человек, стрессы Шухов испытывал и позже, но будучи сдержанным, он проявлял их по-особому, что выражалось в защитной привычке протирать руки спиртом.

Одаренный человек талантлив во всем. Совершая открытия в не пересекающихся на первый взгляд областях науки и техники, Шухов увлекался и самыми разными видами спорта — метал бумеранг, играл в городки, стрелял из лука, зимою катался на коньках и лыжах. Но больше всего он полюбил велосипедную езду. В те годы она только-только получала распространение в Москве, к середине 1880-х годов число велосипедистов исчислялось сотнями — немного, а значит, Шухов был в числе первопроходцев. Это сегодня в столице активно осуществляется идея развития велосипедного транспорта, а первым московским градоначальником, официально разрешившим езду на велосипеде в городе, был Владимир Андреевич Долгоруков. В 1888 году он позволил членам Московского общества велосипедистов-любителей и другим лицам колесить на велосипедах по бульварам с темного времени суток до 8 часов утра, а за городом — в течение всех двадцати четырех часов.

Постепенно интерес к велосипеду как новому виду транспорта стал распространяться. Это двухколесное (а иногда и трехколесное) изобретение привлекло к себе людей самых разных возрастов. В ту пору выглядели велосипеды совсем по-другому, переднее колесо — огромное, чуть ли не два метра диаметром, заднее — совсем маленькое. Называлась такая модель «Пенни-фартинг», что соответствовало разновеликим британским монетам пенни и фартингу — большой и маленькой. А в России прижилось другое название велосипеда — паук. Обывателям паук внушал (как и положено названию) недоверие и страх. Характерен следующий пример. В Москве в 1875-1890 годах издавался еженедельник «Газета А. Гатцука», в котором в 1875 году была помещена литография «Эквилибристы на велосипедах в Париже на гулянии в Булонском лесу». В богатой московской семье Варенцовых его тоже читали: «В журнале сообщалось об изобретении велосипеда, с рисунком его; велосипед изображен с колесом в рост человека, а сзади его маленькое колесико, с сидящим на большом колесе человеком, с указанием, что на этой машине можно делать большие прогулки. Матушка, осмотрев изображение велосипеда, покачала головой и вслух сказала: «Можно ли так врать? Как возможно человеку усидеть на большом колесе,

да еще делать на нем большие прогулки? Вот и выписывай такой журнал со враньем! Все делается только для того, чтобы побольше из вранья извлечь денег!» Я вполне сочувствовал словам матушки, зная по опыту, что усидеть на колесе, даже на маленьком, невозможно, не предполагая, что лет через четырнадцать после этого разговора буду совершать большие прогулки на велосипеде, но с большими усовершенствованиями», — вспоминал в эмиграции предприниматель Николай Варенцов.

Велосипед-паук и по сей день представляется не только культурным свидетельством заката викторианской эпохи, но и символом зарождения велосипедных гонок как вида спорта. В архиве осталась старая фотография 1880-х годов, на которой изображен сдержанно улыбающийся Владимир Григорьевич верхом на том самом велосипеде-пауке. В России еще не было своего массового производства таких велосипедов, их завозили из Англии. И Шухову, судя по сему, было совсем не страшно кататься на нем. А вообще-то это было небезопасно: из-за смещенного центра тяжести и чересчур резкого торможения, велосипед легко падал, увлекая за собой своего седока, который должен был мастерски увернуться, дабы не нырнуть головой через руль. Страховка на случай неудачного падения была высокой. В объявлении одной из страховых фирм читаем: «Господа велосипедисты принимаются «на страх» по тарифу: три тысячи рублей на случай смерти, шесть тысяч рублей на случай инвалидности».

Но прежде чем упасть, надо было залезть на велосипед (представим себе Шухова в этот важный момент, ибо садиться на паука лучше было на ходу, разогнав его!). Дождавшись момента, велосипедист левой ногой встает на подножку и запрыгивает на седло, пока велосипед едет по инерции, затем он быстро опускает ноги на педали, не дав машине остановиться. При этом следует крепко держать в руках руль, который так и норовит вывернуться. Не забудем и о невысоком росте Шухова — ему приходилось предварительно переставлять педали, ибо седло не имело регулировки. Зато само седло (крепилось на рессоре) высокое, сидишь, как на насесте, все видно вокруг. Ну и, наконец, приличная скорость, которую развивал пенни-фартинг — до 30 км/ч!

Велосипедистов стало так много, что в мае 1890 года московский обер-полицмейстер Е.К. Юровский обратился к Долгорукову с просьбой о запрещении езды на велосипедах в вечерние часы в Сокольниках и Петровском парке. Оказывается, что «вечерняя езда на велосипе-

дах представляется в дозволенных местах неудобною в отношении гуляющей публики, а именно: в Петровском парке... велосипедисты, проезжая по всем направлениям с фонарями, пугают лошадей, по городским же бульварам катание на велосипедах в вечернее время до крайности стесняет и тревожит гуляющую публику», — жаловался обер-полицмейстер в рапорте.

В то же время, со своими просьбами стали обращаться и велосипедисты-энтузиасты. Автор одного из таких писем пытался убедить генерал-губернатора, что «Велосипед — не есть игрушка, это есть гигиеническо-лечебно-воспитательное средство... Теперь при воспрещении кататься на велосипедах куда денутся тысячи молодых людей вечером и в праздники? Конечно, пойдут в загородные трактиры, где нет недостатка в соблазнительности, а это очень понравится молодежи, и она погибнет». Долгоруков оказался меж двух огней — с одной стороны, массовое общественное увлечение, с другой стороны, необходимость соблюдения правил дорожного движения. Как человеку ближе ему были просьбы велосипедистов, но как градоначальник он обязан был прореагировать на рапорт обер-полицмейстера. В итоге, возможность ездить на велосипеде по Москве существенно ограничили. Шухов расстроился — ведь он мог бы ездить в контору на велосипеде.

Запретный плод сладок. Даже Лев Толстой обучился езде на велосипеде, но уже на другом, с цепью, регулярно приходя для этой цели в Манеж. В 1884 году было создано Московское общество велосипедистов-любителей, затем Московский клуб велосипедистов, а в последующие годы — Всеобщий и Германский союзы велосипедистов и Московский кружок любителей велосипедной езды.

Шухову не удалось изобрести велосипед — это сделал до него Леонардо да Винчи, в бумагах которого обнаружился чертеж некоего похожего средства передвижения. А вот в соревнованиях, проводившихся в Москве, Шухов участвовал непременно. Первые состязания в новом виде спорта прошли в Москве на ипподроме 24 июля 1883 года. Дело было новое, а потому зрителей постарались привлечь всякого рода традиционными развлечениями — марафоном всех желающих на длинную дистанцию, состязанием скороходов и коней-рысаков (кто кого перегонит), гонками троек и т.д. Затея имела успех — в тот день на ипподроме собралось свыше 10 тысяч зрителей. Для участия в велосипедных гонках на пауках приехали даже участники из Америки и Англии. Но имя Шухова среди победителей мы не находим,

им оказался петербуржец Юлий Блок, выигравший заезд на полторы версты. Так зачинался велосипедный спорт в России.

А 1891 году среди велосипедистов провели чемпионат на звание «Первый ездок России», в котором участвовали спортсмены из Петербурга, Киева, Харькова, Одессы. Классической дистанцией тогда было расстояние в семь с половиной верст — его и нужно было преодолеть. Междугородный марафон состоялся в 1894 году, от Москвы до Нижнего Новгорода. Но там требовалось не то, что победить, а просто доехать: дороги были таковы, что достичь финиша удалось лишь двоим. Еще более тяжелой была гонка 1895 года между двумя столицами. Но в этих состязаниях Владимир Григорьевич мог быть лишь зрителем — когда-то и работать надо!

Зато в гонках на велосипедах в Манеже, проводившихся по воскресеньям, Шухов так же претендовал на лидерство, как и в своих новаторских идеях. Его не смущало, что и солидные заказчики с Мясницкой или даже его непосредственный начальник Бари узнают его среди соревнующихся, а даже задорило. Впрочем, симпатии публики были на его стороне. Выбившегося вперед стройного спортсмена радостными воплями приветствовали завсегдатаи этого нового для Москвы зрелища: «Рыжий, наддай! Еще наддай, рыжий!» Эти слова относились к Шухову и его рыжей бородке.

Шухов много катается по окрестностям Москвы: «На поездки собирались человек по пять-десять. Предварительно выбирали старшину, на обязанности которого лежало изучение дороги и ее особенностей (канавы, мостики и т. д.). Одеты были велосипедисты в сюртуки. Тогда в моду вошли бородки, так что вид у велосипедистов был очень солидный. Во время одной поездки Шухов был избран старшиной. Ехал он впереди, указывая дорогу. В одном месте она упиралась в мостик из уложенных свободно круглых бревен. Владимир Григорьевич миновал его благополучно. Но остальных постигла неудача. Бревна заходили ходуном, и спортсмены один за другим попадали. А падение грозило серьезными ушибами, учитывая высоту тогдашнего велосипеда. Тут же за мостиком устроили совещание и решили сместить Шухова с должности старшины.

— Но я-то ведь благополучно проехал! — оправдывался он.

— На то ты Шухов! Ты везде проедешь, — шумели велосипедисты. — Ты, наверное, уже рассчитал колебания своего тела в зависимости от веса и колебаний бревен, а нам ничего не сказал!



Шухов только улыбался, помогая пострадавшим отряхивать пыль с костюмов», — свидетельствовал Галанкин.

Вооружившись фотоаппаратом, Шухов снимал проводившиеся в Москве выставки. Так, 3 мая 1905 года в Москве открылась первая международная выставка автомобилей, велосипедов и спорта под покровительством великого князя Михаила Александровича. Проходил смотр в хорошо знакомом Шухову Манеже, куда привезли экспонаты из Франции, Германии, Италии. В Москве уже к тому времени появились первые личные авто, зарождался интерес к этому чуду техники. Посетители с интересом ходили вокруг машин и даже автобусов. Состоялся и автопробег Петербург-Москва через Чудов, Новгород, Крестцы, Вышний Волочек, Тверь и Клин. Из двадцати семи машин до Москвы добралось 17 автомобилей. А в 1908 году Шухов присутствовал на первых в Москве автогонках, что запечатлено на его фотографиях.

Владимир Григорьевич изучал велосипед и с научной точки зрения, выписывал популярные журналы по велосипедному спорту, была у него и подаренная Николаем Жуковским книга с дарственной надписью «О прочности велосипедного колеса». Личным итогом Шухова в 1880-х годах стал титул чемпиона Москвы среди велосипедистов-любителей. По легенде, в 1894 году он учредил приз своего имени — его должны были вручить тому, кто первым преодолет четверть английской мили (400 метров) за 31 секунду. Но серебряный кубок так и не был вручен...

Но, пожалуй, самым главным увлечением изобретателя, которое он пронес через всю жизнь, была фотография, к которой он старался пристрастить и детей (в большей мере это передалось сыну Сергею). Шухов нередко говорил о себе, что по профессии он инженер, а в душе фотограф (не хуже Прокудина-Горского!). Фотоаппарат был с ним повсюду, он подробно фотографировал не только свою семью, знакомых, сослуживцев, но и разные здания и сооружения, события — наводнение в Москве 1908 года, революционные события 1905 года, открытие памятника Гоголю в 1909 году, праздники, крестные ходы и манифестации, даже первомайскую демонстрацию 1917 года. Забирался на крыши домов (среди множества фотографий есть, например, и вид на Смоленский бульвар с крыши шуховского особняка на углу Смоленского бульвара и 1-го Неопалимовского переулка), снимал с верхотуры широкие панорамы центра Первопрестольной, по которым нынче можно воссоздать вид утраченного города. Много было снято Шуховым жанровых сенок — коровы у стен Новодевичьего монасты-

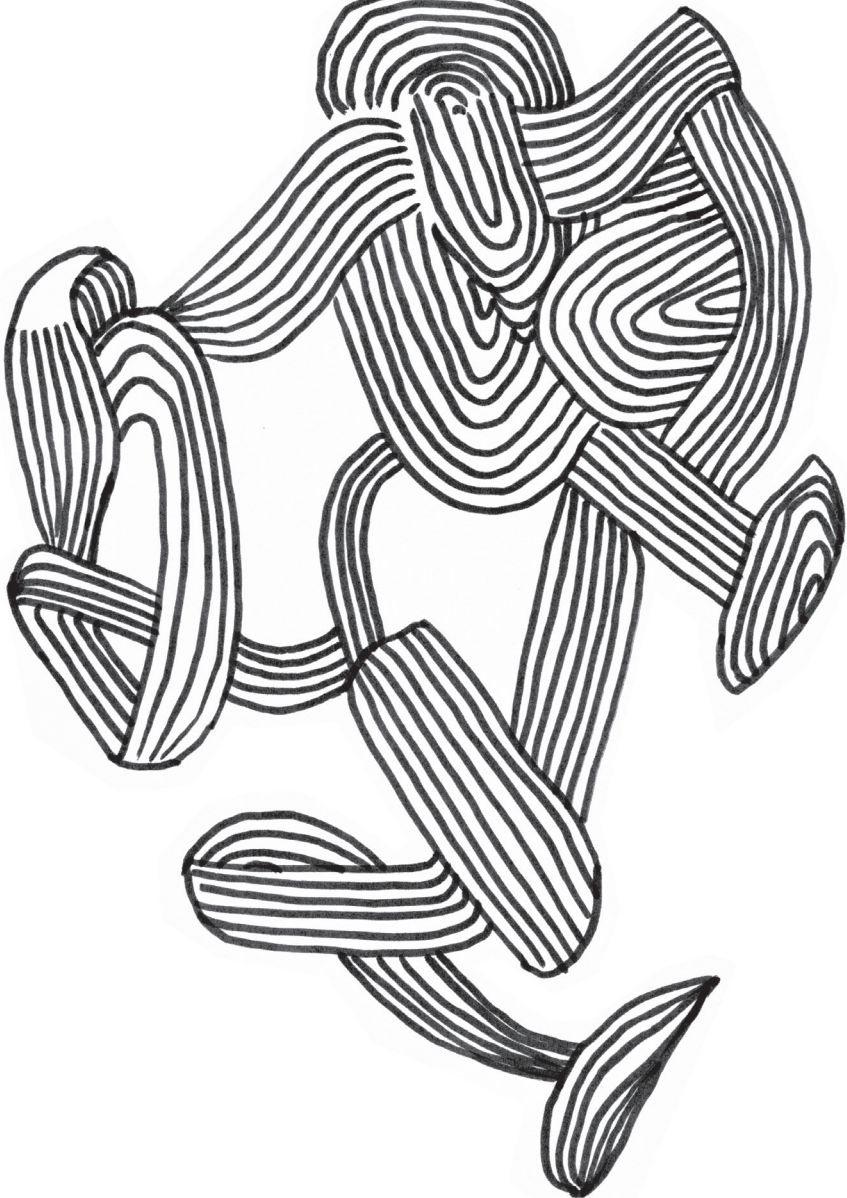
ря, игра в теннис во дворе дома на Смоленском бульваре, пожарная команда на Плющихе, конный экипаж на Красной площади и т.д.

Занимался он и индустриальной фотографией, запечатлевал процесс сборки своих конструкций — башен, перекрытий, дабы использовать это в работе. Здесь уже шуховские фотографии имеют иной, прикладной, экспертный характер. Снял обстановку в конторе Бари — анфилада рабочих кабинетов, сосредоточенный интеллектуальный труд инженеров, массивные рабочие столы с бумагами, на стенах под стеклом — галерея механизмов. А захватывающие снимки цехов завода Бари с уходящей вдаль перспективой, которую подчеркивает стройный ряд блестящих станков, — просто симфония! Кстати, Шухов любил повторять: «Нужно, голубчик, приучать себя мыслить симфонически!»

Будучи не слишком откровенен в своем дневнике (который писался будто для шпионов — настолько кратко и сокращенно), в фотографиях Шухов сумел донести до нас многие скрытые на первый взгляд нюансы своей жизни и творчества, и даже в какой-то мере потаенные стороны своей натуры. Есть у него много постановочных снимков, но встречаются и такие, что раскрывают внутренний мир изображенных на них героев лучше иной устной характеристики. Шухов делал и селфи — т.е. снимки собственной персоны, но первым здесь он не был. Задолго до Шухова, например, «сам себя снял» Лев Толстой.

Являясь сторонником развития отечественной промышленности, тем не менее, Шухов отдавал предпочтение зарубежной фототехнике. В распоряжении Владимира Григорьевича имелся приличный арсенал фотоаппаратов, начиная от компактного американского «Кодака» и продолжая немецким «Полископом» и французским «Вероскопом». Последняя модель была Шухову особенно дорога — с конца 1890-х годов стереофотоаппараты стремительно входят в моду, благодаря парижанину Жюлю Ришару, запатентовавшему в 1893 году более совершенную фотокамеру, не такую громоздкую и менее тяжелую. Магазин «Вероскопа» был рассчитан на 10 заменяемых фотопластинок. Стереофотосъемка позволяла делать изображения объемными, своего рода 3D. Это было новаторство, высоко оцененное Шуховым. На большом стереоскопе он с удовольствием демонстрировал всем желающим — и взрослым, и детям — свою богатую коллекцию, насчитывающую более тысячи фотоснимков.





Сергей Чередниченко, Олег Кудрин, Валерий Шубинский, Анна Жучкова, Евгений Абдуллаев, Игорь Дуардович, Евгения Коробкова, Константин Комаров, Ольга Балла, Елена Погорелая, Елена Пестерева, Андрей Пермяков. *Заметки, записки, посты. Вступительное слово Игоря Дуардовича*

Для рубрики «Легкая кавалерия» мы собрали 12 критиков, которые согласились постоянно писать для «НЮ» в течение года. От каждого «кавалериста» требуется всего страничка: что интересного прочли в толстых журналах, что зацепило или не понравилось, с чем согласны/не согласны, какую литературную проблему наблюдают в данный момент. Нас интересуют журналы, книжные новинки, романы, премии, вообще актуальный литературный процесс. О чем писать, каждый выбирает сам.

Суть рубрики в том, чтобы налететь на условного «противника» и «помахать шашками в воздухе», наметив тему для более детального рассмотрения в статьях. Острота, скорость и резкость, стилистическая заостренность, концептуальность и всяческая раскованность и отчаянность («гусарщина») — приветствуются. Мы делаем эту рубрику для того, чтобы появились дополнительные возможности для критического разговора — более неформального в сравнении с традиционной критикой.

Игорь ДУАРДОВИЧ,  
редактор «Кавалерии»

*В этой «Кавалерии» мы говорим о разных интересных штукаx: о толстом журнале как большой и настоящей любви и остановке «Журнального зала»; о великом разделении в русской литературе на «патриотов» и «либералов» и их смешении в результате «крымнаша»; о литературе в регионах и феномене русской поэтической регионалистики; о фильме «Форма воды», перепутанных гендерных ролях и нормах бытия, о новой женской прозе; о «Довлатове» Алексея Германа-младшего и о российском кино, которое лучше смотреть без звука; о кризисе в поэзии 2010-х — поэзия как «искусство секунд-хенд»; о том, как мычат на рэперском русском; о верлибрах Максима Матковского; о жанре авторского словаря; о двух свежих романах — «Остров Сахалин» Е. Веркина и «Наверно я дурак» А. Клепиковой; о романе «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко; о том, как собутыльник обманул Романа Сенчина.*

*Сергей Чередниченко*

Много лет назад я решил, что буду писать максимально безличным стилем. Стилем учебника, словаря... И никогда не использовать в тексте местоимение «я». Но бывают моменты, когда общественное и индивидуальное оказываются синонимами, и тогда нельзя писать так, будто происходящее тебя не касается. Поэтому здесь я отступлю от своего стилистического правила.

Когда мне было 16 лет (то есть в 1997 году), я узнал о том, что существуют толстые журналы, в которых печатают современную литературу. Кажется, учительница рассказывала нам про Некрасова и упомянула «Современник», а я спросил, выходит ли он сейчас. Дело было в Кызыле, и я пошел в тувинскую Национальную библиотеку имени Пушкина на улице Ленина. На абонементе я их нашел. Несколько стеллажей с журналами, перед которыми можно было стоять бесконечно, перелистывая тонкие хрупкие страницы. Потрясение было настолько велико, что сравнить его можно, пожалуй, только с большой настоящей любовью. Я ходил в библиотеку раз в неделю, брал два-три журнала — наугад, без какого-то порядка. Этот процесс неистового погружения в бессистемное, стихийное чтение много раз описан в мировой литературе. У самых разных авторов — у Шукшина, у Сартра... Я думаю, что читательский запой, с которого все и начинается, знаком всем литераторам. Особенность моего опыта в том, что первоначально это было не книжное, а журнальное чтение.

Второй раз толстожурнальное потрясение я испытал году в 2001-м, когда в сибирских провинциальных городах появился Интернет, и я впервые зашел в Журнальный зал. Я жил то на съемных квартирах, то в общагах, поэтому постоянного выхода в сеть (через модем, подключенный к телефонной линии!) у меня не было, и я ходил на почту, в интернет-залы, в библиотеки, где можно было скопировать новые номера журналов (на дискету 3,5 дюйма!), чтобы прочитать их дома с монитора. Именно тогда и именно вследствие сочетания содержательности и технологичности ЖЗ у меня появилась мечта работать в редакции литературного журнала, которая спустя десять лет счастливо сбылась.

С середины нулевых, когда Интернет в жилище появился, я захожу в ЖЗ почти ежедневно. Несмотря на все его идеологические и технические недостатки (не буду о них говорить), я очень люблю ЖЗ.

30 сентября ЖЗ сообщил, что обновления прекращены. Но эта заметка, как может показаться, вовсе не очередной призыв к спасению портала. Эта заметка о том, что в октябре 2018 года я вновь испытал потрясение, когда стал читать свежие публикации на персональных журнальных сайтах, а отчасти и на бумаге. («Новый мир» и «Иностранка» читались не в ЖЗ и раньше.) И это дало возможность вновь увидеть лицо (обложки и макет изданий, дизайн и фишки сайтов), а через него — отчетливее разглядеть и индивидуальный облик каждого журнала.

Конечно, есть ощущение, что с прекращением ЖЗ, как говорится, «закончилась эпоха». Кроме того, это аспект более общей темы кризиса толстожурнального формата. Но я далек от желания петь зауспокойные плачи. Важная особенность нашего времени в том, что технологии не просто дают новые возможности, а становятся двигателями развития цивилизации и культуры. Появившийся в конце 1990-х, на заре Рунета, ЖЗ в тот момент был огромным культурно-технологическим прорывом. Мне представляется, что теперь, утратив возможность быть представленными в общей обойме, журналы получили шанс к персональному обновлению.

*Олег Кугрин*

Чтение свежих материалов в «толстяках» напомнило об одном великом разделении в русской литературе, нынче, кажется, тихо умершем, — на «патриотов» и «либералов». Если так — может, стоит обсудить и осмыслить тему: «Феномен раскола на “патриотов” и “либералов” в русской литературной среде. 1977–2014». Или другой вариант: «Перезагрузка-2014. Русская литература, разделение на “патриотов” и “либералов” 2.0».

Как по мне, первый вариант точнее. В подтверждение — простой аргумент-вопрос. В московском ПЕН-центре нынче кто — либералы, патриоты? Либеральные патриоты? Патриотические либералы? Ни нашим, ни вашим? И вашим, и нашим? До 2014 года, смешавшего

прежнюю картину новым расколом по линии «крымнаша», такую неопределенность трудно было представить.

Какие же итоги можно подвести? Один журнал потерян насовсем. Старая гвардия «Молодой гвардии» безвозвратно ушла из зоны здравого смысла. Остальные же дрейфуют, сближаясь друг с другом. Вразумливая конвергенция — говоря словами двух титанов прошлого. Вот, скажем, «Москва» и «Нева», когда-то очень далекие, сегодня мировоззренчески довольно близки: «Москва»-на-«Неве».

При таком объединительном закрытии темы вспоминается и точка раскола — знаменитая дискуссия в 1977 году. Нужно признать, что «патриоты» тогда кое в чем были правы. Если обобщенно: смерть насильственная или по болезни ранняя, многие жизненные сложности — не повод для кумиротворения, агиографии. Если на примерах: Бабель и Багрицкий — большие авторы с трагической судьбой, но это не делает их гуманистами в творчестве и замечательными людьми в жизни. Аналогично Ахматова и Серебряный век были велики и властью часто мучимы, но это не превращает аполлонических творцов в последовательных человеколюбцев.

Что до текстов, вызвавших эти размышления, то это материалы трех замглавредов. Александр Казинцев («Наш современник») в своем же журнале (2017, № 11) остро-критически рассмотрел «пушкинскую речь» Достоевского — «Вдохновенная ошибка». И выступил принципиально против имперского мессианства из-за надрывности проекта. Сергей Беляков («Урал») в «Новом мире» (2018, № 2) продолжил важнейший ликбез на тему, что такое Украина и кто такие украинцы — «Накануне большой войны. Столетие Тараса Шевченко в Киеве». Для этих авторов, не имперцев, «национализм» не есть ругательство.

В отличие от Александра Мелихова («Нева»). Он дал в соседской по Петербургу «Звезде» (2018, № 2) заметку «Давиды и Голиафы». Мелихов порицает любой национализм всех времен и народов, становясь на сторону не идеального, но стабильного имперства: «Один могучий Голиаф, чью монополию на насилие оспорить почти невозможно». Голиаф в его путаной системе образов — «мудрый» (?). А юные национализмы («истинная чума XX века»), порвавшие имперство, виноваты в появлении коммунизма и фашизма (эти, видимо, чума не истинная). Ну-ну...

Все смешалось. Нет теперь ни эллина, ни иудея, ни либерала, ни патриота.

*Валерий Шубинский*

Так получилось, что я имел новый повод задуматься о таком феномене как русская поэтическая регионалистика.

Я давно предполагал, что мы переживаем новый период развития поэтической культуры: наряду с разделением по группам и школам намечается еще одно — территориальное. Что-то, напоминающее ситуацию в итальянской живописи времен Ренессанса, когда отличия венецианцев, флорентинцев и, скажем, сиенцев или умбрийцев были посильнее групповых и поколенческих споров — во всяком случае, не менее сильны.

В русской поэзии всегда были «Москва» и «Петербург», сосредоточенные друг на друге и высасывающие таланты из всей остальной страны. Еще был обобщенный «Париж», политическая или неполитическая эмиграция. Изредка появлявшиеся на территории русского языка новые точки (та же Одесса) не проживали и двух десятилетий. Но оказалось, что это не навсегда. Честно говоря, легенда про «углубляющийся разрыв между Москвой и остальной страной» вообще не кажется убедительной. Никогда этот разрыв не был так огромен, как в дни, когда в Москве (и более или менее в Ленинграде) была колбаса, а в Калининe или Горьком ее не было. Сегодня в Москве есть только одна вещь, которой недостает в провинции — это деньги, но деньги — субстанция текучая, и слишком велика цена московского богатства. Интернет же позволяет преодолеть ощущение культурной заброшенности. Я убежден, что будущее за нестоличной Россией.

Сегодня русская поэзия «распылена» по территории русского языка. Но, господи, как же мало мы знаем друг друга! В сентябре мы с коллегой Данилой Давыдовым участвовали в литературных мероприятиях в Новосибирске. В программе был и «мастеркласс» для местных поэтов. Но кто дал нам право свысока говорить о «местном»? И кто поставил нас в положение судей или гроссмейстеров, дающих сеанс одновременной игры? Среди наших собеседников были зрелые мастера — Олег Копылов, Петр Матюков. Но лично мне были неизвестны признанные и чтимые в Сибири мастера старшего поколения — Александр Денисенко, Юлия Пивоварова. Кого я знал? Виктора Иванова, впечатлявшего как масштабами (и оригинальностью) дара,



так и трагической судьбой. Он казался одинокой фигурой, окруженной провинциальным (необъяснимо провинциальным, учитывая величину и традиции Новосибирска — да и соседних областных центров) ландшафтом. Но реальность оказалась гораздо более «нормальной». Мы знали уральскую школу с ее культом мастеровитости, но не знали сибирской. Иванив был не одиночкой — он вырос из определенной почвы, хотя и вырос сюрреалистическим пышным мухомором.

Сибирская школа (локализованная не только в Новосибирске, но и в соседних городах) основана на тончайшей игре с наивным искусством, с примитивом, игре, в которой пародийный элемент еле намечен, даже не пародийный, а острабяющий. И это игра не с мещанским сознанием (в животнo-архаическом варианте Олейникова или в идеологизированном варианте Пригова), а именно с наивностью. Это порождает, видимо, и какие-то другие формы взаимодействия с литературными институциями, но в это я не хочу вдаваться. И у нас в Питере сибиряков привлекают авторы, на которых мы сами обращаем, может быть, меньше внимания. Я слышал, например, вопросы про покойную Зою Эзрохи и понимал, почему спрашивают про нее.

А ведь это лишь один из десятков русских поэтико-географических миров!

*А н н а    Ш у ч к о в а*

«Форма воды», незашедший в России оscarоносный фильм Гильермо дель Торо о разных формах ненормативности, дает повод к размышлению о гендерных ролях в современном обществе. Традиционная маскулинность в нем представлена двумя типами: брутальный мужик с большой палкой и хлюпик-ученый в очках. «Торжество ненормативности» — тоже двумя: пожилой гей и чудовище-амфибия. Коллизия фильма состоит в победе чудовища — амбивалентного существа с накачанным торсом, но без фаллоса, живущего в воде, которая, как известно, стихия женская, — над брутальным самцом с палкой. Это, по словам А. Долина, «мощное», «бескомпромиссное заявление о том, как опасна и тоталитарна любая норма», созвучно упразднению полов, отмене слов «мама» и «папа» и прочим гей-процессам толерантной Европы. Заметим, что амфибия даже не дает

себе труда стать человеком, личностью, от стадии «зверя» переходя сразу к стадии «бога» и утягивая возлюбленную в подводный мир. Идея человека как высшей ценности уходит из западной аксиологии. Хотя и правда, ради кого стараться, становится мужчиной и личностью? Женские гендерные роли здесь еще более убоги: большая черная мамочка, кормящая половозрелого мужа и заботящаяся обо всех подряд, и забитая золушка, которая каждое утро приносит яйца соседу-гею. Зря приносит, кстати, они ему не нужны. А вот амфибия принимает яйца с интересом. Ежеутреннее количество яиц растет до тех пор, пока дело не доходит... до секса, точнее, до сиреневых искорок на чешуе амфибии, гладкой, как пупс. Но золушка и этим довольна. Ранее-то никому не была нужна.

И наступает новый мир. Правда, непонятно для кого. Брутальный мужик с палкой убил гея. Золушка с отросшими жабрами и амфибия живут и радуются в мутной воде городского канала. Род человеческий продолжать некому. «Форма воды» — это фильм-катастрофа. Весть о том, что когда нарушен баланс жизни, перепутаны гендерные роли и нормы бытия, человечеству остается только слиться.

Неудивительно, что «Форму воды» в России приняли с иронией. Наша культура находится сейчас в противофазе общеевропейским процессам. Мы захвачены стремлением не упразднить, а осознать гендерные роли в их изначальной онтологии, что, оказывается, намного сложнее, чем пришить или отрезать фаллос.

В нашей литературе и культуре все более значимым становится представленность женщины. Так на вызовы времени наша литература откликается активностью женской прозы. Прежняя литературная эпоха закончилась в середине 90-х. А новая началась с женской прозы нулевых. Но тогда инициативу перехватили по-пацански дерзкие «новые реалисты». Перехватили рано: время патриархальности как закрепления нового «статуса-кво» еще не пришло. Потому сегодня мы снова наблюдаем — нет, не феминизм или матриархат, а все возрастающую роль женщины и женского в литературе. К сегодняшней женской прозе не отнесешься снисходительно, ведь она предлагает то, что так долго ждали: новый угол зрения на современность сквозь призму личности и семьи: О. Славникова, А. Матвеева, Г. Яхина, И. Богатырева, А. Козлова, Д. Бобылева, А. Николаенко и др. Можно за многое упрекать «Зулейху» Гузели Яхиной, но самое сильное в ней — образ женской силы и женской власти, любви и самоотверженности.

Нивелирование всех норм, чем восхищается Антон Долин, — утопия, потому что отменить внутренне вшитое понятие нормы как правильного способа бытия, стремление всех стать всеми — путь в никуда. Любое движение, и движение жизни в том числе, обусловлено наличием противоречий и разнообразием форм. Воевать за «идеальную норму» — фашизм. Но и отмена гендерной нормы, провозглашаемая как апофеоз толерантности, тоже ведь похожа на геноцид человечества. Разность, в идеале, должна быть не отменена, а осмыслена.

Женская ветвь отечественной прозы противопоставляет толерантности любовь. Не романтические иллюзии, а, как сказала Дарья Бобылева в романе «Вьюрки»: «...искреннее, серьезное уважение к самому факту существования другого, так отличающегося от собственного».

Яркая представленность женщин в современной литературе говорит о том, что пришло время чувствовать и любить. Но как же сложно это пока дается! Последний «нацбестовский» скандал тому свидетельство: истерика почитателей Анны Старобинец, вышедших за рамки отношений «текст — критик» и яростно доказывающих, как именно чувствовать можно, а как нельзя.

А чтобы чувствовать и уважать чувства другого, надо научиться чувствовать себя. Это сложно для наших женщин, которые и коня, и избу, и мужика, и детей — все сами. Какое уж тут чувство себя. Максимум — слияние, симбиоз с другим. Слияние как служение (образ Жени в «Учителе Дымове» С. Кузнецова, Лизы в «Вечной жизни Лизы К.» М. Вишневецкой) или как требование служения (героиня Анна в «Посмотри на него» А. Старобинец).

И вот современная женская проза потихоньку начинает разговор о том, как важно женщине научиться уважать и любить себя. Без оглядки на оценку окружающих. Без выставления оценок себе. Об этом «Замкадыш» И. Богатыревой, «Прыжок в длину» О. Славниковой, «Вечная жизнь Лизы К.» М. Вишневецкой, «F20» А. Козловой.

Любовь безоценочна. Она не изгоняет, а принимает. Не протестует, а старается понять. Как Д. Бобылева в романе «Вьюрки», как Е. Погорелая в поэтическом сборнике «Медные спицы». Да, в поэзии представленность женщин сегодня еще очевиднее.

Мы же девочки, мы чувствуем.

*Евгений Абдуллаев*

Бракоразводный процесс российского кинематографа с российской прозой идет давно. Пока, вроде, не завершен: что-то редко, но экранизируется. Пелевин. Улицкая. Иванов. Осокин...

Что-то раз в два-три года выходит.

Отмотаем, для сравнения, на тридцать лет назад, год 1988.

Сокуровские «Дни затмения», снятые по повести братьев Стругацких. Нашумевшие «Воры в законе» — по рассказам Искандера. «Защитник Седов» — по повести И. Зверева. «Гражданин убегающий» — по повести В. Маканина. «Вы чье, старичье?» — по повести Б. Васильева. «ЧП районного масштаба» — по повести Ю. Полякова. «Двое и одна» — по рассказу Г. Щербаковой. «День ангела» — по рассказу М. Коновальчука. «Елки-палки» — по рассказам Шукшина...

Все это вышло на экраны только в один год. Список еще неполный.

Что сегодня? Только, прошу, не нужно о Лукьяненко или Акуnine, которых экранизируют чаще. Я сейчас не о масслите, пусть даже качественном. В 80-е тоже был свой масслит (Семенов, Пикуль, братья Вайнеры), и экранизировался он регулярно. Что не мешало, тем не менее, снимать фильмы по Трифонову и Маканину. Или приглашать для работы над сценарием Битова или Искандера.

Писатели современные писать разучились?

Простите, не верю. Могу сходу назвать с десятков авторов, чья проза буквально «просится» на экран: Юрий Буйда, Андрей Волос, Мария Галина, Майя Кучерская, Анна Матвеева, Валерий Бочков... Или современные режиссеры разучились читать (не классику — а именно «современнику»)?

Или просто, как говаривал один государственный деятель (и по совместительству прозаик), «экономика должна быть экономной»? Снимать по произведению современного автора — еще и «возиться» с авторскими правами... Да и автор может попасться капризный... Нет, лучше по Достоевскому, по Достоевскому. Классики — беспроигрышный вариант. С современниками — и риска больше, и мороки...

Результат — один из — падение литературного уровня российского кино. Снова и снова заставляю себя знакомиться с новинками, из

разряда «серьезных», «оцененных» и «отмеченных». Зрительского терпения хватает минут на двадцать. Тексты — «деревянные».

И вот еще, похоже, новая тенденция. Чем меньше в современном кино интереса к литературе, тем больше интереса к литераторам.

Только успел забыться телесериал по мемуару Аксенова — а на экранах уже «Довлатов» Алексея Германа-младшего.

У Аксенова — и в сериале — литераторы были под выдуманными (и выморочными) именами — Кукуш Октава, Нэлла Аххо... В «Довлатове» — никаких «кукушей»; все — начиная с имени главного героя, ставшего названием фильма, — как бы документально. Все приближено к реалиям начала 70-х, и улицы, и лица, и все, вроде, похоже. И Довлатов в фильме похож на Довлатова, и Бродский похож на Бродского. И все это вместе похоже на серьезное кино. Пока актеры не открывают рот и не начинают произносить текст. С бытовыми фразами все еще болеенее гладко, но как только речь усложняется, хочется убрать звук.

Поскольку речь у них скучная, картонная, стертая.

И дело даже не в «несоответствии времени». Хотя и в нем тоже. Речь в 70-х, да еще и в артистической тусовке — была живая, сочная, с «веселостью едкой литературной шутки», с фразами из анекдотов, с розыгрышами, с постоянным вращением вокруг каких-то важных (тогда) книг, фильмов, идей...

Напрасно искать этого в фильме.

Оба автора сценария, Герман-младший и Тупикина, родились во второй половине 70-х. Они могут не помнить. Но живых свидетелей тех времен — в том числе из писательского цеха — более чем достаточно.

Анна Наринская («Новая газета») хвалит фильм за то, что в нем получилось передать «воздух 70-х». Не заметил. На мой вкус, это «ворованный воздух». И совсем не в мандельштамовском смысле. Это воздух наших 10-х, захламленный реквизитом 70-х. А, может, даже и не 10-х, а просто — никакой. В котором ходят унылые, мрачные люди (в первых же кадрах сообщается, что закончились радужные 60-е и наступили серые 70-е), и произносят унылые фразы. Начиная с главного героя, которого сыграл Милан Марич. Кто-то написал о «большой кастинговой удаче». Кастинговой — да. Возможно, она была бы и актерской — если бы было что играть. Но играть — так уж написан сценарий — нечего. Довлатов пошел туда. Довлатов пошел сюда. Посидел. Что-то сказал, выпил. Снова пошел куда-то. Что хо-

чет? Опубликоваться в журнале. И еще — достать куклу дочке. Для разнообразия в кадре периодически выскакивают какие-то женщины и клеятся к главному герою. Но он их игнорирует, и они исчезают; появляются новые, несть им числа. А любит он, похоже, свою прежнюю жену. И дочку, для которой весь фильм разыскивает большую немецкую куклу. Таков главный сюжет.

Нет, есть в фильме и забавные эпизоды. Пуск корабля с участием «ряженных» из заводской самодеятельности. Встреча героя со стукачом, фарцующим запретным Набоковым. Есть и удачные актерские работы (например, Анна Екатерининская, сыгравшая начальницу писателя). Про старательно подобранный реквизит уже было сказано. Но в целом...

Мемуарная книга Евгения Рейна называлась «Мне скучно без Довлатова».

Если бы в «Легкой кавалерии» нужно было давать названия, я бы назвал эту колонку — «Мне скучно с “Довлатовым”».

И недостаток этот — не одного фильма, он, повторюсь, системный. На литературно слабом сценарии можно вырастить только вот такое, что хочется смотреть без звука. Честно говоря, так порой с современными российскими фильмами и поступаю, особенно в самолетах. Пялишься от нечего делать в экран, там красивые (иногда — очень) картинки сменяют одна другую...

А может, это уже тенденция такая, и наступает вторая эпоха немомого кино? Раз так все предельно визуализируется — не честнее ли перейти на кино без звука? Тогда и о литературном уровне не нужно будет думать. Вообще. И бракоразводный процесс кинематографа с современной литературой, наконец, завершится, без слез и сцен. Литература, конечно, что-то потеряет, но не очень много. Существовала же она до начала прошлого века как-то без экранизаций и еще без них посуществует. А кино — жалко.

Мои отношения с современной поэзией давно стали, с одной стороны, бытовыми, с другой, сутобо деловыми и, поверите ли, рутинными. Во втором случае я выполняю функцию, я — редактор, винтик журнального процесса. Моя задача — определенное количество поэтического продукта в каждом номере, такое-то количество подборок, стихов. Я нахожу то, что годится, чтобы заполнить ячейку. Я чувствую свою ответственность.

Критика поэзии — это быт, и мое медленное, постепенное с ней — с поэзией — прощание, расставание — как говорят, быт опротивел.

Кто-то из коллег однажды сказал, что это производственная травма, дескать, работая в отделе поэзии, я просто перечитал текстов. Не думаю. Более вероятной причиной мне кажется скорость нынешних изменений, которые, судя по всему, навсегда опередили возможности поэзии. Я просто вижу и чувствую эти ограниченные возможности бывшего ускорителя сознания.

С поэзией сегодня, кажется, все предельно ясно, как с каким-нибудь хорошо изученным химическим элементом, она более-менее предсказуема. Или как с человеческими возможностями, например, в беге, где новые рекорды — это уже какие-то доли секунды, десятые, сотые, тысячные. Хотя спортивная аналогия тут, наверное, не вполне верная, особенно если понимать теорию прогресса в литературе так же буквально, как это делал Мандельштам: «Теория прогресса в литературе — самый грубый, самый отвратительный вид литературного невежества. Никакого “лучше”, никакого прогресса в литературе быть не может — просто потому, что нет никакой литературной машины и нет старта, куда нужно скорее других доскакать». Далее Мандельштам говорит о языке как о критерии единства в литературе, с помощью которого можно рассмотреть те или иные явления. Фактически отбрасывая шкалу прогресса, поэт заменяет ее шкалой языка.

И все-таки прогресс в литературе есть. Позволю себе частично не согласиться с Осипом Эмильевичем. Прогресс не в смысле вульгарной теории улучшений, а в смысле теории отклика — на происходящие изменения, эволюционной реакции, — в эволюции же тоже нет никакой специальной «машины и нет старта, куда нужно скорее других

доскакать». В этом плане критерий языка, быть может, и хорош для рассмотрения явлений, однако он, будучи следствием, не объясняет причины.

Что главное в поэзии: лирический герой, образы, масштаб личности, опять же язык? Все это лишь следствия. Главное в поэзии то же, что и везде, и всегда, — *Zeitgeist*, дух времени или его шум. От чувствительности к своему времени зависит самое существенное, иногда эта чувствительность трагична и фатальна, например, как было с Блоком. В итоге не каждому времени везет с поэтами — в отличие, скажем, от прозаиков (проза — куда более стабильное и «здоровое» искусство). Кто-то винит в этом «тепличность», полагая, что настоящая поэзия рождается на сломе эпох, в условиях нравственных, общественных и прочих катаклизмов. Но когда этой чувствительности нет, когда поэты не понимают и не чувствуют своего времени, это похоже на общий поэтический анабиоз или как будто на автопилоте... Это, конечно, период не полного бездействия, но растерянности, вялости и пассивности, либо, наоборот, истерики, это период почивания на чужих лаврах и консервации языка и в языке.

2010-м, я считаю, не повезло.

Одна из главных черт и проблем 2010-х — их безыдейность. Поэзия перестала рождать новые смыслы и миры; наконец, не возник новый язык — тем, сколько угодно, а языка нет. Со мной как с современным читателем современные поэты не говорят на одном языке, языке настоящего — разве что на уровне жонглирования модными словами и мемасиками.

С проблемой безыдейности, мне кажется, связана миграция в прозу, что видно не только на примере молодых, но и особенно старших поэтов, и, как они сами объясняют, это вовсе не типичное «Лета к суровой прозе клонят». Например, Санджар Янышев на презентации своего «Умра» (М.: Издательство «Арт Хаус медиа», 2017) признался, что теперь самые обычные маргиналии несут в себе более поэзии и жизни, чем сами стихи, которые стали слишком плохим «транспортом». Быть может, «транспорт» плохой, потому что как раз нечего транспортировать? Или все-таки и в нем дело тоже? При этом очевидно же, что отнюдь не в литературной универсальности. Выходит, не у меня одного чувство, что поэзия стала каким-то слишком «неудобным», непластичным искусством...



С этой же проблемой — с безыдейностью — связана и столь избыточная в поэзии абсолютизация и возведение поэтами самих же себя в культ. Поэты любят (с подачи великих) рассуждать и спорить (с самими собой), какое искусство выше, поэзия или проза, твердить о «богоизбранности» поэзии и даже выносят ее за рамки литературы вообще. Прозаики, к счастью, не имеют подобной привычки — абсолютизировать прозу, им просто некогда заниматься этими глупостями.

И вот же ирония: более чем столетнее движение поэзии к прозе, похоже, завершается, и все эти эксперименты поэтов — опять же, с прозой. Неслучайные выражения: Бродский говорил, что проза есть продолжение поэзии другими средствами; Акутагава: что проза занимает место в литературе только благодаря содержащейся в ней поэзии.

2010-е — время прозы.

Поэзия этих лет, на мой взгляд, в основном вторична — по отношению к прозе, и эта вторичность была запрограммирована/предопределена еще в конце 2000-х, а предвидеть ее можно было даже еще раньше, в конце 1990-х. Сейчас я как раз работаю над статьей «Поэзия 2010-х, кризис и назначение в новое время», где и занимаюсь разбором сложившейся ситуации.

Поэтам это не обязательно понимать, но их вдохновение сегодня нужно совсем не для поэзии, кризис которой, помимо прочего, характеризуется тем, что, переставая быть целью, поэзия все более становится средством — средством прозы. Словно в Ноевом ковчеге, поэзия теперь будет спасаться/пытаться спастись в прозе и прозой («новый эпос»). (Из новинок таким ковчегом мне видится роман А. Николаенко.)

При этом совсем не выглядит парадоксальным тот факт, что со стихами у нас как бы все офигенно: много авторов хороших и разных, оснащенных и умелых, даже с избытком.

Один из глубокоуважаемых мною редакторов поэтического журнала сказал бы на все это, что поэзия всегда в кризисе. Однако это не поэзия в кризисе, это просто мы тупим со временем и поэтому ищем себе оправдания или же еще хуже — не сумев понять время, боремся с ним, делаем ему назло, наконец, пытаемся его отменить самим фактом своего подержанного искусства, искусства секунд-хенд.

*Евгения Коробкова*

«Все, что нам нужно — кекс, компотики, кекс, компотики». Так пел казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, он же Jan Khalib на недавнем концерте в Москве. «Кексом» и «компотиками» он заменил слова «секс» и «наркотики». Но мог бы и не менять. Потому что я уже давно не различаю в песнях слова и давно не понимаю, на каком языке поют современные исполнители. Особенно рэперы.

Наши филологи страдают по разным поводам. То по поводу того, что в русский много заимствований проникает. То по поводу того, что в соцсетях переписываются не буквами, а пикчами. А по поводу звучания нашего языка почему-то никто особо не беспокоится. А жаль. Что-то наш великий и свободный приобретает какие-то нерусские интонации. Становится бубняще-стеснительным, нечленораздельным. Новую манеру произношения задают современные хиты. Если не знать, что поют по-русски, ни за что не догадаешься. Будто одновременно в нос, через одно место и толстый слой трусов.

Возьмем рэпера Басту. Он отменяет в языке ударную гласную «а». Везде, где нужно петь «а», он поет «о». Здоровенный мужик, в бороде, а поет так: «Пожелай мне удачи, Момо, Момо, как лучик света».

Ну, допустим, окончания у нас всегда глотали, но теперь проглатываются уже не окончания, а предпоследняя гласная окончания:

«Покажи мне, детка, Калифорню, я это навсегда запомню», — так канючит рэпер Элджей, у которого не только «с глазами что-то не так», но и с дикцией не так. Он всю песню булькает, а потом вдруг вспоминает про Калифорню.

(Позволю себе лирическое отступление. Песня еще показательна с точки зрения распределения гендерных ролей. Ладно бы мужик пел «я покажу тебе Калифорню», а то ведь просит, чтобы его, убогого, баба свозила показать эту самую Калифорню. Видимо, расчет на то, что тетки — существа жалостливые, обычного мужика в Калифорнию «В условиях плохой вряд ли свозят, а того, кто даже говорить нормально не умеет, пожалуй, что и возьмут»).

Исчезают согласные на конце слов. Не знаю, как вас, а нас на хоре еще заставляли четко произносить согласные. Теперь вроде и не надо согласных.

Не к ночи помянутый Баста поет «темнаяно» вместо «темная ночь», а Джа Калиб в популярном хите, несущемся изо всех утюгов, поет «контрО» вместо «контроль».

Пока Баста отменяет ударную «а», казахстанский исполнитель Скриптонит отменил ударную «е». Вместо нее повсюду «и»: «Здись собрались вси, кого я любИл... но дом не опустИл».

Со Скриптонитом отдельная песня.

«О если б мычанием протяжным сказаться душе можно было», — писал в позапрошлом веке поэт Дмитрий Минаев. Стало можно и мычанием протяжным. У Скриптонита вообще неважно, о чем поется, потому что ни одного слова не понятно, кроме протяжного мычания и местами отчетливого «сучки».

При плохой дикции совершенно незамеченными в тексты вписываются всякие маты и полуматы. Как, например, у белоруса Леонида Вакальчука в хите, где на протяжении всей композиции можно разобрать только «банда», «панда» и «гепарда». Или у певицы Гречки. Что произносит Гречка вместо согласных — вопрос к орофоэпистам. Когда слушала ее песню «Золотой марафон», сильно удивлялась фразе «болты в глазах как огурцы, ночью и днем». Думала, надо же, какой интересный образ. Потом оказалось, что это никакой не образ интересный, а дикция интересная. Поет она не «как огурцы», а «отходосЫ».

Про то, что в современных песнях не приветствуются слова больше двух слогов и то, что длинные слова рубятся, как угодно, — даже говорить не буду. Можно догадываться и удивляться, что означает фраза «Как много разных лес при виде котлет бросали подруг».

Вообще, мода на неправильное произношение не вчера появилась. Из советских исполнителей такой фишкой промышляли Эдита и Лайма Станиславовны, подчеркивая свою инаковость. Апо-честному, хуже всех с русским было у Тыниса Мяги и грузинского ансамбля Орэра, поэтому они тоже пели с акцентом. Но даже плохо говорящие по-русски старались приблизиться к русскоязычному звучанию и избегали каши во рту.

В 90-х граждан с акцентом сменили певцы с «фефектом фикции», неспособные, например, произносить мягкие шипящие. «Ясный мой свет, ты написы мне». Потом появился певец Шура без двух передних зубов. Что он пел, вообще никому не ведомо, но композиторы были в восторге. Известно, что русский язык труден для сложения песен,

поскольку имеет только оральный резонанс. А Шура без двух передних зубов сумел «запеть на русском, как на английском».

Продолжила эксперименты над звуком Кэти Топурия, совместившая в одном и акцент, и заложенность носа, так, что фраза «невозможно рассказать вам историю мою» в исполнении Кэти звучала как: «дебазбожда разгыза. Выбыисториюба Ю»!

Министр культуры Мединский недавно хвастался, якобы доказал сыну, что Маяковский был первым рэпером.

Но если говорить о настоящем рэперском звуке, то первым рэпером был не Маяковский, а Борис Николаевич Ельцин. Термин «ельцинфлоу» сегодня официально применяется как обозначение определенной интонации некоторых рэперов.

У меня соседка столетняя говорит: «Я боюсь на улицу выходить. Москва так меняется, что каждый раз за хлебом — как в новом городе оказываюсь. Боюсь заблудиться».

Я человек мнительный, как моя соседка, и тоже боюсь. Вдруг однажды выйду на улицу и никого не пойму, потому что там на рэперском русском теперь мычат.

*Константин Кошаров*

Осень.

За окнами все чаще — хмурь и хмарь.

Хочется о хорошем.

Например, о хороших верлибрах.

За мной давно и прочно закрепилась слава верлибронавистника. Причем ненависть эта часто воспринимается как оголтелая и слепая, однако она отнюдь не такова. Я не раз акцентировал, что резкое неприятие у меня вызывает не собственно верлибр, но определенный его извод — мейнстримный отечественный верлибр последних двух десятилетий. Большая часть этих «стихов» создана от очевидной беспомощности перед рифмой и представляет собой плохую прозу, записанную в столбик. Такие верлибры очень соблазнительны своей ложной и отнюдь не «цветущей» сложностью и псевдоинтеллек-

туализмом, на деле оборачивающимся жонглированием словами. Судорожное заимствование западноевропейских техник письма без учета очевидной неорганичности верлибра для самого русского языка обернулось девятым валом неотличимых друг от друга, стертых до безличия, выморочных текстов.

О пагубности верлибра для современной поэзии говорили такие разные поэты, как Александр Кушнер и Алексей Парщиков. Последний высказался особенно резко и безапелляционно: «Брезгливость вызывает особенно наглядно наглый путь упрощения ВСЕГО — смыслов, приемов, который принят в этой среде. Зато они уничтожили фактически понятие графомана. Этого слова почти не услышишь сейчас, в ситуации тотальной поэтической одержимости».

Однако, есть из этого правила счастливые исключения, подтверждающие, что внятное, состоятельное поэтическое высказывание на русскоязычной почве возможно и в форме верлибра. Таким, очень порадовавшим меня, как читателя, высказыванием стали верлибры киевского прозаика и поэта Максима Матковского, регулярно вывешиваемые им в Фейсбуке (наряду с прозаическими миниатюрами) и недавно опубликованные в журнале «Октябрь» (2018, № 8).

Сквозной лирический персонаж Матковского (тут мы вполне можем говорить о ролевой лирике) многое взял у героев Зоценко. При этом он обладает совершенно живым обаянием. Старый добрый гротеск, основанный на смешивании и взаимопроникновении реального и абсурдного, подсвечивается Матковским с какой-то новой стороны, специфику которой определяет сама интонация автора, с добродушным удовольствием «вылепляющего» своих героев и погружающего их в разнообразные трагифарсовые сюжеты. Нарратив у Матковского как бы разгоняет себя сам, в каком-то смысле берет на себя роль рифмы, формируя динамический нерв текста. Редчайший случай для нынешнего верлибра, в котором нарратив обычно подавляет и заглатывает любой намек на живую эмоцию, уже в первых строчках уничтожая ее на корню. При этом траектория движения поэтической мысли в стихотворных новеллах Матковского не уныло монотонна, но нелинейна, зигзагообразна и всегда выворачивает к неожиданной коде. Таким образом, в коммуникативном отношении верлибры Матковского тоже оказываются состоятельными, а их «наивная» (апеллирующая к творчеству Пригова) философия — художественно убедительной:

\* \* \*

*Людей нельзя недооценивать,  
людей нельзя переоценивать,  
их можно только любить.*

*Вот влюбился ты, например, в человека,  
подошел к нему и сказал:  
— Так, а ну-ка, быстро отдай мне свою душу.*

Матковский — молодец.

*О л е г а    Б а л л а*

За два месяца, прошедшие со времени предыдущей кавалерийской атаки на отечественную словесность, в поле моего читательского зрения успели оказаться — независимо друг от друга — два вышедших недавно ярких и достойных подробного разговора (который надеюсь еще учинить) текста — скорее, многотекстия, симбиоза текстов — в жанре, который давно занимает мое воображение: авторского словаря (или авторской энциклопедии — по крайней мере, одна из книг, о которой пойдет речь, называет себя именно так). Это «Энциклопедия юности» Михаила Эпштейна и Сергея Юрьенена (М.: Издательство «Э», 2018 — второе издание, существенно расширенное по сравнению с первым, вышедшим лет восемь назад в американском издательстве «Franc-Tireur») и энциклопедический словарь Олега Кривцуна «Основные понятия теории искусства» (М.: СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018). Первое из многотекстий занимает подвижную и плодотворную нишу между художественным и нехудожественным типом высказывания, второе — не менее плодотворную и подвижную, между высказыванием искусствоведческим и философским (тем не менее, считаю допустимым рассматривать этот словарь как часть литературы, понимая литературу широко и безусловно, включая философские тексты в ее состав). А что оба словаря — цельные высказывания, и не сомневаюсь.

Чем случайней, тем вернее сойдясь на читательском столе, эти книги провоцируют разговор об авторском словаре как форме литературного мышления, к которому я, будучи ограничена форматом рубрики, пока сделаю здесь некоторые самые предварительные заметки. (В этот ряд можно было бы добавить «Проективный словарь гуманитарных наук» Михаила Эпштейна, вообще тяготеющего к «словарной» форме мышления, — но он и вышел и был прочитан уже давно, в 2017 году.)

Словарь Кривцуна (предлагающего систему концептов для теории искусства в целом и наследующего в этом Вельфлину, к основополагающему труду которого «Основные понятия истории искусства» отсылает его название) имеет все черты предприятия существенно более академичного (и в этом смысле — стилистически более цельного), чем двухголосая, двухинтонационная и полистилистичная «Энциклопедия юности», авторы которой называют ее «опытом лирической культурологии», но на самом деле все гораздо сложнее, и культурология тут столько же лирическая (и автобиографически рефлексивная, что далеко не всегда лирика), сколь и метафизическая — особенно в той ее части, что написана Эпштейном. Вообще «Энциклопедия юности» — доказательство того, что словарь как жанр внутри себя способен быть многожанровым: он — структура структур, метаструктура.

В своей «Энциклопедии...» Эпштейн и Юрьенен свели воедино (не смешали, но составили в один комплекс) два описанных Эпштейном в одном из приложений к основному словарному корпусу способа организации сознания: нарратив и тезаурус. Юрьенен — практически чистый нарратор, тогда как Эпштейн — классический «тезаурист» (независимо от того, существует ли такое слово; если нет, теперь будет), тип несравненно более редкий. Два этих способа мышления тут пребывают в интенсивном диалоге, оттеняя возможности друг друга. (Эта сложноустроенная книга хороша и тем, что ключи к ней содержатся в ней же самой, буквально вкладываются в руку читателя).

Обе книги дают резко-индивидуальную картину осмысляемой части реальности — причем словарь Кривцуна, не переставая быть объективным и не стремясь ни к какой эссеистичности, не в меньшей степени. Он — все равно высказывание персональное и пристрастное, что я бы отнесла к числу его достоинств.

При всей своей несомненной академичности, выполнявшийся как научная работа и содержащий корректные ссылки на специальную литературу, при всей рациональной выстроенности отдельных

его статей внутри себя — уже своим составом, отбором тем, — этот словарь представляет собой карту авторского смыслового пространства. Мне уже случилось писать о том, что, в соответствии с исследовательскими интересами автора, внимание в словаре заметно сдвинуто в сторону визуальных и пластических искусств. Что касается отсутствующего остального — таких, например, позиций, как «Литература», «Музыка» и даже «Театр», «Кинематограф», «Фотография», которые вполне визуальны, — то их отсутствие значимо и представляет собой не пропуски, но открытые пространства для дальнейшего достраивания — может быть, силами и других авторов — намеченной здесь понятийной системы. В его нынешнем виде словарь может быть принят как костяк для дальнейшего разрачивания, даже с указанием его возможных направлений — и с теоретической его основой.

Словарь как форма высказывания (система концептов, «биограмм», как это называют применительно к своей книге Эпштейн и Юрьенен, «логограмм», как я сказала бы применительно к книге Кривцуна) — его можно читать в любом порядке, в любом направлении, и не погресишь против целого, — это освобождение от власти времени в рамках самого времени, его средствами. Текст, выстроенный таким образом, представляется мне по определению более объемным, чем линейное повествование (по крайней мере, его объемность — куда более явная и даже, так сказать, запрограммированная). Главное же, в отличие от линейного повествования с внятным сюжетом (хоть бы и со множеством таковых), он может — в принципе, бесконечно — дополняться новыми элементами, разрастаться в разные стороны, опять же не теряя из виду целого. (Именно это и произошло с «Энциклопедией юности» при ее переиздании). Словарь, принципиально открытая конструкция, — вещь почти парадоксальная по своему устройству: бесконечный текст (границы его всегда условны и преодолимы) с четкой структурой. Живой опыт структурированной бесконечности.



Елена Погорелая

В конце осени самой обсуждаемой книгой был «Остров Сахалин» Э. Веркина («Эксмо», 2018) — футурологический роман, названный критиками, в том числе и Г. Юзефович, одним из самых значительных событий в современной литературе.

В конце лета промелькнул почти не замеченный профессиональными критиками, но отозвавшийся в читательской среде антропологический роман А. Клепиковой «Наверно я дурак» («Европейский университет СПб», 2018) — не приключенческий вымысел-квест, не постапокалиптическое фэнтези, а подробное документальное исследование. Исследование все той же жизни в аду.

Почему я их сравниваю? Потому что они похожи. И там, и там в центре событий оказывается исследователь — человек из другого мира, футуролог или антрополог. И там, и там этот «исследовательский» фокус хотя и обеспечивает дистанцию, но немало вредит непосредственному повествованию. Футурологические выкладки веркинской Сирени беспомощны, особенно на фоне действительно впечатляющих картин разлагающегося Сахалина. Антропологические изыскания волонтера Ани, под которую, чтобы попасть «в поле» — в ДДИ<sup>1</sup>, а потом и в ПНИ<sup>2</sup>, — мимикрирует студентка кафедры антропологии Клепикова, в отличие от ее же «полевых» наблюдений, временами выглядят слишком очевидной данью диссертационному жанру и создают невольный — ну, пусть не комический, но раздражающий эффект. Зачем подчеркивать само собой разумеющееся? Разве для того, чтобы «освоить волонтерскую этику работы с подопечным и пересмотреть собственное отношение к тому, что делает персонал учреждений: перейти от критики к пониманию», обязательно быть антропологом?

Впрочем, в случае Анны срабатывает погружение в материал — или, если воспользоваться ее же собственной терминологией, в «поле». Начинаясь как добротная диссертация, «Наверно я дурак» постепенно превращается в мощную прозу. док такой силы воздействия, что

---

<sup>1</sup>Детский дом для детей-инвалидов, в котором содержатся дети от 4 до 18 лет.

<sup>2</sup>Психоневрологический интернат для недееспособных пациентов от 18 лет, среди которых большую часть составляют выпускники ДДИ.

даже знакомого с описываемой в романе системой читателя начинает потряхивать. У Веркина наоборот: начавшись как роман, «Остров Сахалин» скатывается в дешевый компьютерный комикс, подменяющий философию — экстраполяцией, психологию — функцией, а «упоминательную клавиатуру» — набором мелькающих клипов, каждый из которых может быть без ущерба для целого заменен другим кадром из видеоряда. Вот герои, убегая от зомби, мечутся по охваченному эпидемией Сахалину, по дороге спасая детей. Вот они убивают. Вот выживает «белая кость», японка Сирень, а «прикованный к багру» каторжанин Артем, ее неожиданный возлюбленный, гибнет во время ядерной зачистки вместе со спасенными детьми... И то, и другое, и третье — голая схема, несколько не подкрепленная ни языком «Сахалина», ни логикой поведения героев, ни, наконец, внутренним опытом автора. Весь пресловутый Апокалипсис Веркина происходит не изнутри, но извне: из тщательного штудирования чеховских записей, из чтения лагерной прозы, из виртуальных ходилок-блокбастеров, из ожиданий аудитории, которая за последние пару лет так подседа на всевозможные изображения ада, что любой роман, актуализирующий тему «post aetatem nostram», готова воспринимать на ура.

При этом повседневный и скрупулезно прописанный ад Клепиковой никого не заинтересовал<sup>1</sup>. Ни то, как взаимодействовали «волонтерки» с медсестрами и санитарками. Ни то, как Виталик, интеллектуально сохраненный, но парализованный ниже пояса подопечный ДДИ, рвался из детского дома в психоневрологический интернат, мечтая о перемене обстановки и о начале хоть какой-нибудь взрослой жизни, — а через два месяца умер там от тоски и плохого ухода. Ни то, как добывал себе сенсорные впечатления слепоглухой Тимоша...

«Тимоша был приучен к горшку и, когда хотел в туалет, хлопал себя по животу. Когда в моей группе на него надели памперс, он просто не понял, что теперь ему можно ходить под себя: он снимал памперс и писал сквозь бортик кровати, потому что из кровати его не выпускали и горшка не давали. Игрушку, которую мы с Агнией (девушкой-волонтером. — Е. П.) привязали к бортику кровати, чтобы Тимоша мог что-то щупать, кто-то из санитарок отвязал и выкинул,

---

<sup>1</sup>Кроме критика Анны Наринской, охарактеризовавшей его как «важнейшее человеческое, этическое и литературное высказывание», — но никто из коллег ее не поддержал.

объяснив это тем, что он из-за этой игрушки не спит и другим детям спать мешает Сходя с ума от отсутствия общения и контакта, Тимоша развлекал себя, как мог, и научился стоять на голове — это давало ему дополнительные вестибулярные ощущения».

Понятно, что сравнивать вымысел и док невозможно — но, по моему, рядом с подобной метафорой все веркинские образы слепых и безъязыких детей (к слову, выписанные довольно неубедительно) оборачиваются картонными муляжами.

Впрочем, «Остров Сахалин» — и вообще текст-муляж. Фирменная веркинская усложненность нарратива, промельк и мгновенное исчезновение метафор, вязкость действия и языка раздражают в нем не только сами по себе, но и как ходульное воплощение идеи. Веркин конструирует роман, воплощая идею, и идея съедает текст, тогда как клепиковский текст подчиняет себе идею и — несмотря на декларируемое автором остранение и дистанцирование — дорастает порой до масштабов Шаламова и Гальего.

Но речь не о текстах, на самом-то деле. Речь — о реакции. Об аудитории, востребующей среднего пошиба подростковые страшилки (именно как подростковая книга «Остров Сахалин» даже очень хорош — никакому подростку не вредно узнать, что такое футурология, или задуматься о вариациях современного геноцида) и отказывающейся от разговора о настоящем.

С муляжами оно как-то проще, привычнее, да?

*Елена Пестерева*

Уже несколько лет я говорю, что соскучилась по яркой художественной прозе на русском языке. Говорю, но все не соберусь об этом написать. Мне действительно надоела рефлексия на исторические темы, будь то история XX века или любого другого.

Наверное, это был неизбежный этап: XX век в самом деле кончился и литература должна была рассказать читателю, каким он был. Много-много раз рассказать про дореволюционных интеллигентов и войну, про сталинский террор и опять войну, про застой и лихие девяностые, приложить к этому истории семей и архивные документы — и едва закончив, начать сначала.

Мы читали саги длиной в пять поколений персонажей, обнаруживали тяготение прозы к (псевдо) историческому роману и предлагали классификации. Это было по-своему хорошее время: не скажешь дурного об «Авиаторе» и «Лавре» Водолазкина, «Ложится мгла на старые ступени» Чудакова, «Лестнице Якова» Улицкой, о «Тоболе» Иванова (я успела полистать вторую часть). «Искальщику» Маргариты Хемлин я и вовсе спела столько дифирамбов, сколько смогла. И новая «Памяти памяти» Марии Степановой, поверю отзывам коллег, наверняка отличная.

На Букеровской конференции случайный юноша, назвавшийся «Григорий, просто прохожий», сказал, а точнее, спросил: не скучно ли господам писателям обращать свой взор в прошлое и не хотят ли они заняться современностью. Юношу зашикали — потому что современности предостаточно. Он прав в другом: и в самом деле скучно.

Переосмысления особого пути русского народа за всю его историю больше не хочется. Хотелось, чтобы горшочек сварил уже чего-нибудь другого. Чтобы прошлое отпустило нас на свободу. Чтобы писатель снова смог выдумывать персонажей и события, владеть сюжетом и языком, творить миры и населять их. Хотелось художественного вымысла — и хорошо бы не в жанровой литературе, а в высокой.

И, похоже, я дождалась — есть «Убить Бобрыкина» Александры Николаенко. Нетипично маленький для отечественной прозы объем — то ли европейский роман, то ли долгий-долгий верлибр. В нем невротичный, ничтожный Шишин, повседневный быт, богомольная ворчливая матушка, дурацкая школьная любовь, болезненная ревность, Бобрыкин ненавистный, единство времени и места, повествование от третьего лица, редкая композиционная цельность (за счет многих повторов сюжетных ходов, диалогов, сцен, описаний — нескончаемое кружение навязчивостей в голове героя). Ритмизациями и атмосферой душевного нездоровья он не мне одной напомнил «Петербург» Белого и «Мелкого беса» Сологуба.

Не обещаю, что «Убить Бобрыкина» — первая ласточка и вектор прозы сменится именно сейчас (но, с другой стороны, должен же он когда-то смениться). Может, это только случайная искорка, вроде петровской «Турдейской Манон Леско» на фоне военной прозы XX века. Но версия с ласточкой нравится мне больше.

*А н д р е й П е р м я к о в*

Осенью 2009 года сидели мы за столом в одном из маленьких райцентров одной из маленьких республик Поволжья. Дама из библиотеки спросила:

— Андрей, а вы книжку «Елтышевы» читали? Ее Роман Сенчин написал.

Я скривился очень снобистски.

— Ну, — говорю, — читал. А чего там хорошего?

— Как это? Там же все-все про нашу жизнь прямо!

— Почему «про вашу жизнь»? Там про мента. Его с работы выгнали, он уехал в деревню, жену с детьми увез. Ну, и плохо все закончилось. Это у Мамина-Сибиряка было: «так и сгинула вся семья».

— Да! И у нас всегда так. Все время. Хоть с кем так может быть!

Стал переубеждать. Дескать, поселок ваш небогат, а смотрите: вот стол накрыт от души, вот любой почти дом отремонтирован или под ремонтом. Крыши кроют, то-другое. В ДК за три копейки можно выпить-закусить. Нет. Уперлась, как морковка, и обиделась немного.

Той же осенью я еще ругал Сенчина за общее уныние на обсуждении его книги, устроенном Евгенией Вежлян. И еще как-то ругал. Придирался к унылой манере и тусклому взгляду.

А потом все переменялось. Я прочел его весьма документальную книжку «Тува». Это когда собирался именно в Туву. Отличная книжка. Совсем другой язык. Очень совпадающий с излагаемым. И еще несколько книжек Сенчина прочел.

Словом, «Елтышевы» — не черный-пречерный взгляд на черный-пречерный мир. «Елтышевы» — про неумение жить в мире, когда этот мир дает тебе возможность. Уточню: бывает, когда человек добровольно отвергает мир, это другое. Бывает, хоть и нечасто, когда мир отвергает человека. А тут надулся человек на этот самый мир, ждет от него зла. То и получает. А язык такой специально. Творческий маргинал станет мыслить витиевато, несложный человек, обретший гармонию, — иронично, а Елтышевы — вот так.

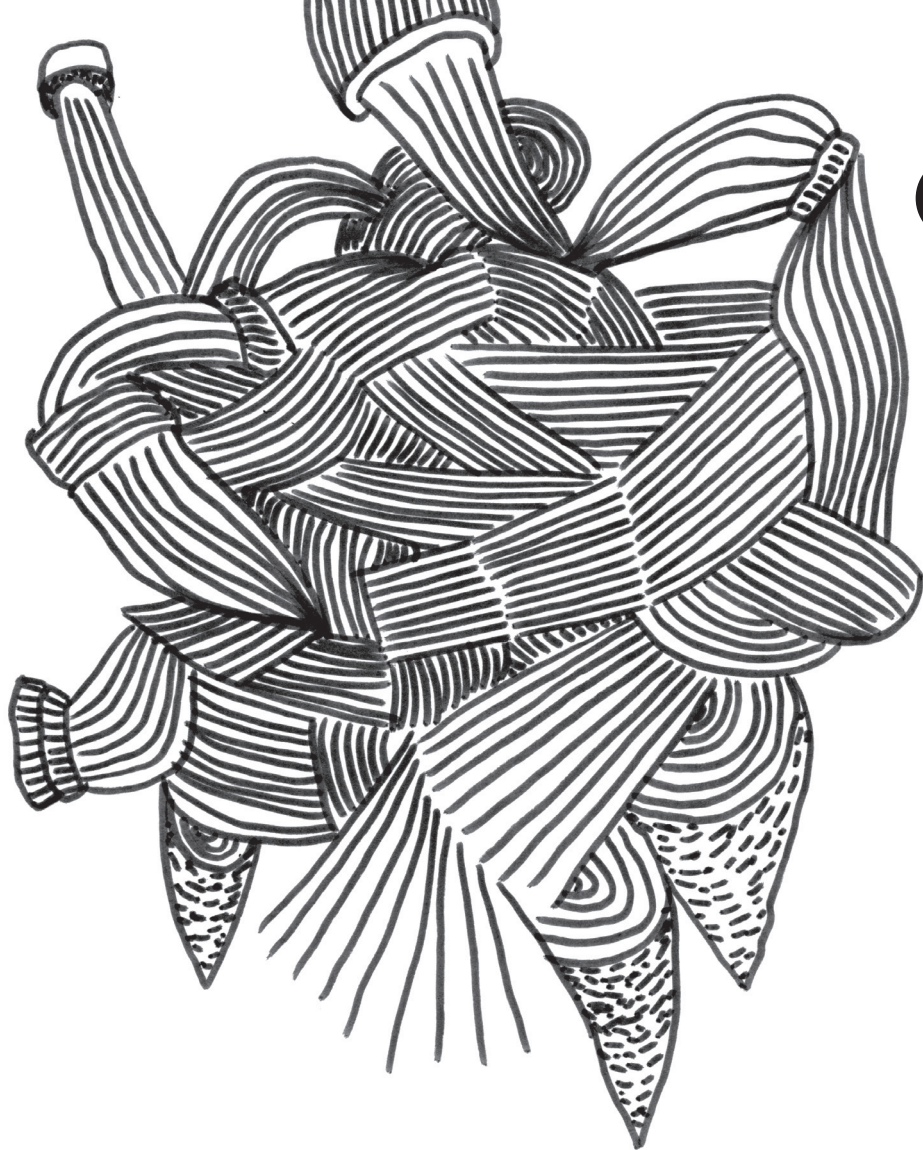
Нет, провалы у Сенчина тоже бывают, безусловно. Скажем, исходный момент в рассказе «Жить, жить...» вполне правдив. В сгнувшейся рюмочной «Второе дыхание» вполне мог подойти к автору джентльмен

и наплести про уральскую тайгу весной. Мол, заблудился он там, кожу свою резал и варил. Вот и шрамчики посмотри, на.

Рассказать он это мог, но зачем такое в прозу тащить? Дело даже не в болевом шоке, а в энергетической невозможности. Есть такой закон сохранения. Организм не сможет залатать раны, поедая взятую с них кожу. Термодинамика возражает. И вообще — имея спички и котелок, в уральской тайге даже весной выживешь без экстремизма. Грибы ж сморчки уже спели, например. Ежики, опять-таки, съедобны, как мы знаем из книги Бориса Полевого о настоящем человеке. На севере Урала ежей немного, но если уж очень захочется «жить, жить...» — и они найдутся.

Словом, обманул собутыльник писателя. Но это ничего. Мы писателей за другое любим. Да и собутыльников, поставляющих сюжеты, тож.





**Терра Поезия**



**Рафаэль Мовсесян  
Дмитрий Близнюк  
Роман Маклюк  
Константин Корнеев  
Дмитрий Дедюлин  
Лесик Панасюк. *Перевела с украинского Ия Кива*  
Светлана Богданова**

*Р а ф а э л ь М о в с е с я н*

●

в этом старом пальто, что висит в глубине гардероба  
столько талого снега, что трудно теперь посчитать.  
и когда я умру, вы пальто положите под гробом,  
чтобы было мне мягко и было о чем вспоминать.

ловкость пальцев моих возле пуговиц все еще вьется.  
и звучит в левом борте от сердца горячего стук.  
это было пальто победителя и полководца —  
я водил свое войско на запад, водил на восток.

и дорожная грязь тоже в теле усталого драпа.  
и дыханье мое в вечно поднятом воротнике.  
и вопросы ребенка: «что это за дерево, папа?»  
и все то, что на улице жизнь приносила ко мне.

●

*моему сыну Микаэлю*

мужчина гладит женщине живот.  
там крепнет жизнь, там сын его живет.  
там центр мира: и того, и этого.  
там смысл для отца тридцатилетнего.

он книгу выбирает наугад  
с шершавой полки. переводит взгляд,  
с жены уснувшей на Антона Чехова.  
бредет к окну и ненароком с млечного

пути сбивается. и точит карандаш,  
и стружки, будто снег на абордаж,



берут паркет. и пыль на подоконнике,  
где пальцем нарисованные нолики.

мужчина делает заметки на полях  
о жизни новой, о своих ролях.  
и Чехов, кажется, не возмущается,  
мечта ведь может быть такой —  
состариться.

*г. Ереван*

*Д м и т р и й      Б л и з н ю к*

•

За окном промелькнул тираннозавр,  
быстро сквозняком колыхнуло штору.  
А в комнате громко тикают часы —  
будто кто-то безмолвный  
нервничает  
на пустом космическом корабле.  
На подоконнике рассыпаны очищенные  
чесночные дольки лунного света —  
от упырей и вампиров.  
И становится непонятно: кто ты и где.  
Застрял во время инкарнации.  
Комната — сиреневая кубическая пещера  
со слизанными углами. И мягко скользят по потолку  
бархатистые гильотины света.  
Розовые мечты из прошлой жизни,  
из другой несуществующей планеты  
светятся, как гнилушки. Тают во рту  
желтые кристаллы бессонницы.  
А высокое зеркало, пятнистое, как гиена,  
в полутьме отрывает куски  
от бессонного тела  
мощными сусальными челюстями.

•

улица еще не просохла после ливня  
свежевыкинувшийся кит на асфальтовый берег  
влага дышит натянутая мутная зеркальность  
гоночный Феррари на всей скорости врезался в озеро  
/громадный плакат рекламы шевелится/  
оглушительная пауза и грозовые облака  
кусочки сала с оплавленными краями  
и солнце смотрит сквозь разрывы в облаках  
а внутри меня жадно и жарко дышит  
красная пустыня нетакойкаквсе  
песчаные змееголовые женщины  
с черными глазами по всему сыпучему телу  
извиваются в песках  
к небу подвешены за серебряные нити  
тысячи треснувших песочных часов  
и наискось семян скорпионы  
мускулистые масляные тараканы  
ухают в дюнах как филины заброшенные города  
охряные буханки зачесанного камня  
сухость выковыривает колючки из легких  
запах паленого войлока  
и безработные джинны

*г. Харьков*

*Р о м а н    М а к л ю к*

•

до 27 я думал какая потеря  
не будет у меня красивых ботиночек  
удивительных приключений не будет  
да много чего не будет разве все упомнишь

теперь думаю ах какая потеря  
ну не будет у меня того и этого  
ну не стану я культурной ценностью  
ну не увижу мест исторических

зато сердце мое воробьиное — стучит мне ласково  
стих мой невелик, но я пишу его бережно  
песня моя хоть и тихая, но я пою ее дурным голосом  
чего ж еще хотеть

*г. Харьков*

*Константин Корнеев*

## **ВЫХОД**

Некоторые буддийские монахи,  
чувствуя приближение смерти,  
оставляют сангху и уединяются в храмовых пещерах,  
а если таковых нет поблизости,  
просто уходят в иные безлюдные места,  
не берут с собой пищи, лишь немного воды;  
там они медитируют,  
перелистывая страницы кармы,  
находя в них опечатки и помарки,  
ведь это большое заблуждение — полагать,  
что многолетнее исполнение правил  
буддистского монашеского кодекса  
открывает прямой путь в рай Будды — диважин,  
вовсе нет,  
для этого требуется гораздо больше,  
но что именно,  
ни один монах не знает;  
это знание приходит к нему лишь в момент смерти,  
и смерть становится не искуплением,

не возвращением,  
не началом,  
ничем — как и для всех остальных людей;  
через какое-то время тела отшельников находят другие монахи,  
или не находят — без разницы,  
поскольку важно иное:

всегда есть выход.

*г. Иркутск*

*Д м и т р и й Д е д ю л и н*

## ПАСТИЛА И МЕД РЕАЛЬНОСТИ

Хуеда Кадзирадзяку — самурай японский график занимался также живописью — автор картины нарисованной для императора «Восход луны над морем слив и диких яблонь» — картины которую император очень любил и подолгу любовался ею а Хуеда писал другие где изображал крестьян и ремесленников — простой люд из предместья Киото или разноцветных гейш-танцовщиц с веерами в руках танцующих под музыку лютни и флейты и падающих в изнеможении в объятья дуэньи в то время как художник наносит краски на холст и жадно пытливо всматривается в лица своих жертв — своих моделей своих бесчувственных

истуканов своих живых картин  
писанных с натуры чтобы запечатлеть то неуловимое мгновение когда  
тьень расстается с телом и исчезает трепеща прозрачными крыльшками  
в этих сумрачных голубооких сладких и топких небесах в которых  
покачивается диск луны и колокольчик на шесте старьевщика звенит  
серебряным звоном растворяясь в шестиэтажном иерархическом  
устройстве китайского рая — картины одного древнего  
китайского художника

изображающего пагоду а рядом бронзового Бога — эту ипостась дракона и тритона дующего в рог смотря широко и яростно на безумное солнце встающее на востоке

г. Харьков

*Л е с и к   П а н а с ю к*

### **ТУРБИНЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ**

Верхушки деревьев торчат из воды  
как открытые переломы реки

Затопленные города и села  
малые родины в которые невозможно вернуться  
как же им повезло умершим раньше

Турбины гидроэлектростанций превращают старые карты  
превращают доски почета  
превращают детские воспоминания  
превращают имена родных  
и все вообще в электроэнергию

Каждый день теперь поминальный  
достаточно лишь включить свет по возвращении с работы

Тьма немного колеблется перед уходом

г. Буча, Украина

*Перевела с украинского Ия КИВА*

*Светлана Богданова*

**ФРАГМЕНТ СТИХОТВОРЕНИЯ «КУПЕ»**

Рыбак ворочается, стонет.  
 Он на соседней полке грезит  
 О рыбах малых и больших.  
 Во сне он превратился в рыбу.  
 Должно быть, чтобы лов был лучше,  
 Он должен вжиться в образ жертвы  
 И повести ее умело  
 В кошмаре сна на крюк, на смерть.

А завтра — завтра он посмотрит  
 На плотный хвост, на чешую,  
 Потянет и рванет за губы  
 Холодного сома и что-то,  
 Как коготь, острое пронзит  
 Его потухший мозг. И смех  
 Его замрет на миг. И руки  
 Вдруг дрогнут. А затем опять  
 Рванут. И это наважденье —  
 Что боль он будто ощутил  
 В лице, в губах, в усах и в шее,  
 Что сам он — грузный сом, он рыба,  
 Оставит рыбака навеки.

«Должно быть, солнце. Я сгорел.  
 Нужны мне черные очки  
 И шляпа круглая, с полями». —  
 Решит, вытягивая тело  
 Речного бога из воды.  
 Но это — завтра. А теперь...  
 Теперь он умирает в лодке,  
 Лупя по доскам плавниками.

А нам с тобой его не жалко.  
Сиди, сиди, мой кот, тук-тук.  
Пусть острый человеческий запах,  
Сочащийся сквозь невод сна,  
Не отвлекает нас от кармы.  
Сегодня — мука. Завтра — плюсик.  
Мы это выдержим, пройдем,  
Промчимся, проползем, проспим...  
Шепчи мне хищный шепот в ухо.  
Ты здесь. Я чувствую. Тук-тук.

*г. Москва*



**ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПОЭТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»  
ЖУРНАЛА «НОВАЯ ЮНОСТЬ» ЗА 2018 ГОД**

*В 2018 году лауреатами премии «Поэтический дебют» стали:  
Елена Жамбалова из города Улан-Удэ за подборку  
«В Нахаловке растут дома» (№3) и  
Максим Матковский из города Киев (Украина)  
за подборку «Веселый хоррор» (№6).  
Поздравляем наших авторов!*

*Ранее лауреатами премии становились Марианна Плотникова (г. Уфа),  
Мирослав Лаюк (г. Киев, Украина), Иван Ким (г. Коломна), Екатерина  
Вахрамеева (г. Екатеринбург) и Егана Джаббарова (г. Екатеринбург)*

*Материалы, опубликованные в журнале за этот год,  
можно найти на нашем сайте*

***<http://www.new-youth.ru>***

*и в ЛИТРЕС по адресу:*

***<https://www.litres.ru/serii-knig/zhurnal-novaya-unost-2018/>***

**E-mail: [newnost93@list.ru](mailto:newnost93@list.ru) (для рукописей)  
[newyouth@mail.ru](mailto:newyouth@mail.ru)**

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ  
по печати, рег. № 01826  
Подписано к печати 05.06.2019  
Объем 24 п.л.  
Тираж 1000 экз.